

МОЩЬ

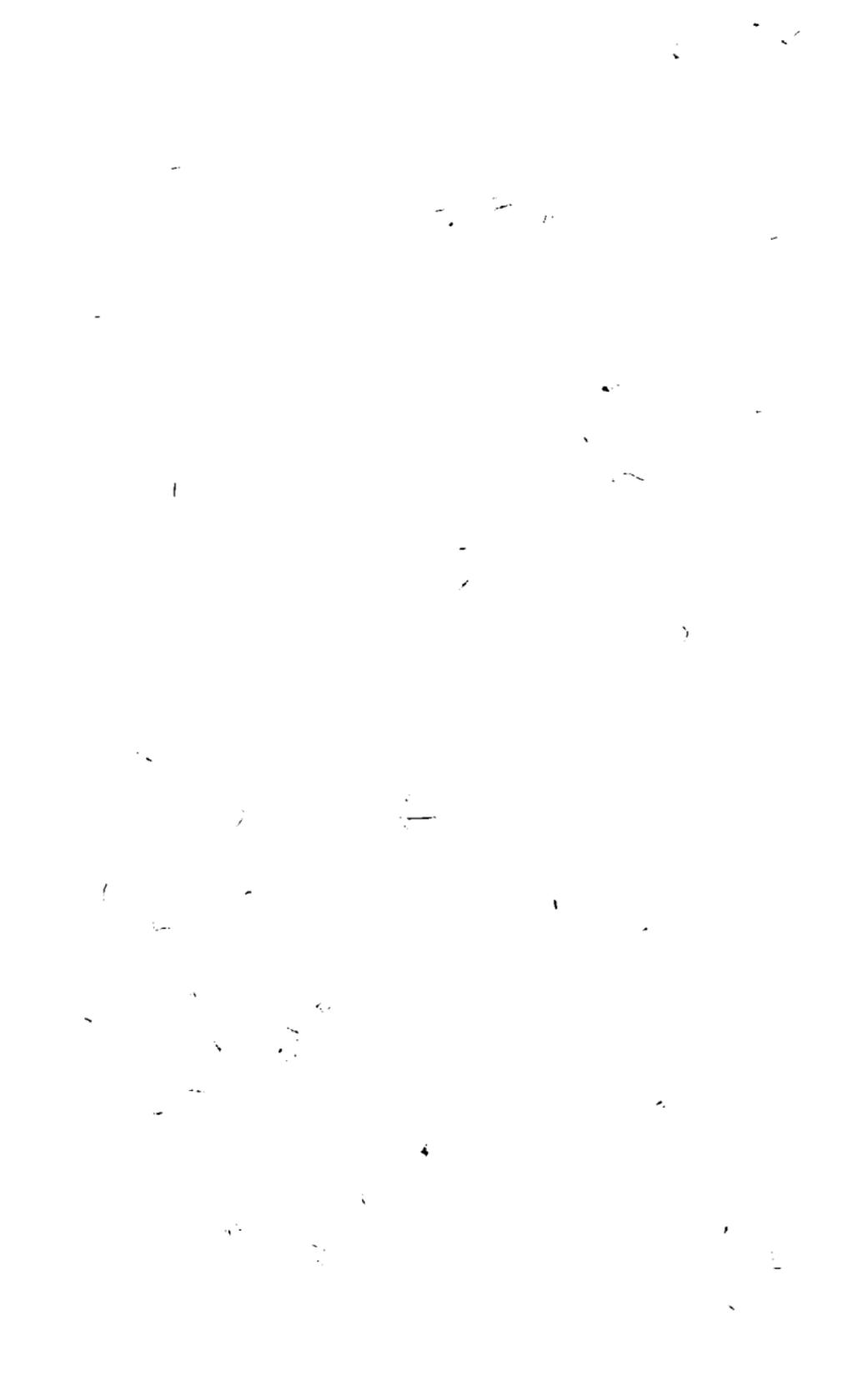


3-4

ТОМ











4.



И.Ф.КАЛЛИНИКОВ

МОЩЬ



A187495

КРАС
2008

3-4

ТОМ

17000

2008

1000

ББК 84Р

К-17

Подготовка текста **Н. И. ПОСНОВА**

Художник **А. А. Зуенко**

К-17 КАЛЛИНИКОВ И. Ф.

Мощи: Роман, в 4-х томах. — Брянское областное общество любителей книги, издательское Товарищество «Дебрянск». — 378 с., илл.

ISBN 5-7278-0096-X

Во вторую книгу известного русского писателя вошли 3–4 тома романа «Мощи», в котором отразились идейные искания писателя, поиски стиля, языковых средств. Роман значителен по широте охвата событий. Перед нами встает Россия на рубеже двух революций, ярко и образно показаны представители самых разных социальных кругов: духовенство, купечество, интеллигенция, либеральные капиталисты, крестьяне, нищие, солдаты, рабочие. Основная цель романа, по словам автора, — «раскрыть благоухающий всеми пороками и страстями монастырский быт».

Композиционный центр романа — Белобережский мужской монастырь на Брянщине.

К 4702010201

© Издательское Товарищество

«Дебрянск», 1993.

ISBN 5-7278-0096-X

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ

I.



Желтое, почти золотое солнце давно висело над крышами—белая ночь не спускала его в море, и первый трамвай, прогудевший по улице, разбудил Феничку. Очнулась, непонимающими глазами обвела комнату, вспомнила, вскочила с постели, откинула волосы, — цветы, подарок любви Борису, по-прежнему стояли у него на столе, но карточки невесты его не было; около кресла у стола белым пятном лежало ее белье, платье, черные туфли скovyрнулись беспомощно набок. Быстрыми движениями надела рубашку, собрала на полу одежду и побежала к себе. Комнату Бориса закрыла на ключ, перебежала из двери в дверь, коридор — в свою. Еще раз звякнул ключ. Бросила все на кушетку и легла навзничь на свою кровать, — свежее, хрупкое белье обдало холодом успокаивающе, — сперва вздрогнула, а потом, закинув руки за голову, закрыла глаза и чувствовала, как снова полилось тепло по мускулам, согревая простыни. Душа еще продолжала дремотно качаться в теле, но дышалось легко, ровно, вбирая все больше и больше воздуха. Чувствовала в себе любимого и боялась пошевелиться, чтоб не утратить этого ощущения. Медленно, еще в полусне, нашептывали мысли и первую

была — очищение непорочным. Не он, а ее жизнь и желание родило тишину, вслушивавшуюся в биение пульса. Напряжение, с которым брала свое счастье, впивая без слов каждое движение тела его, — ушло в глубину, к сердцу, навсегда сохранив любовь. Не видела, а чувствовала в себе Бориса, — всего, с его ожиданием умершей невесты, с его напряженными глазами и тихим поющим голосом.

На всю жизнь остался один, любимый, ушедший теперь в неизвестность, которого не оторвать от души, от тела, от сокровенной глубины счастья, потому что сама взяла его; а другой, — которого жаль, которому надо помочь, накормить, напоить, одеть. Знала, что в этом, во втором, сила для нее, чтобы осознать еще глубже свое очищение. Успокоилось утомленное тело, окрепли мускулы и наступило уверенное спокойствие. Неторопясь оделась, убрала деловито остатки вчерашнего дня и вспомнила, что нужно убрать Борису комнату. Перенесла свой подарок — цветы на свой стол, собрала разбросанное белье, книги, уложила в корзину, замкнула ее, втянула к себе в комнату и пошла к хозяйке.

— Марья Петровна, сегодня утром Смолянинов уехал домой.

— Как же он так неожиданно и не сказал ничего!

— Просил вас передать, что комнату не будет оставлять за собою, — он на следующий год переводится в Московский университет...

Хозяйка странно как-то взглянула на Феничку, но ее решительный и спокойный тон поколебал недоверие, и она только сказала, что за ним еще пять рублей долгу.

— Хорошо, я вам отдам сама. Свою комнату я оставляю за собою и на следующий год...

Потом забежала Журавлева с Ивиной узнать, что случилось с Феничкой и Борисом.

— А мы от тебя прямо на острова... До утра гуляли, встречали солнце...

— Хотели зайти за тобой...

Журавлева не выдержала...

— А Борис где?..

— Уехал домой...

— Как?

— Сегодня утром уехал домой, часть вещей оставил у меня до осени.

— А мы думали, что тебя можно поздравить...

— Фантазерки вы... Мне вот нужно узнать, куда сослан Петровский. Карпов, вероятно, знает, где он.

Спокойный голос Фенички и безразличие, с которым она говорила о Смолянинове, сбили с толку подруг. Валька, забежавшая утром, когда Феничка лежала еще в Борисовой комнате, ничего не могла понять. Видела, что подруга была одна, в комнате было все разбросано, входная дверь не закрыта и теперь — спокойный и ровный голос и вопрос о Петровском... Смущенная, смотрела на Феничку и не решалась больше расспрашивать.

— Иван Васильевич, Феничка, должно быть, не знает адреса, но поможет тебе, — у товарищей узнает своих. Хочешь, пойдем к нему вместе, — его расшевелить надо, он ужасный увалень, все горняки такие. А ты что писать ему думаешь?! Я думала, что вы переписываетесь.

— Хорошо, Валя, пойдем. Я должна сегодня же узнать его адрес.

По Петербургской стороне, по Большому проспекту, через Каменноостровский, через Летний сад свернули на Невский. Живой поток людей, раньше безразличный для Фенички или интересный только тем, что можно было сверкнуть глазами проходившим студентам, теперь поинному дохнул на нее. Большие глаза, углубленные синевой ночи и весеннего неба, устремлены были поверх людского потока — яркие, дышащие жизнью и смелостью жить. Золотые волосы туго облегли венком голову, — серая шляпа с широким бантом, с широкими открытыми полями намечала прическу; движения были спокойны и уверенны. Встречные мужчины провожали ее глазами; на мосту у Фонтанки один господин как-то растерянно остановился, взялся за котелок и, смущенно опустив руку, прошептал вслед, — какая прелестная. Журавлева все время смотрела на Феничку и не узнавала ее, не могла понять происшедшей в ней перемены, приходя в восторг от новой прически ее, от ярких и углубленных глаз, точно она в первый раз видит ее.

— Феничка, ты сегодня особенная какая-то!

— Я сегодня, Валя, полюбила Петербург. Это он особенный, а не я. Вот если бы сейчас здесь был дядя Кирюша! А ты знаешь, вот мысль, я ему телеграфирую, пусть придет ко мне... Теперь я ему покажу Петербург, — новый!

Карлова застали заспанного, полуодетого, поразили неожиданностью прихода, вытащили его отыскивать адрес Петровского, вместе с ним бегали по студенческим комнатушкам, пока один его партийный товарищ, долго не соглашаясь, не дал адреса.

Феничка горячо говорила ему:

— Мне нужно ему написать, я невеста его, — понимаете?..

— А почему же он сам не прислал вам своего адреса?..

— Мы поссорились с ним перед его арестом, — вероятно, он подумал, что между нами все порвано и из-за самолюбия не хотёл писать... Но я должна ему написать, от этого очень много зависит... для него это очень важно... я не могу вам сказать...

Угрюмый и молчаливый студент, исподлобья поглядывая на Феничку, сперва смотрел на нее недоверчиво, но потом, уловив искренние, горячие нотки в ее голосе, достал из стола письма и прочитал несколько строк:

— Если вы его невеста, я вам прочту... он пишет... Вот тут: «Работы здесь достать невозможно, а зимой особенно, кормимся чем придется, осенью питались сырой рыбой, теперь иногда и голодать приходится... необходима помощь. Есть туберкулезные заболевания, особенно среди женщин... вообще один ужас... В своем пальто мерзнул». Ну, и так далее...

Пока студент читал письмо, Феничка краснела, нервно сжимая ручку зонтика.

Получив адрес, вместе с Карповым и Журавлевой она стремительно пошла искать почтовое отделение, упросила Карпова от своего имени послать деньги, высыпала на почтовую конторку из сумочки все, что в ней было, набрала около ста рублей, оставила для себя немного и, вложив в конверт, хотела подавать, потом вспомнила о чем-то, поспешно купила открытку, написала на ней — от неизвестной, — вложила в пакет и подала.

Получив расписку, Феничка облегченно вздохнула, глаза, опечалившиеся на мгновение, снова расцвели радостью.

— Мне нужно идти... С главного почтамта телеграмму дяде иду послать — Всего хорошего!

На главном почтамте испортила несколько бланков и написала почти как письмо:

«Милый дядя Кириуша! Я вас очень, очень, хочу видеть.

Вы обязательно должны приехать ко мне, иначе я не знаю что, но будет плохо, так плохо вашей Феничке. Только вы можете в этом помочь. Буду ждать вас на вокзале. Феня».

Чиновник, принявший телеграмму, удивленно взглянул из окна своей будки и улыбнулся Феничке.

Не торопясь, возвратилась пешком домой, не чувствовала усталости, — походка была спокойная, ровная, нога твердо ступала на асфальт и легко отдавала туловище, и все время внутри было такое чувство, что жизнь — это радость, надо только жить и не так, как раньше, не задумываясь, отдаваясь влечению, а каждый поступок внутри себя осознать, почувствовать его потребность в себе и тогда только решиться на него. Нужно только привыкнуть к этому, а потом все помимо воли, без напряжения будет решаться само, внутри.

И комната не показалась пустой или одинокой, и не было странно, что не слышно в противоположной тихих и мерных шагов отдыхающего от занятий Бориса, — прозрачный полумрак немеркнувшей ночи наполнил ее умиротворенной тишиной и спокойствием. Достала конверт и бумагу, хотела писать, но почувствовала на груди медальон, давивший рубином, вынула его, раскрыла и, взглянув на Бориса, ощутила его в себе, — дыхание стало глубоким, ровным — знала, что это теперь на всю жизнь, и никто не сможет отнять у нее любимого, потому что он живет в ней во всей и каждая кровинка ее — это он, каждая мысль — от него, каждая радость — от непорочности. И даже не поцеловав его карточки, как раньше, закрыла медальон, — шелкнула крышка и рубин снова упал на грудь.

Письмо к Никодиму было простое, ясное и не было в нем ни одного недосказанного слова.

«Неизвестная, Никодим, это я — Феничка. Теперь Вы для меня человек, которому нужен близкий и искренний друг. Мы разошлись, не сойдясь, и я счастлива — между нами нет недосказанной пустоты, нет ревнивого прошлого. Ваш товарищ читал мне отрывки из Вашего письма, и я послала пока сколько у меня было с собой. Деньги для Вас и для Ваших товарищей. Вызвала срочно дядю Кирюшу, он должен помочь мне вырвать Вас из Сибири. Ваша Феничка».

Утром отправила письмо заказным и поехала на Николаевский встречать дядю Кирюшу, — решила до-

ждать скорого или курьерского. Вышла ко второму поезду и через несколько минут столкнулась с дымившей дядиной трубкой. Сухое бритое лицо на один момент нервно передернулось, трубка слегка подпрыгнула во рту, и сейчас же стальные глаза прояснились улыбкою.

— Что случилось?! Говори!

— Ничего, дядя Кирюша, — мне просто нужно с вами поговорить.

— Сумасшедшая, и из-за этого посылать срочные телеграммы, доводить до отчаяния мать... Иди и сейчас же успокой ее телеграммой.

С веселой песенкой автомобильного рожка опять с дядею инженером Дракиным, пенькотрепальщиком, в кепке, в английском пальто, с желтым кожаным ручным чемоданом, — только самое нужное — бритва, табак, дорожная чернильница, бумага, марки, конверты, смена белья. Всегда напряжение гибкое и упругое, острая память — кому, когда, сколько и от кого, — бесконечные змеи канатов, ленты мужицких возов с пенькой и коренастый, рыжий английский техник-установщик и всюду, всегда сам инженер, стальным взглядом окидывающий и людей и вещи. Голос ровный, не повышающийся и не понижающийся с кем бы ни говорил — рабочие, мужики, семья... И только с Феничкой — веселый, простой, заботливый.

— Ну, рассказывай, как живешь!.. Сумасшедшая ты... Люблю я ваш Петербург — весной его не узнаешь...

— Дядя Кирюша, вы все можете, правда?!

— Только теперь я голоден — заедем куда-нибудь.

За столиком на Михайловской в польской столовой, прислушиваясь к гулкому вечернему Невскому, тем же спокойным голосом, раскуривая душистую трубку...

— Ну, что случилось?..

— Дядя Кирюша, милый, мой друг сослан в Сибирь... Товарищи его убеждены, что кто-то ему подложил прокламации и шрифт, произвели обыск, а потом сослали... Петровский, бывший мой репетитор...

— А я думал, что ты вызвала меня познакомиться с женихом, порадоваться твоей радостью...

— Мой жених, дядя, ушел от меня...

Молча, взглядом спросил, осторожным, внимательным, говорившим: «Если нельзя прикасаться к этому, я не настаиваю».

— ...и в этом моя вина, дядя, — вы меня с ним и знакомили... помните, в дворянском, на студенческом вечере... Борис Смолянинов...

Через несколько дней инженеру Дракину обещали, что студента Петровского из сибирского захолустья переведут в Тобольск и начнут по его делу следствие. Лионский кредит жандармского полковника сделал любезным, внимательным к просьбе инженера Дракина, а в министерстве обещали даже в ближайшее время вернуть Никодима и разрешить право жительства в столице.

Снова Кирилл Кириллович накопил подарков племяннице, оставил ей на расходы и уехал сдавать, принимать, подсчитывать и наслаждаться ритмичным грохотом машин и гулом людских голосов.

Каждый день начинался для Фенички ожиданием письма. После отъезда дяди она сейчас же, проводив улыбкой его дымящуюся трубку, послала Петровскому деньги.

Просыпаясь, радовалась своей молодости, красоте, упругим мускулам, сладко потягивалась, снова закрывала глаза и мечтательно вспоминала сны, — в вагоне, почему-то с дядей Кирюшей, и в окне — голые скалы, нависшие над ущельем и только наверху кривые изогнутые березы, горы неожиданно суживаются, скалы острее и выше и дышать все труднее, потом будто поезд ныряет в туннель и дышать уже нечем. Потом дядя Кирюша погасал в сознании, но внутри, во всей ощущение близкого и любимого, которого она ищет; в туннеле — кружится голова, легкая тошнота странно и приятно душит грудь и перед нею весеннее петербургское солнце.

Легкая тошнота остается и после пробуждения, появляется обильная слюна, и Феничке кажется, что она голодна. В одной рубашке, босая, она соскакивает с постели, роется в нижнем ящике бельевого шкафа, достает котлету и хлеб, откусывает и через минуту бросает все в корзинку и начинает грызть леденцы. Тошнота не проходит, и она решает, что надо пить кофе. Кофе успокаивает тошноту, бодрит, и Феничка бежит получать последние зачеты на курсах. Так, не переставая, продолжается все время, и где-то внутри она начинает вспоминать, что то же самое было с ней, когда она ела ягоды на скамейке около монастырской дачи, и всю ее заливают горячая радость, —

боится поверить в счастье свое, прислушивается к каждому движению мускулов и биению сердца, ощущает сознанием тошноту и чувствует, как начинают загораться от неожиданной радости щеки, лицо, шея и как эта горячая волна заливают ей грудь и от живота волнуяще идет по ногам. Хочется крикнуть от счастья...

Чувствовала, что теперь у ней в жизни большое, новое, и она вся обновленная своим очищением — новую жизнь, живущей внутри ее, и что после этого никто и ничем не сможет ее осквернить. Ходила гордая сознанием зачатия новой жизни, бережная к себе — движения стали еще более плавными. Заплетая косы, взмахивала широко руками, точно весь мир охватить хотела и, любовно перекидывая на грудь два золотистых снопа, ласково перебирала пальцами пряди, думая о Никодиме. Один жил внутри, а другой — в жизни, о котором рождалась забота и беспокойство. Не дождавшись ответа, написала второе письмо, — ласковое и спокойное:

«Никодим, милый, сердиться на меня не за что, я все та же, и Вы для меня близкий, самый близкий мой друг... Может быть, в Вашем страдании есть и моя вина, я должна была больше о Вас заботиться и беречь Вас. Дядя Кирюша был и все, что мог, сделал... Может быть, мы скоро увидимся. Знайте, что у Вас, кроме меня, никого нет, я заглажу свою вину и буду для Вас большим и сильным другом. Заденьги не обижайтесь, они не только для Вас — для всех Ваших. Завтра я уезжаю домой и осенью перехожу на медицинский...»

О переходе в медицинский институт само написалось, вырвалось изнутри, потому что хотелось теперь жить не для себя только, а для всех, весь мир охватить руками, каждому помочь, так же как Никодиму и его товарищам.

Отправив письмо, пошла по Каменноостровскому, долго сидела в парке против Народного Дома, вернулась домой и нашла от Никодима письмо:

«Деньги я получил и взял, но если бы они были действительно «от неизвестной», мне бы было более приятно ими пользоваться. О помощи я Вас не просил и воспользоваться ею мне будет очень неприятно. К сожалению, для меня дорога и нужна свобода...»

Бережно сложила письмо и, пряча, подумала, — какой он еще большой ребенок. Не хочет отказаться от своего самолюбия и старается обидеть меня, — глупый...

II.

Лето пронеслось стремительно. С каждым днем замечала в себе перемену, — не интересовалась знакомствами, не заглядывалась, как раньше, мужскими глазами, не искала в них перепутных огней молодости. Созревала, наливаясь душистым соком любви к будущему существу, ждала в себе его признаков; засыпая, прислушивалась к себе — не шевелится ли новая жизнь, и от этого момента ждала чего-то особенного, таинственного и невыразимого. Иногда к ней приходил Кирилл Кириллович, слегка возбужденный рабочим днем, и звал кататься. Вместо английских лошадей появился бесшумный ффорд и вместо рослого кучера — приземистый угрюмый шофер в кожаной кепке и куртке — безмолвный и сосредоточенный. Про Кирилла Кирилловича говорили, что он сошелся с женой управляющего канцелярией губернатора, Костицыной, флиртующей с ним целый вечер в дворянском собрании на студенческом балу, где она продавала шампанское. Летом Костицыной в городе не было, и Феня не могла узнать правды, спросить об этом у дяди стеснялась. Дракин племянницу увозил за город, садился за руль, и начиналась сумасшедшая езда, — Феня устраивалась рядом и всю дорогу в ее руках рывкал, давясь и хрипя, рожок. Ветер хлестал волною в лицо, трепал лиловую вуаль Фениной шляпы, задевая Кирилла Кирилловича, тот фыркал, что-то кричал и усиливал ход. Утомленные безумной ездой, останавливались где-нибудь по дороге в деревне или на будке, пересекая полотно железной дороги, пили молоко, ели в мужицкой хате яичницу и возвращались домой ужинать.

У руля часто садилась Феничка, с наслаждением правила и чувствовала, что машина такое же живое существо, дышащее, вздрагивающее и покорное ее воле. Руки крепили, становились мускулистыми, и утомление было приятным. Дракин поглядывал по сторонам дороги, опытным взглядом окидывая конопляные поля, подсчитывая в уме виды на урожай. Теплые, почти горячие июльские вечера кружили Феничке голову запахом цветущей конопли, горьковатой и маслянистой, как поцелуй, от которого можно потерять голову и ослабеть, — начиналась легкая и приятная тошнота, руки опускались и несколько секунд машина шла одна. Кирилл Кириллович хватался за руль.

— Что ты делаешь?.. Править надо. Свалимся в ров.

— Не могу, дядя... голова кружится от этого запаха.

Дракин усиливал ход, Феничка туманными глазами умоляла дядю ехать медленней, чтобы надышаться этим одуряющим запахом.

— Дядя Кирюша, милый, поедemте тише, совсем тихо...

Ворчал, но все-таки замедлял ход...

Возвращались затемно, подъезжая к городу, пересаживались, и снова машина шла полным ходом, а Феничкины руки не переставая сжимали балон.

В цветение конопли, по утрам, Феничка звонила дяде в контору. Острый деловой голос инженера, услышав в трубке вздрагивающий и поющий голос племянницы, делался веселым и мягким.

— Алло, у телефона. Кто говорит?..

— Дядя Кирюша, разрешите машину взять, — в поле хочу...

— Только шофера слушаться!..

— Буду, дядя Кирюша, буду...

Выехав за город, садилась сама у руля и ехала по шоссе, задерживая ход в конопляниках, и, надышавшись до тошноты, допьяна, пускала на полный ход. Шофер злился, кричал на ухо ей, на поворотах выхватывал руль, но никогда не жаловался Дракину. Иногда, встретив Журавлеву, сажала ее с собой, заезжала за Ивиной, за студентами и выезжала за город, снова менялась местами с шофером и перед тем, как пустить машину, шептала ему, — помогайте мне, вихрем хочу! Валька хваталась за Карпова, визжала от страха, Ивина ловила Феничкину вуаль, дергала ее и кричала:

— Я упаду, упаду, вывалюсь!

Карпов, непривычный к такой езде, побрякивал и храбрился:

— Вот это я понимаю, вот это хорошо, таких шоферов я люблю.

Компанией заезжали, как и с дядей в деревню; мужики удивлялись, бабы ахали...

— Ну и барышня, прямо казак!

Бродили целый день, к вечеру возвращались на завод до гудка, Феничка забегала в контору, тормозила дядю Кирюшу:

— Идемте, дядя Кирюша, довольно сидеть вам, едемте с нами, весело будет.

Кирилл Кириллович хмурился, морщился, пробовал рукой свои щеки и, не выдержав, улыбался.

— Кончайте, господа, на сегодня довольно.

Служащие складывали книги, Кирилл Кириллович звонил несгораемым шкафом, бросал связку ключей в карман:

— Молодая хозяйка сегодня хочет гулять!.. Вечером приглашает вас на веранду в общественный сад ужинать!

Безусый счетовод, после ухода всех из конторы, звонил в буфет, предупреждая метрдотеля:

— Сегодня Кирилл Кириллович с племянницей будут ужинать!..

Посреди веранды составлялось несколько столов на приблизительное количество персон, и повара в такой вечер, — довольно редкий, — усиленно стучали ножами на кухне.

Общественный сад, небольшой, уютный, на берегу реки, веранда почти над обрывом, наискось к саду и музыка — симфонический оркестр из учеников и преподавателей музыкальных классов.

Врывались веселой и дружной компанией, зазывали с собою знакомых студентов, курсисток, ужинали, шумно аплодировали оркестру, пили все, что придется, и все, что закажет сосед, пели студенческие песни, и весь сад оживлялся весельем искренним и безалаберным.

Феничка, наполнив один бокал вином, тянула его весь вечер, ей просто весело было с молодежью, и, вспоминая о Никодиме, подымалась и говорила студентам и курсисткам:

— Коллеги, мы не должны в нашем весельи забывать и тех, кто теперь в Сибири.

Дракин морщился и, обрывая Феничку, говорил:

— Я думаю, что об этом никто из нас не забывает, но мы собрались сюда повеселиться, а не произносить политические речи! . .

Феничка вскакивала и заявляла:

— Я, дядя Кирюша, речей говорить не умею и не хочу, — я только хотела всем предложить собрать денег и послать им туда.

Вынимались рубли, полтинники, покрывавшиеся сотенной Дракина, и все отдавалось Феничке. На утро она отправляла собранное на имя Никодима Петровского.

Один раз, возвращаясь вместе с дядей Кирюшей

с обычной прогулки в автомобиле, она получила от него подарок — небольшой дамский никелированный револьвер. Дракин остановил машину, вышел из нее и предложил Фене поучиться стрелять. Подарок сперва изумил ее, но потом обрадовал.

— Дядя, но зачем это мне?!

— Для самозащиты, Феничка! Ты часто едешь за город только с шофером. Лучше всего всегда надеяться только на себя. Это верней всего!

Отдачи почти не было, стрелять было легко, и один раз она даже попала в телеграфный столб, — дядя Кирюша прилепил на него ком земли.

Подъезжая к дому, Феничка заявила ему:

— Теперь, дядя Кирюша, я и одна могу ездить, защитник у меня есть, а править я выучилась.

— Голову сломаешь себе.

— Одна я не буду летать сломя голову и голову не сломя.

Через несколько дней Дракин прислал племяннице и костюм — кожаные кепи и куртку.

Одной было приятней уезжать за город, — знала, что никто ей не поможет вовремя повернуть руль или вырвать его из рук, и нужно всегда самой следить за скоростью, управлять и чувствовать машину; устремив через стекло взгляд, она внимательно следила за каждым поворотом, за каждой извилиной дороги и с каждым днем в ней укреплялась воля. Устремленный взгляд был задумчив, и хорошо было прислушиваться к ровному дыханию машины и к самой себе, ожидая, что, может быть, в эту минуту и в ней просится новый, живой, биение которого будет созвучным ровным ударом ее сердца, и, чувствуя в себе любимого, она думала о Никодиме и сливалась с машиною.

Иногда днем Феничка бегала в контору или отыскивала Кирилла Кирилловича на заводе и ходила с ним по мастерским; рыжий англичанин почтительно шел за хозяевами. Дракин, увлекаясь, объяснял Феничке производство:

— Завод — это большой, сложный организм, у него есть своя душа, свои нервы. Человек должен слиться с машиной, стать частицей ее, дать единую гармонию труда. Каждое движение его должно отвечать взмаху колеса, он не должен делать ни одного лишнего движения, каждый поворот руки, наклон туловища должен соответствовать

затраченной энергии машины; неорганизованный труд скорее обессиливает человека. Да, мне деньги нужны, очень нужны. Мне хочется сделать наш завод центром всего производства этой отрасли труда. Я вижу перед собой бесконечные корпуса, десятки тысяч рабочих, станков, чувствовать дыхание целого и быть его центром. Поверь мне, тогда не будет конкуренции, незачем будет искусственно понижать или повышать цену на фабрикат, тогда я смогу диктовать цену, ставить условия... И рабочие не будут зависеть от рынка, — сам труд, его организованность не будет его эксплуатировать. Да ведь я — может быть, — я, капиталист, — делаю для социализма больше, чем сами социалисты. Для меня, — может быть, этому никто не поверит, — не накопление ценностей важно, а труд, его организованность. Я завтра же буду готов отдать это все им, но никогда не откажусь, ни за что, от своей идеи и — чего бы мне это ни стоило — останусь во главе того, что я создал. Мне противно даже само слово капиталист, я не больше, чем любой управляющий. Денег я швырять не стану на свои прихоти, потому что я знаю, что завтра же от меня отвернутся мои рабочие и моя идея труда погибнет...

Лицо Кирилла Кирилловича было возбужденным, глаза, что казалось необычным для него, вспыхивали неожиданно острыми искрами, рука широко проводила по воздуху, точно по ее мановению могли возникнуть бесконечные корпуса и весь этот муравейник людей мог разрастись до бесконечности.

Феничка слушала дядю Кирюшу внимательно, и его возбуждение передавалось ей.

— Дядя Кирюша! Я вас люблю... Вы какой-то совсем другой, новый...

Выходя с завода, Кирилл Кириллович обнял ее за плечи:

— Это от того, Феничка, что ты стала иной, — жить начала, выросла!

Однажды вечером, когда дядя Кирюша пришел звать ее на студенческий вечер, она отказалась.

— Я не поеду, дядя Кирюша!

— Почему, Феничка?..

— Я теперь не принадлежу сама себе...

— Не понимаю тебя...

— Только не смейтесь и не удивляйтесь... Я теперь не принадлежу себе, во мне живет новый человек, и я не смею волновать его — он, это — я...

Сказано было просто, ясно, — бритое лицо Дракина стало серьезным и заботливым... Феничка не хотела слышать вопросов и сама кончила:

— Вероятно, в январе у меня будет ребенок... Я его очень хотела! Он — от любимого, дядя! Вы будете ему крестным отцом...

— Теперь я понимаю, почему ты стала взрослой... Это хорошо, Феня... А мать знает?!

— Я ей сама скажу. Только, дядя Кирюша, вы мне должны во всем помочь — он будет тоже одним из кровяных шариков в организме труда... Правда, дядя Кирюша?!

О появлении на свет нового существа знали только стены Гракинского дома. Мать не нашла силы протестовать и возмущаться, — жизнь ее Фенички, после того как она ушла в новую половину, к Дракину, откололась от ней, — она верила в брата, в его силу и влияние на дочь. Появлению новой жизни Антонина Кирилловна обрадовалась и освободила Феничку от забот:

— Ты сама теперь мать, — сама должна знать, что делать...

— Я, мама, должна кончить учење и для себя и для него, для Бори.

— Дело твое, сама знаешь, — зато у меня теперь будет дело и скучать с монашками некогда будет...

Осенью Феничка снова уехала в Петербург. Изредка продолжала писать Никодиму, регулярно посылала для него деньги, — Петровский молчал. Кирилл Кириллович, ни слова не говоря племяннице, летом съездил в столицу поторопить в министерстве освобождения Петровского, и теперь уже, когда Лионский кредит сделал снова начальство внимательным и любезным, было обещано возвращение сосланного студента.

III.

Осенние вечера с туманными улицами и фонарями, с засекающим стекла мелким дождем и заглушенным гулом трамваев для Фенички были тем же дыханием сложного организма жизни. Возвратившись из института, не зажигая огня, ложилась на постель и старалась представить себе ребенка. Тоски не знала она, некогда было, а печаль грустная, полная любовью к далекому, завлакивала глаза тишиной сумерек. Тосковали тело

и руки, не чувствовавшие живого и теплого тельца — ласкового и уютного в своем плаче от голода, когда маленькие губы жадно хватали сочную ягоду соска и, чмокая, всасывали силу и жизнь, от их прикосновения Феничка вздрагивала и улыбалась, и улыбка разливалась по всему телу, пока насытившийся комок не отваливался от груди и не засыпал. Хотелось и теперь тоскующими руками почувствовать и отдать ласку матери, самое главное нужно было отдать эту силу, иногда даже давившую ее своей настойчивостью. Но сейчас же подавляла в себе это чувство, зная, что весной, после зачетов, она снова будет около Бориса, и это пройдет.

Затапливала печку, грелась ее теплом и веселыми огоньками, сновавшими по поленам березы, грела чай и садилась учиться. Каждая страница была приближением к тому дню, когда она станет частицей всего организма и будет участвовать в сложном обмене веществ жизни. Представлялся дядин завод, амбулатория, точный ланцет или трубка...

От Никодима не ждала писем и не знала, что с ним. Посылаемые деньги обратно не возвращались. Писала ему по-прежнему, но с каждым месяцем реже, только чтобы знал, что есть человек, к которому он может прийти и отдохнуть.

В одном из вечеров, утомленная беганьем в институте и по городу, — отдыхала в сумерках.

Постучал кто-то в дверь, — думала, что хозяйка с письмом или случайно за чем-нибудь Журавлева.

— Войдите...

Кто-то поставил у двери что-то тяжелое, закрыл ее и нерешительно остановился.

Почти незнакомый голос спросил:

— Фекла Тимофеевна здесь живет?..

Испуганно вскочила с постели, почему-то подумалось, что вошел тот рыжий, фамилия которого забылась уже.

— Кто здесь?!

— Я, Петровский...

В старом расстегнутом пальто с оборвавшимися карманами, в помятой институтской фуражке, в той же черной тужурке с протершеюся подкладкой и обтрепанных с бахромой брюках, худой, нерешительно остановившийся у двери... Ввалившиеся глаза ярче подчеркивали желтизну обтянутого лица. Волосы спадали на лоб тощими ровными прядями.

Феничка, подходя к столу, машинально поправила волосы и, вставив штепсель, обернулась к Петровскому. Обернулась и застыла у стола, слегка откинувшись назад и опершись о него руками. Выражение лица и всей фигуры у Никодима было измученное, нерешительное; увидев Феничку, — он тоже представлял ее иною, — она показалась ему выросшей, совершенно изменившейся, беспомощное выражение ее глаз, вечно искавших чего-то и вызывающе ждущих, сменилось ясною и спокойной улыбкой, независимой, может быть, даже гордой. Молчание было мучительным и напряженным, каждый ждал друг от друга первого слова, от которого, казалось, зависело все, что между ними произойдет в будущем. У Фенички даже промелькнуло, что она теперь не могла бы и любить такого, и ее всю охватила жалость, захотелось быть близким другом, влить в него свою силу. Руки оторвались от стола, Феничка качнулась, тихо подошла к Никодиму и протянула ему руки. Назвать на ты не решилась...

— Никодим, милый, что с вами?..

Петровский взял ее руки, сжал, и голова его опустилась, пожатие ослабело, но он все еще держал Фенины руки, боясь выпустить их, точно после этого он потеряет что-то неизмеримо ценное и никогда уже потом не найдет этого. Глухим, слабым голосом ей ответил:

— Я к вам...

— Раздевайтесь, идемте ко мне, идемте...

Пока согревала чай и возилась в комоды, доставая поесть, Никодим сидел на диване, оглядывая комнату и ее — Феничку. Непривычная обстановка, — спокойный стол, лампа с накренившимся зеленым абажуром, кожаный широкий диван с высокою и прямой спинкой, на которой во всю длину дивана была сделана полка, — на ней книги, бокал с цветами, напротив постель, застланная теплым одеялом, большой шкаф, этажерка с книгами, Феничка — выросшая как-то за эти годы отсутствия, — созревшая радостной жизнью. Непривычная обстановка давила его после байкового одеяла, грязной избы, а потом низкой неудобной комнаты в городе. От вокзала до самого дома, таща порыжевший чемодан, думал, что зайдет на минутку к ней, всего на одну минуту, чтобы только сказать, что он писем ее не читал — каждое аккуратно сжигал распечатанным и что деньгами ее не пользовался вообще, и только последнее время, когда очень был болен и не мог работать,

брал эти деньги, а теперь пришел ей сказать, что их он вернет, вернет обязательно, как только найдет какой-нибудь урок и устроится в институте, а это обязательно будет, иначе бы он не поехал в Петербург, — не ради же Фенички он приехал сюда. И все время собирался сказать Феничке, зачем он собственно пришел, но она почти не обращала на него внимания, готовила чай и закуску.

Застлав белую салфеткой на краю письменного стола и приготовив чай, Феничка села около Никодима и повторила те же слова:

— Никодим, милый, что с вами?..

Голос ее звучал еще глубже и мягче, затронув в нем где-то дремавшее чувство, задушенное им самим упорно и настойчиво.

— Я пришел вам сказать, и это я обдумал давно, еще там, что собственно я... Немного не так, но это все равно! Понимаете, я вашими деньгами не пользовался, я их отдавал своим товарищам... Если б вы видели, господа, если бы вы видели, как они живут... После этого вы не стали бы жить так, понимаете, — не могли бы, кусок хлеба не пошел бы вам в горло...

И, вспомнив о том, что давно уже не ел, — второй день ехал, голодным и отворачивался к стене, когда внизу у оконного столика ели его спутники, — жадно взглянул на приготовленную закуску, но подавил в себе голод и глотал слюну, — он на вокзале напился воды, столько воды, чтобы не чувствовать голод, продолжал, понижая голос:

— Я не хотел пользоваться вашими деньгами и собственно я ими не пользовался, но меня, понимаете, заставили, когда я одно время был нездоров...

И не закончил, — голос сорвался как-то...

Феничка схватила его за руки, — руки холодные были, влажные и от волнения слегка вздрагивали.

— Бедный мой!..

И после этого он почувствовал, что в нем не осталось больше сил, что он собрал в себе все, что были, чтобы высказать все, и их не хватило в нем... Может быть, даже это от того, что его тошнит от голода и ужасно раздражает поставленная на стол еда, и у него даже мелькнуло, что он не прикоснется к ней, а скажет последнее, самое важное, и уйдет, и когда Феничка неожиданно поднялась, не выпуская его рук, поднялся и он и двинулся за нею, собственно у него не осталось сил сопротивляться голоду и он решил — выпить всего один стакан чаю и съесть кусок

хлеба, чтобы только утолить голод и уйти, сейчас же уйти от ней, — он даже не знал, куда он пойдет, но, собственно, он об этом не думал, потому что тут и думать нечего, ну просто куда глаза глядят, может быть, в ночлежку, а сейчас, — он повиновался не голосу Фенички, а желанию утолить голод, и главное, что Феничка сказала ему опять на ты, может быть, он и потому еще пошел с нею к столу, просто в нем не хватило сил выдержать этого дрогнувшего страданьем женского голоса.

— Зачем ты себя довел до этого?.. Ну, ешь, ешь, говорить будем после...

Никодим быстро и жадно глотал чай и, не прикасаясь ни к чему, взял только кусок хлеба, намазанный маслом, и все время думал, как он встанет и скажет ей главное, что он уходит от нее и никогда больше не вернется, — общего ничего нет и не может быть...

Все время обдергивал свою тужурку, и когда окончил стакан — голова закружилась, от еды затошнило, и он ясно помнил еще, что встал, сделал несколько шагов по комнате и неожиданно пошатнулся, — потемнело в глазах и все предметы закружились и заплясали.

Феничка успела его подхватить, положить на диван и начала расстегивать ему рубашку. Сбросила воротничек — пожелтевший от пота и почерневший от дорожной пыли. Тело было влажное, исхудавшие ключицы резко выступали, обтянутые такою же желтою кожей, как и на лице.

Движения ее были неторопливы, но быстрые и уверенные, — сняла полотенце, смочила его над умывальником и один конец положила на лоб, другой на грудь, поправила его, чтобы удобнее было лежать, подложила подушку под голову, — волосы змеиными тонкими прядками упали на лоб — откинула их, пригладив рукой, и прислушивалась к дыханию. Потом села около него на диван и, придерживая рукою полотенце на лбу, шептала:

— Никодим, разве можно себя доводить до этого?!

Ей показалось даже, что губы его шевельнулись, и она опять повторила:

— Зачем ты себя замучил?!

И снова, как только он почувствовал, что сознание к нему возвращается, он начал вспоминать, где он, — сперва показалось, что он едет в вагоне и с жадностью смотрит на свиних спутников и его затошнило, потом голова опять закружилась и он увидел себя в Петербурге, плутающим по

забытым улицам Петербургской стороны, потом увидел себя в комнате Фенички и опять вспомнил, зачем он пришел к ней. Открыл глаза, удивленно взглянул на Феничку, потом сообразил, что он в ее комнате, и ему, очевидно, от голода стало дурно. И сейчас же, откинув Фенину руку, напрягая последние силы и волю, встал, сделал несколько шагов к двери, обернулся и начал говорить то, что он собирался сказать и зачем, собственно, пришел:

— Я пришел к вам только за тем, чтобы сказать, что я деньги верну вам и никакой помощи мне не нужно... А теперь я пойду!.. Ничего больше, я все сказал... Я пойду.

Феничка подошла к нему, опять взяла его за руки и спросила:

— Никодим, куда ты пойдешь? Куда?!

— Мне нужно идти... Нужно... Туда...

— Но тебе ведь некуда идти, Никодим! У тебя кроме меня никого нет!.. Куда же ты пойдешь?! Куда?! Зачем?! Ты никуда не пойдешь — тебе больше некуда идти, ты останешься у меня... Тебе ведь некуда больше идти, некуда!

И когда он услышал ее вопрос, — куда же ты пойдешь? Тебе ведь некуда больше идти! — он почувствовал, что, действительно, ему идти больше некуда и кроме нее у него никого нет. И сразу он ослабел окончательно, до этого все еще пытался уйти, порывался сказать самое важное, а вышло так, что самое важное сказала Феничка, — ты останешься у меня.

Опустил голову, весь как-то поник и безвольно опять опустился на диван, но сейчас же обрывки бывшего напряжения разразились словами:

— Нет, я не останусь, я не могу остаться...

И сам начал ей говорить на ты:

— Пойми же, что мне не за чем у тебя оставаться...

— Смотри, уже скоро одиннадцать! Тебе придется будить дворника, бродить по улицам с чемоданом, тебя сейчас же заметят, отправят в участок и, пока ты докажешь свое право жить в Петербурге, тебе придется сидеть арестованным.

Инстинктивно еще сопротивлялся...

— Ну, скажи, ведь тебе сейчас некуда даже идти! Скажи правду!

С трудом выдавил:

— Теперь никого нет... Ты не знаешь, как тяжело

сознаваться, но теперь у меня никого нет, мы ведь разбиты, и я только хотел посмотреть, начать что-нибудь сам.

— Тебе отдохнуть надо. Бороться имеют право только сильные. Сильные не только душой, но и телом. Нужно выносливым быть, закаленным, на все готовым, а у тебя ведь не осталось сил, ты еле стоишь на ногах...

Села близко около него, опять взяла ласково его руки...

— Зачем ты довел себя до этого? Ну, зачем?! Видишь, какой ты больной, слабый, разве место таким в борьбе?.. Вот посмотри на меня, я теперь совсем другая...

Как эхо отозвалось у него в груди:

— Да, другая...

— Я теперь жизнь чувствую, научилась любить ее... Я не девочка и для меня теперь в жизни все так просто и ясно... И тебе, Никодим, нужно таким же быть...

— Я знаю, Феня, мы сейчас разбиты и мне сейчас некуда идти, но я знаю, что это временно, вот это сознание во мне глубоко, и я верю в него. Мы сейчас бессильны, но время за нас... Да, мне идти некуда и мне горько в этом сознаться, мне тяжело было идти к тебе, я ехал сюда, чтобы начать что-то свое, новое, и сразу почувствовал, подъезжая к Петербургу, что собственно я ехал к тебе и письма я тоже сжигал, может быть, потому только, что боялся их, боялся, что... у меня нет слов, нет их у меня. Я боялся самого себя... Боялся, что не выдержу встречи с тобой, и видишь — не выдержал, остался, потому что мне на самом деле деваться некуда. Я ведь в ночлежку хотел идти, но у меня и на нее нет даже двух копеек. Я с таким трудом дошел до тебя, вот если бы еще несколько шагов, и я повалился бы... Я не ел уже два дня... И больше всего я боялся, что тебя дома не будет и я не выдержу — сяду на порошках и разрыдаюсь... И хорошо, что я не читал твоих писем, в них бы я иную тебя увидел, такую, какой бы сам захотел, сам бы создал тебя и обманул, наверное, даже обманул бы. Ты теперь стала совсем иною, я не знаю только какой, но что-то особенное в тебе, непонятное... И так хорошо, что я жег твои письма...

Петровский, казалось, мог бы говорить без конца.

Тепло, тишина комнаты, спокойные большие глаза под ровными бровями и венком золотых волос успокоили его, согрели душу, и его потянуло к теплу, отдохнуть захотелось и поток его собственных слов успокаивал, разряжая напряженность пережитого.

Феничка взглянула на часы, выпустила его руки из своих, встала...

— Посмотри, уже час! Надо ложиться спать...

Слова ее были простые, ясные... Он говорил и думал, как он останется у нее, в одной комнате с нею, и не удивился, когда она сказала, что надо ложиться спать, потому что это было так легко и просто сказано, точно действительно иначе быть не могло.

— Пусти, я постелю на диване...

Отошел к столу и стал перелистывать книгу...

— Ну, готово. Я на диване лягу, а ты ложись на моей постели...

— Лучше я на диване... зачем же?.. Нет, ни за что...

— Тебе, Никодим, отдохнуть нужно, ты ведь измученный... Посиди у стола... Я потушу на несколько минут электричество и разделюсь, а потом ты ляжешь...

Подошла к столу, вынула штепсель, — и не успел возразить и опять почувствовал, что иначе не могло и быть, и покорно остался в темноте у стола.

Никодим разделся, лег, и в темноте снова начал говорить — успокоенный, согреваясь теплом и присутствием тут же, рядом, напротив этой постели — девушки или женщины. Слова постепенно замедлялись и ослабевали, голос затихал, и когда сон затомил мысль — слова потухли.

Прислушиваясь к его дыханию, она почувствовала, что в ее комнате мужчина, ощутила это присутствие телом. Но и это не испугало ее. Мысли о нем перенеслись внутрь, медленно нарастало ощущение присутствия Никодима, оно волновало ее, и она не могла заснуть.

На время, когда она вся углубилась в ожидание новой жизни в себе, она не была женщиной, ни один раз не пробуждалось в ней желание; потом, после родов, она отдалась ребенку, ощущение его близости заменило все; возвратившись в Петербург, она не думала ни о чем, кроме занятий, — некогда было, работала для него, для будущего. И теперь, неожиданно, в первый раз, оторванная от ребенка, с тоскующими руками о ласке, с захватившей ее жалостью к измученному человеку, она почувствовала в себе снова женщину, но не ту, что металась и мучилась, а спокойную, радостную, удовлетворенную жизнью. Ощущение присутствия Никодима сразу пришло и разлилось по всему телу, точно голод, приходящий так же неожиданно и требовательно. И это нарастающее в себе желание вновь

пробудившейся женщины, сильной, здоровой, радостной, было похоже на голод. Голова была ясная и только волновалось тело, — легкая дрожь пробежала от рук к ногам. Захотелось вытянуться, потянуться, глубже вобрать в себя воздух... И снова — жалость, — бедный... Жадности не было, было ясное желание, требовательное и насущное. Даже подумала, — почему он не чувствует этого, ведь это было бы так просто и я бы его любила в эту минуту.

Заснула под утро, тяжело дыша, — голод мучительным стал, истомляющим. Почти не спала, — звонивший будильник в соседней комнате разбудил ее.

IV.

Приготовила чай и ждала, когда проснется Никодим, раскрыла книжку и не могла читать, задумалась...

— Как это глупо, ужасно глупо!

Зашевелился, испуганно взглянул на Феничку.

— Одевайся, я пойду поговорю с хозяйкой. Пока ты будешь со мною жить.

С жадностью ел за чаем... Феничка сидела рядом такая же спокойная и простая, была только тяжесть в голове. Утром, одеваясь, решила, что пока, всего несколько дней Никодим поживет у нее, а потом она или отправит его к дяде или оставит для него Борисову комнату, последнее не хотелось ей, казалось, что тяжело будет входить в нее.

За чаем же начала:

— Ну, видишь, как просто все... Ты не верил, что я твой друг.

— И теперь боюсь верить. Мне все-таки как-то тяжело брать от тебя...

— А разве ты раньше не брал?.. Тогда это было для тебя легким и теперь так же должно быть... Только давай сделаем так, чтобы не я, а ты сам брал у меня сколько тебе будет нужно... Деньги лежат в столе, — не спрашивай и не считай — они будут наши, общие...

— Да, раньше легче было их брать от тебя, раньше я...

Снова замедлил фразу и печально взглянул на Феничку, и опять она окончила ее в уме, — раньше ты любила меня, — подумал, провел по привычке по волосам и кончил:

— Раньше мы были другие...

Начала спрашивать:

— Что ты думаешь делать?..

— Учиться. Поеду снова устраиваться в институт...

— Послушай... отдохни.

— Отдыхать некогда, надо работать. Впереди еще столько дела!

— Я хотела тебе предложить к дяде поехать. Ты вчера говорил, что хочешь работать, начать что-то свое, сам создавать... Он бы тебе помог!..

Кто? Твой дядя?! Помогать своему врагу?!

И сразу лицо его загорелось, прорвались слова:

— Понимаешь, почему для меня тяжело пользоваться от тебя помощью... Дядюшка твой сок выжимает из человека, а племянница ради своего удовольствия, из человеколюбия и сострадания, пригрела у себя на груди врага его и откармливает...

— Но ведь он помог тебе получить свободу!

— Великодушие победителя к уничтоженному врагу. Вот что!

Вскочила из-за стола и, сверкая глазами, бросила:

— Никодим, Никодим! Ты не смеешь так говорить, не зная его.

Встал, прошелся по комнате и глухим голосом извинился:

— Прости, Феня! Это у меня сгоряча вырвалось!

После чая Никодим уехал в Лесной, Феничка закрыла за ним дверь, вернулась в комнату и ясно почувствовала, что он для нее чужой, измученный и ослабленный жизнью, — еще раз прислушалась к себе и кроме жалости ничего в себе нашла, — глубоко жил в ней любимый.

Вернулся в сумерки. Феничка отдыхала, — сел на диван...

— Ну, что?..

— В институт примут...

Глухим голосом начал:

— А только не тот он теперь... По-прежнему толкотня, сутолка, а души нет, — вытравили ее. Старых товарищей никого почти, а те, кто остался — слова говорят красивые. Звали работать с ними... Спрашиваю, — где, с кем?!. Много ли осталось работников?!. И, понимаешь, пустота какая-то, трескучие фразы, — мы, говорят, начали организовывать, нам нужны опытные, искушенные люди, за тобою пойдут, у тебя стаж... Ссылка для них стаж. Без декорации обойтись не могут! А студенчество!.. Понимаешь, чиновники в тужурках. Живого слова не слышал, — зачеты, экзамены, лаборатории. Спрашиваю, — с кем же рабо-

тать, — с этими?! Машут рукой... Так с кем же они хотят работать?! Теперь работа оттуда должна начаться — с низов, а мы разбиты, разбились о революцию и успокоились. Парламентаризмом заражены... Эволюцией... Лучше, действительно, поеду к твоему дяденьке. Буду работать вместе с рабочими. Теперь очаги истины в мастерские превращены, и если придет что-нибудь, то только оттуда, само, потому что это должно сперва всех пропитать. Теперь это не из лабораторий придет, не из университетских аудиторий или кулуаров парламента, а изнутри вспыхнет, само, и вот тогда мы посмотрим, что будут делать вчерашние вожди. Тот, кто хочет быть у руля, должен над собою работать. Работать внутри сплоченной группы и не шадить изменников, потому что цель выше личности. И если каждый будет следить за другими, то изменников не будет у нас, никому изменить будет. Нужно, чтоб каждый шаг был известен...

— Но ведь это же ужасно... Это шпионаж! Каждый должен шпионом быть своего товарища!

— Ничего подобного. Бесконтрольность действий приводит к краху, — от этого мы и разбиты. Когда каждый будет знать, что его действия контролируются каждый момент и каждый его шаг известен, он будет осторожен с другими, не будет на ветер бросать слов и выбалтывать, потому что за этим не нравственная ответственность будет, а личная. И если ты чувствуешь себя слабым, сам уходи, не жди, чтобы тебя изгнали, потому что ты отвечаешь за каждое свое слово. А если ты преступление совершил — не скроешься никуда...

— Что же, вы убивать будете?..

— Выводить из строя. А как, — сами обстоятельства нам подскажут, может быть, и убивать. Вот в такой партии не будет расхлябанности, и она будет компактна и, если ей придется действовать, она сумеет показать свою волю и закаленность!..

— Но ведь ты хочешь создать каких-то фанатиков.

— Да, фанатиков... Безгранично верующих в правоту своей идеи.

— Тогда ваша идея застынет, сделается благодаря фанатизму мертвой догмой...

— Нет, никогда! Кто хочет воплотить свою идею в жизнь, тот должен прислушиваться к ней и сейчас же приспособлять идею к жизни. Временно уступать жизни, чтобы направлять ее в намеченное русло. В гранитные берега жизнь влить... Если человек может заковать реку в сталь

и гранит, то мы тоже должны это сделать с жизнью. Дисциплина сверху донизу!

— Поезжай к дяде... Он тоже говорил о дисциплине труда... Но все-таки все, что ты говоришь, — жуткое что-то... Ужасом веет от этого...

Встала, прервала его:

— Давай чай пить.

— Ну что ж, давай чай пить...

В то время, когда Никодим говорил, мелькнувшая у Фенички мысль о его озлобленности исчезла сама и вошло новое, чего она раньше, до его ссылки, занятая исключительно собой, своими переживаниями и вечным метанием, еще не чувствовала в нем. Может быть, он и не был тогда таким, может быть, ссылка его закалила и одинокие дни размышления и углубленности в свои переживания родили в нем эту суровую идею дисциплины партии. Внутренне она не могла принять всего, что он говорил, ее радостному миропонятию это было чуждо; поэтому вся она сопротивлялась его словам, но рассудком она приняла и особенно ее поразила эластичность и приспособляемость к жизни не самой идеи, а способа ее воплощения.

V.

Вечером, сидя вместе с Феней у топившейся печки; не зажигая огня, в полумраке, — ей было легко, ласково, хотелось без конца говорить о том, как хорошо жить, когда на душе ясно и не давит, голова и руки не тоскуют без ласки, — спросил ее:

— Ты любишь меня?

Целый день об этом хотел спросить ее, потому что утром, когда не хотелось уходить от нее, говорил о себе, о своей любви, о том, что, может быть, она и тянула его в Петербург, только из самолюбия он не мог в этом сознаться даже самому себе и только когда это прошло, тут он сразу понял зачем его жизнь, во имя кого он будет работать и что, вероятно, и к дяде Кирюше поедет он, — может быть, действительно, с помощью его начнет он работать сам. Все время прерывал свои слова ласково и не сразу только заметил, не сразу почувствовал, что Феничка относится совершенно спокойно к этому и его счастье не волнует ее.

Встал и странное промелькнуло чувство, — любит ли она его. Целый день собирался спросить и все время не

удавалось, — утром, за чаем рассказывала, как летом ездила в автомобиле и сама правила, потом ее не было, — убегала в институт. Хотел попросить остаться ее, но она сама сказала, что должна идти, — не хотел нарушать ее дня. Во время обеда, в столовой, где они встретились, было много народу и неудобно было. И только когда села отдышаться у топившейся печки, спросил ее:

Ты любишь меня?

И совершенно неожиданно вместо ответа сама ему задала вопрос:

— Зачем тебе знать это?!

— Как зачем!

— А не все ли равно тебе, люблю тебя или нет?!

— Конечно, не все равно!

— Ну, а если бы я сказала, что не люблю, что могло бы измениться в тебе после этого? Или ты меня из-за этого тоже, может быть, разлюбил бы?!

Даже растерялся — не знал, что ответить...

— Ведь не разлюбил бы, нет?..

— Никогда!..

— Так значит тебе незачем и спрашивать меня — люблю тебя или нет?! Так ведь?!

— Но я хочу знать!

— Зачем?.. Вчера ты меня не спросил, или, может быть, ты забыл спросить?

— Вчера я от счастья голову потерял!

— Вот видишь... Значит тебе хорошо было со мной?!

— Но ты меня любишь?!

— Я тебе говорю правду, а ты требуешь от меня лжи!.. Ты хочешь знать, любила ли я кого-нибудь до тебя?!

— Да, Феничка, да, хочу знать!

— Тебе нужно мое прошлое, чтобы успокоить в себе эгоизм... Но ведь ты социалист! Разве тебе не все равно, любила ли я кого-нибудь или люблю и теперь? Ты говорил, что я кажусь тебе человеком грядущего... Может быть, это так и на самом деле... Для будущего нужно одно: чтобы любящий счастлив был. Ведь вот же я отдалась тебе, и разве ты не был счастлив, обладая любимой, не спрашивая меня в этот момент люблю я тебя или нет?! Так почему же я не могла взять от тебя твоей любви, если я знала, что для тебя это будет счастьем, а я смогу жить и радоваться своему бытию? Ну, понял ты меня, женщину? И если мы взяли друг от друга то, что могли и хотели взять — разве этого мало?! Нам хорошо было вместе —

этим все сказано, и прошлое, и настоящее, и будущее! Любишь меня и люби, не спрашивай, а собственности в любви я не признаю. Полюблю другого — уйду от тебя, и ты также свободен... Мы не рабы! А если хочешь знать мое прошлое?! — Для меня его нет!

Молча сидел, наклонившись, и что-то думал.

Замолчала и Феничка.

Умом сознавал, что она права, а в душе была непонятная тяжесть. Пытался говорить о другом и замолкал. Феничку это печалило только, но не давило.

Из института Никодим приезжал угрюмый и раздраженный, жесткий какой-то, ледяной.

Часто повторял, что все кругом пахнет гнилью, затхлостью и что действительно нужно встряхнуть жизнь и заново ее строить, пройти огнем и мечом ради очищения и спасения человечества. Повторял свою мысль о дисциплине. И однажды вечером, не заходя к себе, вбежал в комнату Фенички, бросил на стол портфель, подбежал к окну, ее подозвал и, показывая на улицу, начал говорить:

— Посмотри, ты видишь эту плюгавую рожу?

— Где?

— На противоположной стороне у витрины стоит...

— Ну?

— Шпик! Снова следить начал. Вот уже неделю, как замечаю его за собой, аккуратно встречает и провожает с Выборгской от паровичка и обратно. Убил бы его...

— Хочешь, я его убью?!

Подбежала к столу, достала револьвер...

Остановил ее:

— Оставь, этим ничего не сделаешь. Все равно ему нечего и следить, ведь я не работаю. Пусть гуляет... Ему тоже ведь жрать нужно... А все-таки это ужасно противно и раздражает. Я и не знал, что у тебя есть эта штука...

— Дядя Кирюша подарил...

В один из вечеров сказал ей, что, может быть, скоро начнется.

— Почему?

— На Волге голод. Ужасный голод, — люди едят кору, и правительство бессильно помочь голодающим. Вот то, что нужно для нас...

На курсах и в университете говорили, что правительство разрешило общественности придти на помощь голодающим и предлагается устроить кружечный сбор.

Никодим первый раз за все время пошел работать и целые дни проводил в районном комитете, — хотелось приглядеться к студенчеству и курсисткам, ближе войти в их сферу. С утра в просторных комнатах присяжного поверенного толпилась молодежь, пахло соломой, клеем, бумагой, — лепили щиты, вязали пучки колосьев с искусственными васильками, накалывали булавки и заполняли щиты.

Петровский выдавал кружки студентам, а Феничка — щиты с наколотыми пучками колосьев ржи. К десяти часам уже на хватило ни щитов, ни кружек, предложили купить, где придется кружки и самим наскоро приготовить щиты.

В полдень только смогла Феничка с Петровским идти продавать колос.

Вбежала курсистка, худенькая, живая, и почти детским плачущим голосом обратилась к Феничке:

— Коллега, я уже в третьем районе, я очень, очень хочу продавать колос ржи! Вы разрешите мне с вами... Мы втроем продавать будем.

Никодим стоял у окна и морщился.

Феничка не могла отказать девушке и обратилась к Петровскому:

— Никодим, коллега с нами пойдет, будем втроем продавать, — вы согласны?

Петровский обернулся и встретил матовые выпуклые черные глаза девушки, просившие его взять с собою. Большие ресницы у ней от волнения непрерывно вздрагивали, глаза вспыхивали и снова становились матовыми и задумчивыми.

По середине с кружкой шел Петровский, по бокам Феничка и курсистка.

Выйдя из дома, девушка обратилась к Никодиму:

— Меня зовут Зина, и я не люблю, когда меня иначе называют — Зинуша, Зиночка, — и вы тоже должны меня звать — Зина.

Феничка и Петровский удивленно взглянули на нее...

— А если мы с вами познакомимся, тогда я вам скажу и фамилию.

И сейчас же подбежала к какой-то женщине, не спрашивая ее, наколола на грудь пучок колосьев и внимательно стала следить, сколько та опустит в кружку.

Рука протянулась с медным пяточком...

Зина вспыхнула...

— Послушайте, сегодня нельзя быть скупой, — там крестьяне едят кору с деревьев!..

Женщина растерянно посмотрела на Зину и вынула серебряный гривенник.

Никодиму это понравилось.

— А вы энергичная!

Феничка стояла задумчивая, смотрела на свой щит, унизанный золотом сухих колосьев, и вспомнила снова слова Бориса:

— Волосы, как снопы с золотым зерном, каждая прядь косы — наливной колос. Благодатное лето в паневе праздничной и руки — острый серп радости, широкое и просторное в нивах раздолье — Лина...

— Феня, идемте...

— Иду, Никодим, иду!

VI.

По всем улицам Петербурга рассыпались курсистки со студентами, продавали парами, и целый день в городе царило праздничное оживление. Пары влетали в трамвай, выкрикивали, — в пользу голодающих, колос ржи, — у всех прохожих на груди приколоты с васильком колосья, у многих по два, по три пучка, и все-таки, когда подходила новая пара, звенела медь, серебро, и кружки к обеду отяжелели.

В районных комитетах по-прежнему шла работа — готовили новые щиты и кружки. В каждом — пчелиный улей, — влетали, как пчелы, пары, озабоченные, живые, радостные, хватали новый щит, кружку и уносились на улицу.

Феничка подходила не торопясь, спокойно прикалывала пучок колосьев и взглядывала на человека настойчивым взглядом, прежде чем он опустит в кружку монету. Чувствуя на себе взгляд, тот не решался доставать гривенник или двугривенный и опускал полтинник, иногда рубль, но это делала она только с теми, кто казался ей не бедняком, к тем она, хотя так же и говорила и так же прикалывала колосья, но добавляла при этом:

— Давайте, сколько есть, каждая копейка нужна.

После обеда на восьмерке доехали до военно-медицинской академии с новыми щитами и кружками и через Литейный мост — пешком по проспекту.

Из арсенала выходила толпа рабочих. Никодим подошел к ним с кружкой.

— Товарищи, давайте голодающим крестьянам.

Широкоплечий, угрюмый мастер в засаленной кепке бросил, почувствовав по внешности Петровского социалиста:

— Вам стыдно, товарищ, заниматься этим.

— Почему?

— Правительству мы помогать не должны, — это против нас.

Никодим молча отошел от него и в первый раз на него дохнуло тем, о чем он говорил Феничке, что это должно войти в каждого и, конечно, прежде всего в рабочего.

Какой-то худой токарь с чахоточным лицом, зло сверкая воспаленными глазами, кричал:

— Лучше я пропью этот пятак, а не дам...

Зина, побагровевшая вся, полусшепотом, — от волнения у нее пропал голос:

— Не имеете права, вы должны положить, должны!..

Петровский грубо дернул ее за рукав, она удивленно взглянула на него и замолчала.

— Идемте, Зина, туда!..

И кивнул головой к проспекту.

Сели в трамвай и, проехав несколько остановок, хотели сойти. Зина неожиданно сверкнула глазами и заявила:

— Мы еще не были на вокзале!.. Там соберем. Едемте. На Николаевский.

Через залы прошли на перрон, из поезда в поезд по вагонам, в толкотне, в сутолоке.

Зине больше всего нравилась эта сутолока, где она с особым искусством ухитрялась у торопившихся людей настойчиво брать деньги.

— Послушайте, вы домой едете?

Пассажир с недоумением взглядывал на нее и, думая о багаже, носильщике, о том, чтобы поудобнее занять верхнюю лавку — в дороге поспать и обдумать все, что было с ним в столице, — отвечал торопясь:

— Домой.

— Значит, вам деньги теперь не нужны, оставьте себе на извозчика и носильщика — остальное давайте в кружку.

Пассажир, чтоб скорее отделаться, доставал портмоне и высыпал мелочь, вскидывая, торопясь, на верхнюю полку багаж.

Носильщик с тюками толкнул Зину:

— Шли бы, барышня, на перрон... Мешаете тут...

Зина взглядывала на грудь носильщика и прикалывала колосья.

— Почему у вас нет?..

— Некогда мне... оторвались... Сколько раз мне цепляли их... Все равно оторвутся.

Носильщик кряхтел, пытался достать деньги, ставил на пол багаж, в вагоне неслось раздраженно:

— Сто сорок пять, сто сорок пять, носильщик, вещи сюда, носильщик!

Занявшие уже места весело смеялись:

— Вот это барышня! Эта не пропадет. Молодец...

Кто-то добавил:

— И хорошенькая!..

Никодим, стоя сзади с кружкой, улыбался и тоже думал, что с таким человеком действительно не пропадешь, у такого — неожиданно появится мысль, может быть, даже абсурдная, но поражающая человека своей необычностью, и она смутит или заставит задуматься и даст возможность выиграть время, а это самое главное. И пока человек будет придумывать выход из этого абсурдного и неожиданного предложения, можно будет и самому вывернуться и придумать новое, а главное — с таким человеком вся жизнь будет горением. Невольно сравнил ее с Феничкой — спокойной, ровной и слишком разумной (благоразумной она не была, а разумной — изнутри — всегда).

Феничка и теперь, пройдя несколько вагонов, отказалась идти дальше.

— Я не пойду. Буду вас дожидать в буфете. Скорей только...

Вошли в рядом стоящий поезд.

В сутолоке, увлеченные продажей, — кружка полна и мелочь звенит в кармане у Никодима, — плавно колыхнулся вагон...

— Зина, идемте скорей...

У двери не пустил проводник:

— Не пущу, барышня, ни за что...

— Нам нужно, пустите!

Никодим спросил спокойно:

— Это куда?

— На Любани не останавливается, на Бологом ровно в двенадцать.

Зина, сверкнув мохнатыми глазами черными...

— Я так рада! С осени ни разу не ездила в курьерском!

Проводник открыл свое отделение, впустил их туда и пошел у пассажиров отбирать билеты, через несколько минут вернулся, достал из-под лавки чайник с горячей водой, заварил чай и начал закусывать, — вкусно пахло вареною колбасой и черным хлебом.

Зина жадно поглядывала на евшего и не выдержала:

— У вас вероятно очень вкусная колбаса, где вы ее покупаете?..

Тот удивленно посмотрел на девушку, улыбнулся, отрезал ломоть хлеба, положил на него два кружка колбасы и подал Зине:

— Проголодались, должно быть, барышня, — набега-лись за сегодняшний день. А колбасу я беру, где придется, — на Лиговке брал, в бакалейной...

Зина разломила пополам хлеб и подала половину Петровскому:

— Попробуйте, я еще никогда такой не ела.

Выпив стакан чаю, проводник сполоснул его, выплеснул в плевательницу и подал Зине:

— Не побрезгуете? Наливайте себе...

Перед Бологим вышли на площадку. Никодим, вспоминая что-то свое, сказал Зине:

— С таким удовольствием я пил чай в ссылке, когда приходил с работы.

— Господи, почему ж вы раньше этого не сказали?!

— Что чай-то пил?..

— Я еще никогда не видела ссыльных.

У Зины всегда мысль по-своему шла, она никогда не отвечала на вопрос, а продолжала говорить то, что думает, что волнует ее в тот момент, который почему-нибудь покажется ей особенно интересным и важным. Она никогда не встречалась с политическими, и эта встреча с Никодимом сразу же стала центром ее внимания.

Выйдя из вагона, Зина увидела станционного жандарма, вспомнила, что он, как жандарм, враг Никодима, сверкнула глазами...

— Я сейчас, Никодим, колос ему приколю...

Петровский не успел ей ничего сказать или остановить, как услышал уже ее слова:

— Послушайте!

Жандарм отдал честь...

— Мы с коллегой знали, что вы обязательно будете сегодня на станции, и решили поэтому приехать и прико-

лоть вам колос ржи в пользу голодающих, но с вас денег мы не возьмем...

Жандарм от неожиданности схватился за грудь, думая, что на его жизнь совершается покушение, побагровел и хотел что-то сказать или крикнуть, но в эту минуту подошел Никодим, прервал и Зину и не успевшего что-либо сказать жандарма:

— Дело в том, что сегодня, действительно, во всем Петербурге продавали эти колосья в пользу голодающих на Волге крестьян, мы, проходя по вагонам поезда, не успели выйти и проехали до первой остановки. Нам, конечно, нужно где-нибудь ночевать. Скажите, где здесь гостиница или еще что-нибудь.

Жандарм, поняв в чем дело, указал дорогу.

Потом еще раз подозрительно оглядел Никодима, Зину и буркнул вслед им:

— Студенты эти, — издеватели!

Долго стучали в гостиницу, вышла какая-то заспанная баба, ворчавшая все время и кричавшая наверх, очевидно хозяину:

— Да тут какие-то номер спрашивают... Пускать али нет?

Сверху осипший и охрипший бас рявкал:

— Шантрапу не пускай только, опять унесут тарелки.

Зина стала уверять заспанную бабу:

— Но право же мы не за тарелками пришли к вам и вообще ничего не возьмем...

Да кто ж будете?..

— Из Петербурга студенты...

Чего ж полуношничаете-то?..

— Ввела в номер, пропахший чем-то горько-соленым, сухим, острым как мочеви́на, с двухспальной кроватью и продраным красным диваном, из которого торчала рыжая заржавленная пружина, с клоками не то ваты, не то еще чего, казавшаяся чертовой головой.

Баба чиркнула спичкой, зажгла наплывший огарок, вставленный в какой-то черепок, и спросила:

— Надоть чего-нибудь?..

Никодим попросил свечку и воды.

Баба принесла воду, свечку, деловито оглядела своих посетителей и комнату и, вспомнив, баском пропела:

— Урыльник-то я и забыла... Принести, что ли?! Сейчас принесу!

Никодим начал кашлять, шумно стягивать пальто.

Как только баба ушла, Зина подбежала к Никодиму, — завитки ее расплелись, один упрямым кольцом упал на лоб и мохнатые глаза вспыхнули.

— А я думала, что вы как и все студенты, а вы ссыльный. Я хочу получше ваше лицо разглядеть... Знаете что, я спать не хочу и вам не дам, вы должны мне рассказать о себе. Все, все, все!..

Никодим удивленно смотрел на Зину и не знал, серьезно это говорится или девушка ненормальна.

— Моя фамилия Белопольская, имение наше — Белополье, мужики гречиху сеют, от ней и летом поля точно снежные. Знаете, как они сеют, — соберутся всем селом и в одном месте рассеют ее, на другой год на другую сторону дороги и так выходит, что всегда у дороги белое и гудёт, как метель, ночами. А меду у нас сколько бывает, приходите ко мне, я вас обязательно угощу гречишным медом, за это и мужиков наших дразнят — кашники, кашни объелись. Вы сами увидите все, когда к нам приедете!..

— Зачем же я к вам поеду?..

— Все мои знакомые обязательно должны у меня побыть, иначе я раззнакамливаюсь. А таких знакомых, как вы, у меня еще не было. Вы должны быть моим знакомым, я хочу этого.

Петровский начинал хмуриться и сердито бросал:

— Вы что же коллекцию собираете из своих знакомых?.. Так я вовсе не собираюсь быть в числе этой коллекции! Откуда вы взяли, что я ни с того, ни с сего должен на ваши гречишные поля приезжать смотреть.

Девушка неожиданно загорелась вся, лицо залилось краскою, она быстро и глубоко вздохнула, положила свои руки на плечи Никодиму почти у самой шеи, так что он даже почувствовал ее пальцы — холодные и сухие и быстро, быстро начала говорить:

— Я не хочу, чтобы вы были как все, не хочу, не хочу! На меня все обижаются за то, что я говорить не умею. А я что думаю, то каждому и говорю. У меня от этого и знакомых нет никого.

Никодим взял ее руки и бережно снял их с своих плеч и долго смотрел в ее мохнатые, матовые глаза, заплывавшие бесконечной грустью, от которой, казалось, хлынут градом крупные, черные слезы, как драгоценные камни.

Зина не прервала слов и только стала говорить тише и медленней:

— Но почему вы не хотите быть моим знакомым? У меня

всего один только, но такой противный, я его ужасно не люблю и никогда почти не пускаю к себе в комнату.

Никодим, чтобы успокоилась девушка, сказал ей:

— Хорошо, я буду вашим знакомым, — но какая вы странная, Зина!

На дырявом диване, целую ночь, вдвоем, — по коридору тяжелый храп, всхлипывающий и надрывистый, с перебоем и ночь без конца, оттого, что слова Никодима жуткие, как в тот день, когда открыл дверь в комнату Фенички

Сам не знал, почему захотелось рассказать все неизвестной девушке... Глаза ее — сумрак, а в сумраке при свече говорить легче. Колеблется желтоватый огонек, наплывают белые капли и колеблется в душе Никодима, — рассказывать ли о себе, стоит ли, может быть, из-за любопытства спрашивает она, а взглянет в глаза ей — печалью покрылись и печаль изнутри, глубокая — глаза чуткие, от желтого пламени свечи мигает отблеск в зрачках; девушка вздрагивает и шепотом:

Но ведь это же мука! Отчего вы не бежали оттуда, господи!

Вспомнил свою жизнь до Сибири, в ссылке и теперь, и показалось, что не жил еще, а все время мучился и не было у него самого главного в жизни — любви, такого человека, который бы безответно страдание его полюбил, с ним бы горел его жизнью, зажигал бы его в борьбе, может быть, от такого человека он ничего бы не хотел, кроме веры в него, в его идею и близости ему не нужно бы было, а лишь бы душу открыть, доверить себя и свою жизнь, каждую мысль досказать до конца. У Фенички вся жизнь ясная и простая, она знает, зачем живет — для радости, и радость у ней свободная, но она не может человека зажечь, а ему, именно, надо горения... Головой он давно все решил, там у него все ясно — высчитано до последнего, а вот всколыхнуть некому, а сам он устал, измучился и тот отдых, что Феничка давала ему — мучителен, от него человек не загорится борьбой, — не в спокойствии, не в законченной мысли черпать ему силу, а в мучении.

Говорил тихо, покачиваясь, — по временам, когда вспоминать тяжело было, вскидывал громадной рукой своей волосы.

Девушка молча сидела, охватив худенькими, почти девичьими, руками колени и смотрела в одну точку, и когда слова Никодима были мучительными, больными, сжимались плечи ее, вздрагивали. Под конец не выдержала, —

стремительно вскочила, взяла холодными пальцами его голову и быстро, быстро поцеловала в лоб его и сейчас же, точно падая, опустилась на диван, отвернулась от него и легла головой на ручку дивана, и плечи начали вздрагивать часто, часто.

Никодим хотел встать, что-то сказать, сделать, но она, не шевелясь, сказала ему, почти выкрикнула, плачущим голосом:

— Не трогайте меня, не трогайте.

Желтый колеблющийся свет шарил в темноте по стенам, желтым кружком маячил на потолке, вспыхивал на минуту, после того, как от фитиля скатывался стеарин, и снова становился тусклым. Никодим молча сидел на диване и все время ощущал на своем лбу поцелуй Зины — скупой, короткий, но такой горячий и острый, точно какая-то печать легла на душу, обожгла ее неожиданным. Мысли бежали к ней, к Зине, — какая она странная и порывистая, — вот такой человек душу отдаст, если она содрогнется в нем и раскроется...

Потом она обернулась и, боясь, что он захочет обнять ее или еще что-нибудь сделает, чтобы показать, что она этим неожиданным поцелуем стала близким ему человеком, Зина пугливо встала в угол дивана и, точно защищаясь от него, положила на груди крест-на-крест руки, так что тонкие, совсем тонкие пальцы ее лежали на плечах, вошли в них, потому что плечи она вобрала в себя пугливо, и они не перестали вздрагивать, пальцы на черном платье казались длинными, совсем тонкими и лежали они как-то по-детски беспомощно и легко, будто не прикасаясь к плечам. Глаза, все еще наполненные слезами, глубокими стали и такими печальными, что еще минута, одно мгновение и из них снова польются слезы. Каштановые темные волосы в крупных завитках отсвечивали темной потухшей бронзой и по ним все время пробегало колебание мигавшей свечи.

— Это я хотела своею душой прикоснуться к вам, и мне показалось, что это сделать можно только так, как я сделала... Правда ведь, Никодим?! Правда, милый?!

Глубоким вздохом ответ прозвучал:

— Правда, милая девушка, — правда!

— А меня все зовут девочкой... Я ведь до сих пор как девочка, и я жизни совсем-совсем не знаю... Она такая большая... Но хорошая и совсем не страшная... Мне только всегда больно, ужасно больно становится, что люди от ней

страдают, и когда я это почувствую, и всегда неожиданно это приходит ко мне, то у меня не хватает сил страдать вместе со всеми... мне вот кажется, что я должна своей жизнью выстрадать жизнь людей, а это так тяжело, милый... Теперь у меня близкий есть, самый близкий человек в мире. У меня еще одна такая минута была, но тогда я только заплакала. Тогда я еще девочкой была, совсем девочкой... Когда-нибудь я расскажу вам, теперь у меня сил нет и холодно мне, еще ни разу так не было холодно...

Никодим подал ей беличью шубку, теплую, мягкую, крытую черным сукном, бережно, чтобы не прикасаться к ней, накинул ей на плечи, она закуталась в нее и стала совсем маленькой, как ребенок, только большие черные глаза были огнями большой души.

Серые, точно вечерние, сумерки подернули окна и желтоватый, порой золотой огонек свечи начал таять.

Девушка задремала или, быть может, только казалось, что она дремлет, а на самом деле, вероятно, она переживала сегодняшней день и эту ночь, когда она в первый раз глубоко почувствовала человеческое страдание.

Никодим боялся пошевелиться, чтобы не побеспокоить ее, не прервать этой тихой дремоты и успокоения.

Все время у него была мысль, — какая она странная и хорошая!..

Девушка пошевелинулась, посмотрела большими глазами на Никодима и улыбнулась:

— А я думала, что вас нет, вы так тихо сидели...

— Вы спали?..

— Нет, я думала... О себе и о вас...

— Что?..

— Как это странно, что вдруг человек становится близким, родным... Только я этого понять не могу, а объяснить это еще труднее, это вот просто чувствуется.

Потом о чем-то подумала и сказала:

— Я хотела сперва не называть своей фамилии, — ну, зачем это нужно было, а потом, когда узнала, что вы были ссыльный, захотелось знакомой быть, а теперь, я — не потому, что вы ссыльный, вы для меня самый близкий, родной мой... Совсем родной... Как папа или мама... Они у меня умерли, как и у вас... С этого дня я большая стала... Вы не думайте, что я ребенок, я ведь высокая...

Никодим взглянул на нее и, действительно, она была

почти одного роста с ним. Казалась она девочкой, и это особенно умилило Петровского, потому что она была как девочка и не нужно относиться к ней, как к женщине, и даже мысль не придет об этом, а в сердце останутся только глаза и крупные завитки на лбу, около ушей, — там, где только растреплются волосы, там сейчас же появятся и бронзовые завитки, — вот они-то и останутся вместе с глазами ее в памяти.

В коридоре послышалось шлепанье ног, обутых на босу ногу во что-то похожее на опорки или мужские калоши.

Никодим вспомнил...

— Нам ехать надо... Но чем же мы будем платить?! У меня ни копейки нет.

Зина всплеснула руками и радостно, весело засмеялась...

У меня тоже, Никодим, ничего нет... Давайте останемся тут, а я напишу подруге, и она привезет нам... Дома у меня есть, в столе... А на марку у меня и сейчас найдется.

— Нет, Зина, нужно сдать деньги!.. Заплачу я из того, что у меня в кармане, — из собранных, а потом возвращу их...

— Ни за что, ни за что не хочу этого!.. Мы заедем ко мне, все равно вы должны знать, где я живу, вы должны ко мне придти, в эту субботу придти! Я по субботам всегда дома...

На станции тот же жандарм, — неуклюжий, толстый с большими усами и даже, кажется, подслеповатый, взглянул на них, — Зина удивленно посмотрела на него, — отвернулся, и видно было, как он улыбнулся, — длинные усы слегка дернулись и около глаза появилось сразу несколько прыгающих морщинок.

Зина всю дорогу до Петербурга весело болтала, точно это был только что познакомившийся человек, для которого сделался неожиданно интересен его малоразговорчивый собеседник.

VII.

Тот же угловой дом, неуклюжий, громадный, в шесть этажей, где жила Феничка, но входить к Зине со стороны Малого проспекта, — Никодим даже оглянулся, не увидит ли Гракина, почему-то не хотелось с ней встречаться, — не скрывать, не обманывать, а сохранить в тайне неожиданное, новое и необычайное в его жизни.

Зашел вместе с Зиной в квартиру...

Белопольская неожиданно обернулась, у самой двери...

— Ко мне, Никодим, нельзя!

— Почему, Зина?

— Нельзя, милый, может быть, это тоже странность... Но когда я кого-нибудь жду, то и комната тоже должна ожидать человека.

— Как так?

— Вокруг меня должно все жить — и люди, и вещи. Вещи ведь тоже живут, у них лицо человека, с которым они связаны. Я вам потом объясню... Потом. А сейчас нельзя в мою комнату. Я сейчас, подождите меня, одну минуту всего.

Вбежала в комнату, звякнул ключ, и сейчас же через минуту выбежала, испуганно глядя на Никодима, точно боясь, что он мог заглянуть в комнату и в ней может что-то случиться, что потом никогда, во всю жизнь не поправить.

И сейчас же начала говорить:

— Знаете, почему я не хотела пустить вас?.. Оттого, что я не ждала вас. Когда ждешь человека, непременно о нём думаешь, и твои думы особым налетом на вещах остаются, и вы не поверите, но они тоже начинают думать о том человеке. Сидишь, думаешь, ожидаешь его и невольно на вещи взглядываешь и вот чувствуешь, что не так они и стоят и лежат, не могут они 'принять ожидаемого человека в этом виде, и стоит переставить их как-то, и сразу они изменятся, и у них душа появится, своя, особенная, и тогда тоже будут вместе со мной человека ждать и поймут его и ему с ними легко будет, — по-особенному легко, и они никогда не изменятся к человеку, приятны будут ему, и человек этот снова будет среди них легко чувствовать. А я вас буду ждать, очень ждать, только никогда не приходите сами, лучше, если вам очень нужно будет видеть меня, напишите... Я хочу вас у себя видеть... Вы должны обязательно придти в эту субботу.

Вернулся Никодим к вечеру. Зина в комитете простилась с ним и заявила, что он должен идти с нею, и ушла, еще раз напомнив о том, что будет его в субботу ждать.

Феничка встретила его...

— Что с вами случилось?.. Я бесконечно ждала вас. Пока не стали официанты убирать столы, до тех пор ждала. Оказалось, что уже все поезда ушли... Хорошо еще, что извозчики были, — от одного провожатого удалось уехать.

— Нам в Бологом пришлось до утра ждать.

— Это все из-за этой сумасшедшей курсистки?

Ничего не сказал о Зине, боялся, что она своими чересчур сильными руками раздавит что-то хрупкое, что он так бережно хотел сохранить для себя, потому что это в первый раз в жизни необычайно поразило. Он не мог забыть ее глаз, молчаливо говорящих о таком таинственном и глубоком, — захотелось заглянуть в глубину эту и, может быть, и для себя, для своей жизни найти что-то целое, от чего можно будет начать строить свое новое, о чем он все время мечтал и там, в ссылке, и теперь, здесь. Феничка для него в эту минуту показалась чем-то законченным, цельным, все в ней обдуманно, пережито, и даже ее любовь, та, что еще мечталась, чтоб завершиться, перед его крестом, и она была только последним шагом, а теперь, когда она законченная — почувствовал, что в ней не почерпнуть ему силы для будущего.

Субботы ждал с нетерпением, хотел и ее сохранить в тайне. После его возвращения из Сибири по субботам они ходили всегда гулять, иногда просто бродили по городу, и Феничка привыкла к этому, и когда он сказал ей, что ему нужно встретиться с кем-то по делу, и что он не знает даже, сможет ли точно указать время своего возвращения, — Феничка удивленно взглянула на него...

— Разве ты начинаешь опять работать?..

— Да, начинаю, Феня.

— Ну, как хочешь, а я... тогда я буду писать дяде Кирюше.

Последнее время, когда Никодим жил в борисовой комнате, между ними произошло охлаждение. Иногда Никодим нерешительно оставался у Фени сам, она чувствовала зачем, улыбалась ему и оставляла, если на душе у ней было легко и ясно, а иногда просто ему говорила:

— Не обижайся, Никодим, сегодня бы мне плохо было с тобой...

И он молча уходил к себе.

Иногда она сама подходила к нему, становилась ласковой и от ней веяло особым теплом каким-то — зовущим и тоже ласковым, он научился чувствовать ее в такие минуты и оставался.

В этот вечер Феничка опять подошла к нему, но он, точно с ним произошло что, отказался, сказав ей, что очень устал.

Феничка подавила в себе проснувшуюся ласку и сказала спокойным голосом:

— Как хочешь...

До субботы избегал встречаться с Феничкой и субботы ждал с нетерпением.

Звала его к семи вечера.

Вышел из дому в пять и хотя нужно было завернуть за угол и войти в тот же дом с другой улицы, — себя ли обмануть или скрыть от Фенички, сам даже не знал почему, но прошел на Большой проспект, сел деловито в трамвай, доехал до Невского, прошел от Казанского собора до Николаевского вокзала, все время поглядывая на часы, между Литейным и Николаевским, взглянув на большие электрические часы (почему-то показалось, что без четверти семь), испугался, что опоздал, стал проверять свои — было всего без четверти шесть, потом долго рассматривал совершенно не интересовавшую программу биоскопа и, взглянув еще раз на те же часы, медленно пошел к вокзалу, остановился у неуклюжего памятника, вспомнив сочетания слов, относящихся к памятнику, — комод, бегемот, обор-мот, — рассмеялся, пропустил несколько трамваев и, наконец, сел на седьмой номер, — два зеленых огонька долго проталкивали себе дорогу по шумным улицам, пересекая с грохотом перекрестки, звякая беспрестанно обалдевшим звонком, обгоняя извозчиков и зло поблескивая своими глазами на урчащие автомобили, несшиеся без остановок под самым носом вагона, — Никодим на площадке стал и видел, как семерка спешит, — боялся опоздать и все время поглядывал на часы, хотел даже просить кондуктора ускорить ход, но, взглянув на его сосредоточенное лицо, решил, что такой человек знает, что делает и никогда не нарушит установленного порядка. И только когда вагон, наконец, вихляясь выскочил на Зеленину, точно действительно от этого поворота зависит его свобода движения и что он наконец-то вырвался из этой сутолоки — Никодим успокоился, — оказалось еще рано — двадцать минут нужно идти так, чтобы дернуть звонок или нажать кнопку, он еще не успел разглядеть звонка, дернуть звонок в условленный час — ровно в семь. Зашел за чем-то к Филиппову, хотел даже съесть пирожок с мясом, но, увидя толкотню у большого железного шкапа, откуда толстый пекарь в белом колпаке и фартуке доставал их не торопясь, решил, что не успеет, и вышел из магазина.

Свернул по Зелениной на Малый и чуть ли не с часами в руках ровно к семи подошел к тому дому, за углом которого он жил с Феничкой.

Постоял минуту еще перед дверью и нажал кнопку.

Выбежала сама Зина, — ждала его.

Мохнатые глаза засияли...

В черном платье опять показалась ему девочкой... Взяв ее руку в свою и ее рука исчезла в большой, широкой, только с одной стороны ее блеснули серебристой росой четыре маленьких ноготка, боялся пожать, причинить боль — и выпустил из своей. Вспомнил, что не только она, но комната ее и вещи должны были ждать его, и улыбнулся этой мысли.

Обстановка почти такая же, как у Фени, но письменный стол поставлен углом и за ним на высокой и узкой этажерке цветы, — вероятно, любимые, — пахнувшие увядающим запахом осени — бледно-желтые хризантемы с такими же завитками, как и волосы Зины. Такой же почти диван, обитый кожей, но цвет ее темно-каштановый, как волосы, — но он близко придвинут к печке, углом, как и у Фени. На другой стороне — против стола и тоже углом — шкаф, отполированный под орех... Узкая постель, как у девочки, вероятно, с одним тонким волосяным тюфяком, и в последнем углу — занавеска черная, а за нею, вероятно, корзина, умывальник... И вся продолговатая комната была яйцом — тихая от своей овальности. Между печкою и диваном низкий, круглый, едва возвышающийся от пола стол и около печки маленькая табуреточка для ног.

Не ожидал, что экспансивная девушка может жить в тихой овальной комнате, это даже поразило его — ничего законченного, ни одного угла, в котором всегда определенность и, главное, нет высокой постели, — от нее веет женщиной — удовлетворенной, здоровой, сильной, и потом этот низенький стол — такое неожиданное и ужасно наивное. И понял, что только в такой комнате может жить Зина.

На письменном столе почти пусто, должно быть все в ящиках, так же как в самой Зине все внутри, в глубине, а внешне ее — неожиданные хризантемы.

Зина не спросила, как все, — нравится вам у меня, а сказала:

— Вот вы и у меня.

На столе заметил стихи, — Иннокентия Анненского и Блока.

Быстро растопила печку, принесла чай, — в подстаканнике и для себя в чашке, достала яблоки, конфеты и печенье, все это поставила на низенький стол у печки, погасила электрическую лампу на письменном столе, быстро подбежала к огню, поправила дрова и села на скамейку.

— Вот теперь вы мой гость, садитесь сюда!

Подала ему такую же низкую скамейку.

Чай был густой, крепкий, душистый, — почти маслянистый... Пить его можно было только глотками, не торопясь, чтобы почувствовать его терпкий аромат.

— Скажите мне, Никодим, почему вас вернули оттуда?.. Я все время думала об этом, — забыла спросить в тот раз...

— Мне помог один инженер вернуться, фабрикант...

— Знаете что, я напишу ему письмо, всего только несколько слов, — скажите его фамилию...

Вопрос был неожиданный и особенно решение написать какое-то письмо неизвестному человеку, освободившему его из ссылки.

Дракин, инженер Дракин

— Кирилл Кириллович?.. Да?.. Окей!

А что?

— Я с ним знакома... Меня познакомила близкая ему женщина...

— Что это за человек?

— Он как из стали... Стальной какой-то, но она его очень любит... До безумия!..

— Вы ее знаете?..

— После смерти мамы, — папа мой раньше умер, — я у ней все время жила, а теперь только летом, в деревне у ней...

— А как же вы звали меня в Белополье?!

— Это рядом, совсем рядом, — там брат, но он мне чужой...

— Хороший человек этот инженер?.. Я его знал когда-то... Но это давно было, тогда я его ненавидел почти... Хороший он?..

— Его американцем зовут, а эта женщина говорит, что он русский, совсем русский, и будто бы таких нет в России, а должны быть, а этот -- единственный. Разве не права эта женщина, что он совсем русский, — неизвестного ему человека освободить от муки... Я напишу ему завтра же...

Про вас я не буду писать, а только — спасибо вам, большое спасибо. Зина. И больше ничего... Только четыре слова...

Загляделась на угли, задумалась.

— Как хорошо, что вы сегодня пришли ко мне...

Потом, точно боясь, что он прикоснется к ней или вдруг ее поцелует, — быстро вскочила и снова зажгла электричество. Перешла на диван, уселась в угол его с ногами и опять, как и у печки, исчезла, — огонь освещал только лицо и голову, а вся она — в черном, — в темноте не чувствовалась и теперь почти слилась, даже завитки было трудно различить, — лицо и глаза, — большие, черные, вспыхивающие, точно черный бриллиант в ее золотом перстеньке, — он его только сегодня заметил.

Села и замолчала...

Через несколько минут Никодим встал...

— Я пойду, Зина...

— Куда вы, куда?! Вот видите, я говорила вам, что у меня никого нет знакомых, оттого и нет, что я... Значит и вы не придете больше ко мне?..

— Нет, — я, Зина, приду!

— Только вы сообщите письмом...

Вышел и странное чувство охватило его, сразу не пошел домой, а всего надо было завернуть за угол, — пошел бродить по улицам, потом зашел в пивную, забрался в угол, сидел долго и все время думал, что Зина удивительно странная девушка, удивительно странная, и в комнате у нее, точно где-то в подземелье, глубоко и глухо, но хорошо, потому что нет обычного шума комнаты, освещенной безалаберно, неумело, так что лампа режет глаза, хозяйка не знает, что делать с гостем, суетится, шумит, смеется без причины, для того лишь, чтобы показать, что она необычайно довольна гостем и рада ему, от этого и комната становится неуютной, шумной, вещи плятятся на человека и не гость задевает их, а они стараются толкнуть его и показать, что они тоже шумны и веселы и, как хозяйка, очень довольны пребыванию среди них нового человека. В Зининой комнате в красноватом сумраке необычайно тихо, немного жутко, но когда долетает шум улицы, кажется, что где-то близко есть жизнь и она идет своим чередом, а здесь вот тихо и все прислушивается к тем людям, которые сейчас, среди вещей, точно вещи и вся комната прислушиваются к биению сердца одного и другого и стараются уловить их созвучия и дышать одним дыханием с людьми.

Кричащий граммофон оборвал мысли. Никодим вздохнул, — снова захотелось уйти в глубокую тишину Зининой комнаты и быть рядом с тихой девушкой, загорающейся необычным, но таким ярким светом, что от неожиданности даже и человека заливает горячая волна чего-то нового и не пережитого. Граммофон продолжал кричать, Никодим выпил залпом стакан пива, хотел уйти, но точно в голову что-то ударило и приковало к столу. Впервые промелькнула мысль, что он — на содержании у Фенички, и, быть может, для этого она и хлопотала об его освобождении. Сделалось гадко, противно, потянуло к пиву и снова побежала сверлящая мысль, что надо же, наконец, кончить это сожительство, и что он, действительно, на содержании у молодой женщины, может быть, и не плохой, но все-таки — на содержании: она его пускает к себе, только когда ей это хочется, иногда уступает ему, но всегда нехотя как-то, а это ужасно обижает, а вот, когда ей самой нужно его присутствие, она становится нежной, ласковой, но всегда требовательной, а это ужасно утомляет его, и не так утомляет, как унижает, и за это она платит за его комнату, он берет ее деньги на обеды и на расход и даже не считает их, и это она виновата, — затянула его своей близостью, и он не может начать работать, — собственно не из-за Фенички же он сюда приехал. Странно было одно только, что против нее не было озлоблений; почувствовал, что во всем он виноват, и это его слабость, от того, что в то время, когда он вернулся, у него не было еще физических сил начать работу и ему нужен был отдых и тишина, и он поддался близости когда-то любимой им женщины. Теперь ему только показалось, что когда-то любимой, потому что, может быть, встретив Зину, он нашел нового человека, нашел свою любовь. В этом он не хотел и сознаться себе, но чувствовал присутствие этой девушки в себе, а главное — все время ощущал ее поцелуй на лбу. И только теперь понял, почему она сегодня, когда он, прощаясь, сделал к ней шаг, она испуганно оглянулась кругом, точно искала защиты у своих вещей, вздрогнула как-то и сказала: «Нет, нет, не надо этого, Никодим. не надо!». Вероятно, она боялась, что он подойдет к ней и поцелует ее. Сейчас же вспомнились поцелуи Фенички, тяжелые и затягивающие, точно она из тела душу высасывала, и снова мелькнула мысль, сложившаяся уже в решение, — теперь это кончено, больше я не живу с ней, найду урок и уйду.

На утро ничего не ел, чтобы не показать сразу Феничке,

что разрывает с нею. Она стала спрашивать о вчерашнем вечере...

— О революционных делах никогда и никому не говорят, Феня...

— Мне тоже нельзя сказать?

— Никому.

По вечерам уходил из дому, бродил по городу, зашел как-то к Карпову, тот удивился немного, но потом подумал, что Никодим пришел по делу землячества и, вспомнив о Белопольской, землячке их, спросил:

— Нравится вам Белопольская, Зина?

В этот момент не думал о ней и даже не мог вспомнить, кто такая Зина Белопольская...

— Какая Зина?

— А та самая, с которой вы до Бологого ездили?

— Разве она землячка наша?!

— Конечно. Только она странная очень.

Односложно ответил, чтобы не выдать своего знакомства:

— Да, странная...

И даже прибавил зачем-то:

— Очень странная девушка.

— У нас про нее говорят, что она сумасшедшая и шальная...

Не хотел говорить о ней и сейчас же ушел, не зная, собственно, зачем заходил к Карпову.

Прощаясь, Карпов весело говорил:

— Хотите в гостях у ней побывать? Скоро она именинница, и мы собираемся, компанией, — понимаете, на именины к ней. Когда она была в Питере в первый год, она тогда еще дурей была, и как-то чуть ли не все землячество пригласила к себе... Пойдемте, colega! Забавно будет... Вам близко.

После разговора с Карповым целые дни мучился, как избавить Белопольскую от неожиданных гостей, и возмущался, что это, собственно, с целью над человеком поиздеваться, высмеять его странности. Представил Зину растерянной и подумал, что она непременно расплачется, — сперва, конечно, выгонит их, а, может быть, и на это силы не хватит, а только расплачется, но эти слезы будут пыткой ей, а главное, если она не удержится и при всех выплачет свое оскорбление. По вечерам бродил по улицам и подолгу около того дома, где за углом и сам жил,

останавливаясь у витрин и рассматривал москательный товар, думая о том, что наверху, всего в нескольких шагах живет Зина, и он не смеет войти к ней. А на другой стороне, давно уже, — неизвестный человек в котелке по следам Петровского. Углубленный в себя не замечал слежки, а следивший злился, что без толку гуляет за студентом, и студент этот, вероятно, ненормальный, потому что бродит по городу, ездит в трамвае и никуда не заходит, ни с кем не встречается; один раз сотрудник даже обрадовался, когда Петровский заходил к Карпову, и тот был под негласным, и решил даже, что, вероятно, Никодим очень умелый и осторожный, хочет запутать, до одурения довести его и что-то сделать очень важное. Следил, главным образом, вечером, когда Никодим уходил бродить по городу, чтобы только не быть с Феничкой. И сейчас, на противоположной стороне, наблюдал за ним, где жил, только с угловой стороны, очевидно, кого-то ждал, и, действительно, увидел, как подошла какая-то девушка с большими черными глазами, что-то сказала ему и вошла в тот же дом, — он даже решил, что она-то и есть тот человек, с которым так важно было тому свидание и из-за нее он кружил по городу, — обрадовался и записал в книжку, — свидание с неуклюжим (Карповым) и большеглазой (Зиною) и на следующий же день доложил начальству.

Зина издали заметила хмурившегося Никодима, нервно потиравшего руки, и подумала, что он ждет ее, хочет за чем-то встретиться, может быть, у него произошло что-то важное... Подошла к нему, почти подбежала, вскинула глаза.

— Никодим, вы меня ждете?

Петровский вздрогнул и обрадованно ответил:

— Да, Зина, жду, давно жду, несколько дней...

— Что, милый, случилось?

— Я знаю, что вы через неделю именинница, и я очень, очень хочу в этот день быть с вами.

Девушка растерялась, испуганно взглянула на Никодима и не знала, что ей ответить, боялась отказать и обидеть, — о нем ведь она теперь всегда думает, и чем больше, тем ближе он ей становится. Она прикоснулась к его душе, взяла ее, но свою отдать — это ужасно страшно, ведь это должно быть на всю жизнь, а она даже не знает, — готова ли к этому, хватит ли сил у ней пережить эту минуту.

Растерянно ответила ему:

— Я подумаю, Никодим, подумаю, можно ли это будет, и напишу вам. Обязательно напишу...

И сейчас же, не простившись, убежала от него.

Бродить уже больше не мог от усталости и голода, ведь он теперь почти ничего не ест, не хочет от Фенички брать и доживает в ее комнате последний месяц, а потом он уйдет от ней и больше не будет мучения.

Вернулся домой, хотел лечь — постучала Феничка, но в комнату не вошла, позвала к себе:

— Я сейчас только вернулась домой, Никодим, и неожиданно видела тебя с тою девушкой, — помнишь, с ней мы колос ржи продавали...

От неожиданных в упор слов все в нем упало, и беззвучно спросил:

— Видела?..

— Да, видела! Вот почему ты в последнее время чужой стал... В твою жизнь врваться я не хочу, но ты должен быть честным, как я, — если к тебе пришла новая жизнь — не мучайся и не мучай, нам будет от этого легче и сможем остаться друзьями.

Никодим молча сел на диван.

— Ты ведь знаешь, что я к жизни отношусь честно и не хочу, чтобы из-за меня страдал кто-нибудь, особенно ты, — ты ведь сейчас больше всего для меня и между нами должна быть правда. Только этого я и хочу. Что же ты молчишь?.. Скажи, что-нибудь, — только правду...

Тяжело было говорить, потому что почувствовал, что действительно к нему пришла новая жизнь — не заметил, как вошла в него и овладела, оттого и тяготился Феничкой, но сказать, раскрыть эту тайну свою — было жутко, — через силу начал:

Да, Феня, может быть, я ошибаюсь еще, но что-то после встречи с той девушкой произошло со мной...

— Ты нашел свою любовь, Никодим, и ты боишься ее... боишься в этом сознаться самому себе, она необычайна для тебя. Она ведь для каждого необычайна; когда и я нашла ее — мне тоже трудно было сознаться в этом. И тебя теперь тяготит моя близость... Да?..

— Я измучился... Даже показалось, — я правду скажу, потому что я виноват, очень виноват перед тобой, — мне показалось, что я на содержании у тебя...

— Никодим, и ты это мог подумать?..

— Поэтому и говорю правду, что подумал так про себя...

— И про меня?!

— И про тебя, Феня...

— Неужели ты думаешь, что я способна на эту гадость! Без влечения, без любви!.. С чужим человеком?.. Боже, какой ужас!.. Никодим...

— Это как-то само пришло... я про себя это думал, про себя только... И только с той минуты, когда во мне произошло что-то, ну, когда я ее встретил, — ее, Зину!.. Я говорил себе, — вот ты ничего еще не делаешь, а живешь на чужой счет, для тебя нанимают комнату, платят за нее, ты берешь деньги и у тебя не спрашивают зачем и сколько, а за это тебя любят...

— До какого ужаса ты дошел!..

Закрыла лицо, начала вздрагивать...

— Как ты обидел меня... За что?! За то, что я хотела быть для тебя самой близкой?! Хорошо, что ты сказал это, — все-таки будет легче и мне и тебе.

Никодим уткнулся в диван и шептал:

— Прости, Феня, прости, прости мне... Все, что ты ни потребуешь от меня, все исполню, откажусь от своей жизни, пожертвую ею для тебя, только прости, прости мне... Это само пришло, потому что я, когда ехал сюда, — я мучился, не знал даже, что, собственно, к тебе еду, ведь не к кому больше было... А теперь вот пришло... Я ведь только сейчас это почувствовал, только сию минуту...

И опять Феничка почувствовала в нем больного, измученного человека, и обида перешла в жалость. Слезы остановились, и голос снова зазвенел ясно. Села около него на диван...

— Ну, довольно, Никодим, — все прошло... Ты еще больной и большой ребенок, я тоже была такою же... То, что вошло в тебя — исцелит, у тебя тоже будет ясно и просто в жизни... Ты головой живешь, и любовь тебя будет питать, питать твою жизнь и силы... Но не обижай меня и живи, — они ведь не нужны мне, а у тебя все впереди... Видишь, как хорошо... Видишь?!

После этого Никодим успокоился и просиживал вечера с Фенею, — никогда еще не было с нею так просто и ясно. Говорил ей, виновато улыбаясь:

— Теперь мы друзья, Феня... По-настоящему...

Ждал с нетерпением именин Зины и главное письма от нее.

Но письма не дождался, — не зная, что делать, — идти или нет, и мучился, потому что боялся ее мучения, когда к ней ворвутся земляки... В день ее именин целый день

метался по городу и вечером не выдержал, пошел к ней, рассчитав, что неожиданные гости должны уже быть у нее...

Нажал кнопку..

Девушка растерянно оглянулась на своих гостей и выбежала...

Вслед донеслось:

— Гость на гость, хозяину радость!

Большие глаза с трудом слезы сдерживали, плечи вздрагивали и беспомощные руки дрожали...

Увидев Петровского, вскрикнула:

— Вы пришли, сами пришли?! Спасите меня, спасите от них... Только не ходите ко мне, я боюсь, что вы меня тоже мучить пришли.

— Нет, я не мучить пришел... Одевайтесь скорее, идемте...

Не взглянув ни на кого, вбежала в комнату, нырнула за черную занавеску в углу, там же надела шубку и шляпку...

— Зиночка, куда вы, куда?

И чтоб не задержали, — боялась и этого, хлопнула дверью, крикнув с отчаянием:

— Я сейчас, сейчас!..

Гости некоторое время продолжали галдеть, а потом кто-то сказал:

— Удрала от нас...

— Ждать будем!..

— Ну ее к черту, идемте домой...

Может быть и ждали бы, если бы одному не стало противно, что пришли издеваться над человеком, и почувствовал он это только тогда, когда сказал, что она удрала... За одним и все ушли, недовольные, что не удалось разыграть Зину.

Зина все время пряталась, жалась к Никодиму, он даже взял ее неумело под руку и вел ее, потому что она не выдержала и плакала. У Тучкова моста свернули на набережную, глухую и темную в этом месте, и пошли вдоль нее. Всю дорогу молчали. Никодим хотел одного, чтоб она успокоилась и боялся своими словами затронуть больное, только что пережитое.

— Я только хочу... Теперь их должно быть нету... Должно быть ушли...

Молча ходила с Никодимом и чувствовала его в себе. Как ребенок, прижалась к нему и изредка, успокоившись уже, взглядывала ему в лицо. У самого дома замедлила шаги, что-то решая, и вместе с ним вошла в подъезд — глухой,

темный. Оторвалась от него... Должно быть испугалась темноты и в темноте шепотом:

— Милый, только не ходите ко мне...

Ближе к ней подошел, почувствовав в этих словах и любовь и муку... Взял ее руки, потом почувствовал, как она вся подалась к нему и, должно быть, закрыла глаза и прошептала:

— Все равно я ваша теперь...

И в темноте, всего один раз, прикоснулся губами к ее губам, ответившим беспомощно-долго.

Потом слышал, как в темноте она побежала, спотыкаясь, по порожкам и еще засыпая боялся, что она могла упасть и разбиться.

Наутро за ним пришли, — следивший вместе с жандармами.

Улик не нашли и решили выслать на жительство в родной город, на сборы, под честное слово, что вернется, дали всего день, обязали явиться и по этапу отправить.

У Фенички легла печаль...

— За что, Никодим, за что?..

— За старое...

— Бедный, тебе тяжело будет!..

— Нет, Феня, теперь легко!

Инстинктом поняла значение этих слов, обрадовалась и радостно кончила:

— Поезжай, Никодим, к дяде Кирюше! К нему поезжай!..

Вспомнил, что и Зина ему говорила о дяде Кирюше...

— Да, теперь я к нему поеду.

Забегал к Зине, не застал дома, хозяйка нерешительно впустила его в ее комнату. Неподвижно просидел на диване, выйти на улицу не хотел, боялся, что арестуют. Зина вбежала, точно боясь, что что-то в присутствии Никодима может произойти в ее комнате, и остановилась, увидав его сумрачное лицо.

— Милый, что с вами случилось?! Что?!

— Меня высылают из Петербурга...

— Куда?..

— На родину, в родной город... Завтра меня отправят этапом, как арестанта.

— Как же так?! Как это случилось?.. За что?!

— За старое...

Просидел до полночи, — Зина все время жалась в угол дивана, точно боясь, что он потребует от нее невозможного,

и она не посмеет теперь ему отказать, по сейчас, когда вдруг свалилась такая тяжесть, даже поцелуй, кроме боли и тоски, ничего не оставит им...

— Зина, позвольте мне вам писать...

— Милый... пишите...

Сошла вниз, в подъезд...

— Мы увидимся, Никодим... Скоро увидимся... Я к вам приеду...

Тихо сказал ей:

— Я к инженеру Дракину...

И отзвуком — живым, радостным, точно, действительно, в этом было его спасение:

— К нему! Только к нему!..

О любви не было сказано, но она в каждом слове звучала, поэтому и поцелуев не нужно было...

VIII.

Осенние сумерки в Петербурге мутные, точно вот чья-то неприкаянная душа в тумане сыром мечется... И особенно эти сумерки тяжелы на окраине, — фонари зажигают поздно и не все — через один, и для чего они зажжены, никто не знает. Фабричные трубы уперлись в небо и грязным помелом нависшие тучи размазывают, и целый день моросит дождь, и дым тяжелеет, оседая на землю, во все щели, во все углы проникает он, в переулках дыхнуть от него невозможно, а дышать, хочешь не хочешь, дыши, глотай в сумерках дымную копоть, и не то что во все углы человеческого жилья она просачивается, но в поры утомленного тела. Оттого и люди на окраинах нелюдимы и сумрачны, — копоть изъела лицо, руки, и сплевывает ее человек с кровью, — харкает на панель сгустками и не дымом фабричным на улицах пахнет, а людским выпотом трудового дня. С работы идут — ежатся, запахивая на ходу пиджачки и бегом, именно вот бегом, спешат на чердаки, в подвалы, чтоб не показать убожества своего фонаря тусклым, под которым у пивных, у чайных красуются людские витрины убожества человеческого, — может быть, жена, либо дочь к фонарю вышла, а надо так пробежать мимо, чтобы ни тебя не видели, ни самого не заметили. Душно от заползающей копоти в подвале сидеть либо на чердаке коптящие трубы разглядывать, и пойдет человек тоску заливать в пиво или в трактир, и кажется ему, что на хмель не садится копоть. Выйдет на улицу после царского зелья и туман не чувствует, потому он в голове

бродит и фонарь-то ему покажется путеводной звездой. Подойдет к нему и встретит глаза зовущие и голодные, голод-то в них самый настоящий о куске хлеба насущного, а покажется спяну, что похотью человек голоден. В тумане потом не разберет — кто голоден, кто мучается?! А выходит, что оба голодают о жизни, один ее вином заливает, а другой притворяется, за деньги на хлеб насущный любовь разыгрывает и эту любовь заливает туман людской. А фонари на улицах зажжены вразброд, ближе к пивным, к трактирам, и выходит, что фонари-то к месту поставлены и знают, зачем зажжены они.

И сколько бы человек ни глядел на небо — не разглядеть ему ни одной звезды — помелом замазаны, а помело-то это сперва окунули в помои осенние, а потом уж и стали размазывать им по небу, и вместо звезд — отражаются в лужах фонари уличные; где лужа побольше, там и ярче звезда эта.

Вышел Калябин, подвыпивши, из трактира, подошел к фонарю по делу житейскому, встретил глаза жадные...

— Может возьмете?..

— Пошла, стерва, человек по делу вышел, а ты лезешь тут!

В сторону отошла, к трактирной двери. А он окончил свое дело, взглянул на небо, сплюнул и уставился в изображение фонаря, точно и в самом деле звезду свою отыскал вифлеемскую.

Остатки проживал Афанасий Калябин, — те самые, что инженер Дракин ему в благодарность подарил из рук Фенички.

Спровадил из-за ней студента Петровского в ссылку и ее потерял, — уехала. Сколько дней ходил подле ее квартиры — не встретит ли, и дворника спрашивал:

— Барышня-то живет ай нет?

— Какую тебе еще барышню, проваливай...

— Лучше скажи, а то...

— Уехала, что шляешься тут, — живо в полицию отведу...

— А что мне твоя полиция, — может, я сам от ней про нее разведать...

— Толком бы говорили, — уехала.

Не возвращаясь домой, зашел в ту же пивную, где с Никодимом встречался, и спустил трояк, — одному скучно сидеть, подсел к какому-то замухрышке с кокардою, к студентам подсесть боялся, — от Лесснера выгнали,

а запутался из-за Никодима с Хлюпиным, отправил его — и след потерял своего пути. Сколько по трактирам бродил, пока не нашел таких людей, что за правду стоят, — может быть, и правды бы не потерял этой, если бы не помutilа его любовь; понадеялся на себя, что добьется он через студента Феничку, и его не пожалел, из-за этого и проданся в жандармском, — не деньги нужны были, а Феничка... Забрали студента, и путь исчез к звезде вифлеемской, и правду он потерял свою, — отвернулись от него, как от прокаженного. И сегодня студенты между собой шептались:

— Рыжий тут...

— Предатель... предал товарища...

Пошептались, допили пиво и разбрелись по одному...

А ему теперь все равно, — без правды все спуталось, а главное потерял, может быть, навсегда звезду вифлеемскую...

IX.

За полночь Афонька к сестрам пришел, долго барабанил у двери, пока не вышла старшая, — испуганная, в одной ночной рубашке; сразу дверь не открыла, взглянула в щелку, не узнала голос Калябина, потом долго возилась, очевидно, дрожащими руками отстегивая цепочку.

— Заспались там, отвори, Анютка!

— Да кто ж это, кто?

— Не узнала дружка милого?!

Обрадованная зашептала испуганно:

— Афоничка, — ты милый, — не ждали мы...

Целую неделю Афонька гулял с сестрами, не выходя никуда из комнаты, пропивая последние деньги.

Когда деньги его пришли к концу, послал старшую в лавочку за бумагою и за конвертом и огрызком карандаша сел писать Дракину:

«Всепочтеннейший инженер Дракин! Крайняя нужда жизненная и всякие немощи привели меня в уныние и расстроили скудные финансы мои. А потому, как вы изволили заметить, что услуга моя неоцененна была, смею прибегнуть к вам с покорнейшей просьбою ссудить меня средствами к жизни, сколько на то будет ваше благорасположение к покорному слуге вашему Афанасию Калябину».

Написал коротко и послал старшую сестру опустить в ящик.

— Не горюй, девки! Брешет, придет денег. Я ему такое дельце обмозговал.

Через несколько дней пришел перевод на триста рублей, и две недели еще Афонька гулял с сестрами, а потом, когда не осталось денег, и писать Калябин не хотел, заявил презрительно:

— Все они сволочи, скареды!.. Ни черта, проживем и без их милости!

Старшая варила обед, убирала комнату, обмывала и обчищала, а Женька нежилась в постели с Афонькою. Вечером уходили втроем... Сестры под ручку, а Калябин шел сзади в нескольких шагах и наблюдал. Деньги все отдавались Афоньке, — у него не было жадности к ним — делили поровну, оставляя на еду и про запас даже на те дни, когда не работали.

Подруги завидовали...

— А у нас до копейки обирают, на шпильки и то крадешь у самой себя!

Новые приятели подсмеивались над Афонькою за глаза:

— Под башмаком у Женьки, веревочки из него вьет.

По-прежнему угрюмый ходил Афонька, только взгляд стал чужой, озлобленный, на гостей сестер как на врагов смотрел, — глубоко где-то жило замурованным искание по кабакам у людей правды, за которую в Сибирь ссылают. А когда брали сестер подвыпившие студенты, сжимал кулаки, думая, что эти, должно быть, не попадут в Сибирь, этим бояться нечего, — небось барышням говорят о свободе, а сами человека за тройк покупают, да еще торгуются.

— А вам нечего с ними валандаться, кончили и гуляй.

Невский жил, волновался, гудел автомобилями и трамваями. До Афоньки в осенние сумерки долетали слова, — австрийцы, сербы, болгары, турки, война, будет война, и он с этой толпою двигался днем, слушал ее, прислушивался и ненавидел. По целым часам простаивал у витрины, читая экстренные телеграммы, а потом с ненавидящими приятелями спорил в кафе:

— Будет война, должна быть...

— А тебе что, рыжий?!

— Может быть, и я бы пошел...

— Воевать?!

— Лучше чем на углу стоять. Там бы либо конец, либо человеком бы стал опять. Разве герои-то из другой глины лепятся?! Может, и я буду герой.

И вместо прозвища Рыжий Калябина стали звать — Герой.

По целым дням пропадать начал, — по улицам бродит, в кабаки пьяные, в пивные... На окраину попал — вспомнилась жизнь заводская, когда работал у Лесснера, и опять потянуло кувалду попробовать. Затосковал без работы, и к человеку потянуло его, живое слово услышать. В пивной заговаривал, подсаживаясь к рабочим.

Прислушивался к спорящим...

Обсуждали убийство в Сараеве и ожидали — что дальше. На заводах глухо нарастали волнения, — жара, душный каменный город угнетали Афоньку, и целый бы день просидел в пивной.

С завистью смотрел на прокопченные руки чужих людей и даже боялся, если бы, действительно, пришлось молот взять ему — не выдержал бы — отвык, корявые руки его побелели, и даже на одном пальце блестел золотой перстенок с рубином — подарок Женьки. Последние дни и собачья преданность подруги его надоела, — слащавую, приторную показала. Начал пропивать все, что было в запасе и что приносила Женька, иногда от беспричинной злости метался по комнате и даже бил девушку. Та не плакала, не жаловалась, а только спрашивала:

— За что ты меня, за что, Афоничка?!

— Опротивела, вот что! Каждого встречного уколошить хочется, так вот просто подойти и пырнуть ножом, может для того, чтоб поглядеть только, как у того потечет жижа красная...

И, думая все об одном и том же, иногда, лежа подле ластящейся Женьки, спрашивал ее, рассуждая:

— Ну, скажи ты мне, отчего это люди ходят вот по улицам, по пивным, и никто из них никогда не задумается — сколько кругом этой гадости! Не мне говорить, — я что, я, может, последний человек на земле, сам пресмыкаюсь, сам ползаю, и за пазухой нож держу, нож у меня всегда наготове — отточенный, подойди только кто, так полсану — брюхо до горла раскрою. Вот бы так и передушил своими руками! Может, вольнее дышать будет... И всюду эта гадость гнездится — одни в дворцах, а наш брат по норам, и кишат эти черви, живому человеку вздохнуть тяжко. Уйдешь и целый бы день не глядел на жизнь эту... А еще о правде говорят, какая там правда! Где она видана?.. Передушить бы, — может, тогда и увидели правду, опомнились бы!..

От жары одурел Петербург, люди не знали, что и придумать — позабавиться чем. Только на окраинах глухое разрасталось, — Афонька прислушивался, приглядывался и думал, что если это не от студентов начнется, а снизу полыхнет, тогда, может быть, и правда можно будет передуть червей. Нож в кармане сжимал радостно. И когда хмурые люди из подвалов на жаркое солнце хлынули — с толпою слился, вспомнил тот год, когда собою защитил звезду вифлеемскую, спас ее жизнь и теперь думал, — только ее, одну ее пощажу, а то всех червей передую, чтоб дышать было легче. Один раз даже показалось, что метеором мелькнула его звезда. Погнался даже за нею и не догнал, в суতোлке потерял. Увидел ее — глаза вспыхнули, человеческое блеснуло в них, мучительное.

И в один миг закопошились люди, но по-иному, неожиданно — над бурлящими головами трехцветные флаги метнулись, — война с немцами! Заблестели штыки, провожаемые радостно и с ненавистью к врагу, точно кто-то озлобился, что червям помешали копошиться в грязи. Город наполнился снова, как и зимою, вернулись в логовища, только лица уходивших на фронт были хмурыми, и в городе из деревень мужики появились — широкие, бородатые, рослые и тоже хмурые и молчаливые под штыками блестящими. На одну минуту толпа вспыхнула, одного возгласа было довольно, — громи немцев, — и зазвенели витрины Невского, а оттуда — к собору угрюмому и к такому же дому с конями вздыбленными. Над толпою повисло дыхание — червей раздавить, очиститься, и это дыхание повело к коням.

Афонька в толпе опьянел, размахивая громадными руками своими, кричал: — бей, бей, громи немцев, души! — и первый на крыше у коней очутился, сам даже не знал, откуда у него появился молот — вспомнил силу свою, — молотом по ногам бронзовым и дружно с другими свалил на площадь, к ногам толпы охнувшей, и остался один на том месте, где кони были — громадный, без кепки, — рыжие волосы на солнце огнем горели, и поднятая рука махала еще вниз, толпе, и когда толпа охнула, содрогнувшись разлетающимся звоном бронзы, Афонька вместе с нею вскрикнул и замахал рукою.

В полиции уже говорил:

— И я там был, — сбрасывал коней этих, сбрасывал...

И, неожиданно для себя, хотя внутри уже созрело как накипевшее:

— Воевать хочу, сам, добровольно, — добровольцем пойду!

Пристав улыбнулся снисходительно:

— В казармы отправить...

Не простившись с Женькою, подумал, что теперь не пропадет она, остался в казармах, с утра бегал с винтовкой по Марсову полю, надрываясь кричал ура-а-а, бросаясь на невиданного врага, припадая к земле, перебегал вместе с цепью людей, валяясь в пыли, и ни одной мысли не появлялось, точно все небо очистилось. Вечером засыпал как убитый, с наслаждением ел солдатский хлеб, кашу, загребая деревянною ложкой из общей чашки...

— Афанасий, да ты и нам не оставишь, потише ты!

— А вы поспевай, теперь кто поспеет вовремя, тот и цел будет, — на то война!

В эшелоне горланили песни; вспоминая монастырский лес и пение, выскакивал на остановках за кипятком и, обжигаясь, пил чай из манерки. И во всем была только одна жажда — убивать, нутро жизни вывернуть.

Жутко было только в первый раз, когда увидел перед собою человека с винтовкой-ножом, на одно мгновение остановился, сжимая приклад рукою, и когда в эту же секунду внутри подсказало, — убивай или он тебя, — и в эту же секунду со всей силою отбил винтовкой удар и всадил штык глубоко, так что почувствовал, как он скользнул по кости, должно быть по спинному позвонку, и торчком из спины вылез, — рванул и винтовку к себе и нутро вывернул, на мушке даже кусок не то кишки, не то мяса остался. С такою силою ударил штыком, что фонтаном кровь брызнула на него, ободрав лицо, грудь и руки. И дальше шел — громадный, рыжий, с перебитым носом, залитый кровью. Когда ударял штыком, то, чтобы выдернуть легче его, слегка влево поворачивал и рвал с мясом, с кишками.

Ротный после атаки увидал Афоньку, стирающего с лица кровь и пот — спросил коротко:

— Сколько, Калябин, уложил немцев?

— Одного помню, ваше благородие, остальных не считал, некогда было.

А когда люди зарылись в землю, и целые месяцы нужно было сидеть в окопе, не вылезая из него, — Калябину

скучно стало, одно и было развлечение — подкарауливать немцев. Утром, когда подвозят котлы с чаем и раздают хлеб, когда и у немцев заняты тем же, и ни одна шальная пуля не пролетит и не ухнет где сзади и спереди, и не визжат снаряды, — Афонька становился у бруствера и караулил немца, шедшего ходом в ровки, и когда тот садился, раскуривая спокойно свою длинную трубку, Афонька так же спокойно целился в него и ссаживал, человек смешно падал... садился как-то, потом опрокидывался на спину, и ноги смешно взбрыкивали над убитым, трубка от падения взлетала над головой и падала ему, вероятно, на грудь.

В окопе любители следили за Афонькою и за немцем, и когда тот падал, подымался хохот, ротный или взводный офицер криво улыбался и ничего не говорил.

— А теперь и чайку можно попить, так, что ли, ребята?

— Ловко ты его, в самую мякоть...

С этого начинался день, и вслед за первым выстрелом Афоньки, оттуда сквозь проволоку начинали шлепаться пули, чмокая в землю и разрываясь в ней, с визгом проносились над головами и падали где-то позади.

Солдаты смеялись:

— Рассердил ты их, Афанасий!

— Теперь пускай их, не жалко...

— Ишь ты ведь как, — ну да ладно, дай чаю напьемся.

В обед опять затихало, и снова подъезжали дымящиеся кухни, солдаты гремели котелками, и в окопе пахло капустой, щами, и звякали ложки. Иногда немцы не давали подвозить кухню, и солдаты злились, начиналась перестрелка, ухати, взрывая землю и забрасывая ею людей, снаряды.

Подходил ротный...

— Это из-за тебя, Калябин! Опять ты утром стрелял...

Афонька хмурился, потом губы вздрагивали улыбкой, и он добродушно заявлял:

— Ваше благородие, без этого ж скучно, хоть с фронта уходи, ей-богу, разве ж это война, в земле, точно черви, роемся, первое время куда веселей было — штыком куда веселей работать, а то и носа показать никуда нельзя.

Ротный улыбался и уходил, бросая коротко:

— Ладно, Калябин, только чтоб больше не стрелять по утрам.

— Слушаюсь.

Но через несколько дней не выдерживал и снова начинал

по утрам караулить немцев, пока снова во время обеда немцы не давали подвезти кухню.

От скуки вызывался в ночной караул, в заставы и как зверь настороженно караулил неприятельскую разведку, прислушиваясь к каждому шороху. Припадал к земле, слушал, и когда каким-то чутьем улавливал кошачьи шаги — полз навстречу и никогда не стрелял, а бросался сзади, пропуская вперед разведчика, — тот, оглушенный прикладом, беззвучно падал. Афонька спокойно снимал патроны, за спину одевал винтовку убитого и снова прислушивался, дожидая утренней смены, и, возвращаясь, приносил ротному свои трофеи.

— Молодец, Калябин!

— Рад стараться, ваше благородие!

— Как это ты ухитряешься, — каждый раз...

— Подкараулишь его и не пикнет, — а только и это, ваше благородие, скучно, разве мудрено убивать исподволь, — в открытую вот, а сам знаю, что не полагается шуму делать...

— Но ты и не знаешь, Калябин, что ты герой...

— Какое же это геройство людей убивать... Тут нужно просто все нутро вывернуть...

— Кому?! Немцу?!

— Нет, ваше благородие...

— А кому же?..

— Тому, кто кашу заварил эту. Верно, что врагов убивать нужно, а только разве это враги наши, наши-то враги там...

И взмахивал рукой за свои окопы.

Ротный прекращал разговор, хмурился и говорил строго:

— Ты что это?! Смотри у меня! Наши враги немцы, а там родина.

Хмурился и Афонька и, поблескивая исподлобья глазами, безразличным, дубовым голосом коротко отвечал по уставу:

— Так точно, ваше благородие!

— Понял теперь?

— Так точно!

Потом ротный снова становился простым и мягким, — любил Афоньку за храбрость и говорил спокойно:

— Ты лучше, Калябин, живыми их приводи из дозора.

— Слушаюсь, ваше благородие, — попробую.

В первые дни войны вылилась сила буйная — убивать врага, то есть собственно не врага даже, а людей, все

равно кто бы ни был, лишь бы пролилась эта сила кровью. Ненавидел тех, кто из него сделал врага, хотел передавить червей, чтобы самому вздохнуть, а пошел убивать неизвестно кого и за что, только потому, что звериная волна захлестывала каждого, кто в первые дни пришел на фронт, — убивать защищаясь, зная, что так же и его убивать будут, если он руки опустит. Но когда люди зарылись в окопы, и начались будни, — почувствовал, что убивал не тех, кого думал и кого хотел. И это не сразу пришло. Один раз после атаки, когда их полк прорвал в одном месте окопы врага, а перед тем сам атаковал под пулеметным огнем, оставив сотни скошенных трупов — пришлось отступить и снова пройти обратно расстояние между немецкими и своими окопами, вот тут-то только он и заметил, что убитые и русские и немцы лежат вперемежку в самых неожиданных позах, некоторые чуть не обнявшись, и у всех было выражение смертного ужаса в последнюю минуту дыхания — прожгла мысль Афоньку, что ведь собственно русский, обнявший немца в последнюю минуту жизни, мог бы его обнять и раньше, и незачем им было стрелять друг в друга, а стоило только выйти спокойно за окопы, на это самое поле, и подать руку друг другу, так вот просто и подать, и он даже представил себе улыбку какого-нибудь немца из Восточной Пруссии и скуластое, заросшее лицо костромского мужика, и даже ему послышалось, как они скажут при этом друг другу, — **mein Freund, kamrad**, — он эти слова слышал уже, когда отводил пленного немца, — представив, как будет говорить костромской «дядя», — он всех пожилых солдат называл дядями, — товарищи мы, и воюем. И сейчас же пришел вопрос, сам собою, собственно кто же воюет, кому нужны эти смерти, и ответил себе, — черви, те самые, что людей покупают на Невском и мужчин и женщин, этим война нужна, а костромскому «дяде» дали в руки винтовку, одурманили ненавистью и послали убивать людей, которым, вероятно, то же самое говорили их черви. С этого момента настала скука: скучно было убивать без цели, скучно было слушать визг пуль и завывание гранат и шрапнелей, скучно было в окопе сидеть и стрелять, и он даже не стрелял потом, когда был большой огонь и когда костромские «дяди» усиленно щелкали затворами, вставляя обоймы. А когда ротный сказал ему, что лучше живыми приводить из заставы врагов — бросил по утрам подкарауливать на ровках немцев.

Товарищи смеялись ему:

— Что ж ты, Афанасий, забыл, что ли?

— Ну их к чертям, скучно...

— Чего скучно?

— Надоело мне это, — ни к чему, вот что.

Вечером в тот же день, укладываясь спать в сыром окопе, осторожно говорил соседу, чтоб не донес кто ротному, потому что после того он и ротного и взводного офицера возненавидел, решив, что их хоть, может быть, тоже заставили воевать, а только они могли бы ведь отказаться, а не отказываются, значит такие же черви, что копошились по вечерам на Невском и в студенческом и в штатском.

Солдат спрашивал:

— Почему ж воевать-то не нужно, когда они прут на нас?!

— Их посылают, так же как и нас, — ведь так?!

— Это правильно, что посылают, разве сам бы пошел убивать?!

— Так видишь! А кто посылает?!

— Знамо кто, — царь ихний...

— И наш тож, а мы как бараны идем...

— А как же?

— Да ты выйди к нему, да скажи, — чего нам, товарищ, убивать друг друга, разве ж мы чего не поделили; послали нас убивать, а мы и не знаем, за что собственно. Надо б было спросить сперва, для какого интереса мы убивать должны, когда это нам не нужно, — может, тогда и убивать незачем будет, может, тогда вместе убивать будем, только не друг друга, а тех, кому нужна смерть наша... Передушить они хотят нас — вот что.

— Кто они?

— Да они!

И махнул рукой за свой окоп.

— Господа, значит, помещики.

— А то, кто ж?

— А ведь правильно это выходит у тебя, Калябин! Куда ж бы мне додуматься до этого!.. А ты сам-то из каких будешь?

— Рабочим был, молотобойцем, — на заводе долбил молотком...

— То-то...

— Ты только не говори смотри про наш разговор... Понял?..

— Знамо, что не поглядят за это. Спи уж...

Потом костромской «дядя» помолчал и, засыпая уже, спросил:

— Сам, что ли, дошел до этого, либо сказал тебе кто?..

— Сам... правду искал... Эх, кабы ты знал... Ну, да теперь ничего, опять человеком стал... Сам дошел до нее, до правды этой.

И когда Афоньке скучно стало воевать, пришло озлобление против посылавших воевать, пришло само и не сразу. Ходил по-прежнему в дозор и по-прежнему прислушивался, по-мужицки, к земле и к ночи, но уже не крался за врагом, чтобы убить, а старался встретить его лицом к лицу, чтобы захватить живым, но когда это не удавалось, так как ни он, ни немец не знал, что друг у друга на уме, и ощетикивался штыком, Афонька снова караулил и подкрадывался сзади, хватая за руки, и приводил в окоп, заставляя даже пленного самому нести винтовку свою.

Один раз — на австрийском фронте, где словаки и чехи подымали руки и кричали — братш, братш, — он привел пленного чеха, сумрачный, молчаливый, сдал ротному.

— Молодец, Калябин!

Афонька ничего не ответил, сверкнул только исподлобья глазами.

— Ты что же не отвечаешь?

— Болен...

Ротный с минуту помолчал, что-то подумал и потом сказал:

— На три дня отпуск тебе даю, в тыл, подлечись.

К Георгию представляю тебя.

— Не нужно мне...

— Что не нужно?

— Ни отпуска вашего, ни Георгия...

— Ты что, с ума сошел или болен?!

— Никак нет!

— Ступай, полечись, — что у нас сегодня?..

Кто-то ответил:

— Среда, ваше благородие, пятнадцатое...

— Так вот в субботу ступай, один раз еще сходишь в дозор, одного еще приведешь и ступай, — хочешь домой отпущу, — поезжай домой.

Ничего не ответил Афонька.

В пятницу снова пошел в дозор, а перед утром, когда еле заметная полоска света подернула небо, смена встретила его, ползущего — из ноги сочилась кровь, и он, стиснув

зубы, волочил ее по земле, оставляя тонкую струйку крови.

Х.

Не знал, куда и зачем ведут, в полузабытьи и в бреду открывал глаза, обводя ими сперва вагон, потом небольшую светлую палату госпиталя, — бред был тяжелый, долгий. Издалека откуда-то долетало в сознание и превращалось в слова бреда: лицо женщины или девушки, неизвестно какой, незабываемой в памяти и исчезнувшей в представлении. Все время казалось ему, что на него со всех сторон ползут черви, будто они наполнили окоп — большие, жирные, толстые и лоснящиеся, точно они вымазаны салом или еще чем-то похожим на пот — едкий и тошнотный, от которого кружилась голова, и наступал сон или дремота. Черви эти ползли оттуда, из-за окопа, но не со стороны неприятеля, и нужно было давить их, он пробовал наступать на них грязным сырым сапогом, но они выскользывали из-под ноги, и на них налипала какая-то слизистая грязь, тогда он с озверением набрасывался на них с винтовкой, колол штыком, из них брызгала жидкость, похожая по цвету на кровь, но вонючая и противная, такая же склизкая, как и черви, потом он бил их прикладом, разрывая на куски, но куски эти подползали один к другому, срастались, и уже образовывался один громадный, копошащийся в окопе бесконечными двигающимися коленами какой-то гад, он обвинял ему ногу, вздувался, давил, и руки, уставшие от непрерывной борьбы, роняли винтовку, он падал на дно окопа и старался выкарабкаться туда, откуда заползали черви, — потное лицо сочилось кровью от попавших на него брызг раздавленных червей, и он начинал кричать, призывая кого-то на помощь:

— Давите, давите червей!.. Передушить их! Гады они! Душите их, душите червей!..

Когда чья-то белая косынка наклонялась над ним и поправляла ему затекшую голову, на минуту он встречал чьи-то спокойные ласковые глаза и сейчас же начинал говорить новое...

— Звезда идет, идет звезда вифлеемская... Тише вы, тише... Звезда идет.

И один раз, когда он бредил, и над ним снова склонилась косынка белая, и блеснули глаза, он вздрогнул, на один момент, взглянул и в сознании ясно пронеслось —

Феничка, и он вскрикнул, снова закрыв глаза:

— Феничка!

Придя в сознание, он почувствовал тупую боль в ноге, хотел пошевелить ею и сейчас же вскрикнул и застонал. Подошла сестра и почти незнакомым голосом сказала ему:

— Вам нельзя двигаться! Лежите смирно.

Потом она начала поправлять лубок.

Афонька все время, пока она возилась с ногою, пристально вглядывался в ее профиль, и когда память вернула ему образ Гракиной, он чуть не вскрикнул, — но от волнения голос осекся, и он тихо спросил ее:

— Фекла Тимофеевна, это вы?

Она молча кивнула головой.

Ее присутствие дало ему силы говорить, — несколько минут он разговаривал с ней, а потом от слабости впал в забытие.

— Судьба, значит!

Феничка тихо ответила, посмотрев на спящих:

— Да, Калябин, судьба.

— Всю жизнь ее ждал, судьбу свою, опять она привела меня к вам.

— Для того, чтобы спасти вас от смерти, вот для чего.

— Как спасти?..

— Лежите молча, а главное не смейте двигаться!

Поправив ногу, она не ушла, села на край постели.

— Вы меня тоже спасли, а теперь судьба и мне вам отплатить тем же...

Потом она встала и хотела уйти, и у него появился какой-то беспричинный страх, что если она сейчас уйдет от него, то он никогда уже ее не увидит больше, он снова ей крикнул:

— Фекла Тимофеевна!

— Что вам, Калябин?

— Пить хочу...

Она отошла к столу, налила из графина в стакан воды и поднесла ему. Он собственно и воду просил, чтоб задержать ее еще хоть на одну минуту, и когда коснулся своими пальцами ее руки — улыбнулся счастливый, что она вернулась, еще не ушла, и даже промелькнуло, что, очевидно, он ее будет видеть.

Феничка взяла обратно стакан и, уходя, кивнув головой, сказала:

— Не шевелитесь, это для вас главное, Калябин, — спите теперь...

И действительно, он сейчас же заснул, — это был первый спокойный и крепкий сон, когда во сне и телу начинает возвращаться жизнь, и оно успокаивается, чтобы снова вбирать в себя силу.

Как и всегда, Афонька был молчалив, угрюмо смотрел по сторонам и от боли морщил лицо, отчего оно становилось еще уродливей и страшней — перебитый нос морщился, на лбу появлялись резкие морщины, отросшие рыжие волосы смотались от лежания паклей и нависали на лоб. Целый день он лежал спокойно, но как только приходила на дежурство Феничка, он все время пытался заглянуть на нее, шевелил ногой и стонал от боли. Гракина подходила на стон, поправляла ногу, — быть может, для этого он шевелил ею, чтобы вызвать в себе острую и нестерпимую боль, лишь бы близко около себя увидеть Феничку, почувствовать ее прикосновение, ради этого он мог все что угодно перенести, лишь бы встретить ее глаза и тихую, спокойную улыбку. Ночью, в дежурство Фени, когда все уже спали, он симулировал свою боль лишь для того, чтобы Гракина подошла к нему. Она садилась на край постели в ногах и успокаивала его.

Раньше, когда она металась, ждала любви, приходила к Никодиму, у ней был невыразимый страх, доходивший до ужаса при встрече и при воспоминании о рыжем монахе, преследующем ее и здесь в Петербурге, погубившем, как ей казалось, тогда Никодима; она чувствовала, что это сделано было из-за нее, Никодим ей сказал это, возвратившись из ссылки. Но теперь, когда она иная стала, переродилась любовью и приняла жизнь спокойно и радостно, и особенно во время войны, — она ведь тоже видела страдания и смерть людей, — это спокойствие стало особенно ясным. Она была женщиной, первое время даже не выдержала голода и жила с Никодимом, но потом и это прошло, и стало еще ясней. Она не убивала в себе женщину, не старалась заглушить в себе жажду, но утоляла ее работой. Война застала ее на практике, она сама пожелала этого и осталась на лето в Петербурге в клинике, а когда хлынули первые поезда с искалеченными людьми, — осталась сестрой.

Когда привезли Калябина, она даже не обратила на это особенного внимания и только один раз, когда все знали, у него вот-вот начнется заражение крови, она просидела над ним всю ночь и, перечитывая над ним табличку, вспомнила его фамилию, и у ней ожило прошлое, но

прошлое это было за матовым стеклом жизни — у ней она новая, и она сама иная теперь — примиренная. Эта ночь над Калябиным спасла его жизнь и ногу.

Последние дни ей все время хотелось спросить его — правда ли, что он предал Никодима и зачем это нужно было ему, она чувствовала зачем, но захотела сама услышать, чтобы и это темное место стало ясным, осмысленным.

Не выдержал сам Афонька...

Целый день мучился тем, что хотел спросить ее, где Никодим и что с ним, точно его мучило это, и вечером, когда все уснули, и Феничка села у стола отдохнуть — застонал. Она подошла, поправила ногу и села на край постели.

Спросил глухим шепотом:

— Фекла Тимофеевна?!

— Что, Калябин?..

Она всех называла по фамилии, как и все сестры.

— Где теперь Никодим Александрович?..

Феничка вздрогнула, брови слегка сдвинулись на минуту и снова разошлись...

— Был у дяди на фабрике...

— Вернули, значит, его?..

— Вернули...

Минуту длилось молчание. Афонька снова спросил:

— А теперь где он, — не знаете?!

— В военном училище — призван...

Проснулась своя мысль...

— Зачем он пошел, лучше б ему не ходить туда...

— Призван...

И опять замолчали. Потом Афонька пошевелинулся и застонал...

— Лежите смирно!..

Эти слова ее, ничего не значащие, и дали ему возможность сказать самое главное...

— Фекла Тимофеевна, ведь это я его предал тогда, я...

Как эхо изнутри донеслось:

— Зачем вы, Калябин, сделали это?..

— Неужто вы не знаете этого?!

Феничка испугалась, почувствовала, что предположение ее оправдалось, а он не мог уже остановиться...

— Кабы не вы, ничего бы не было, из-за этого и я было потерял свою жизнь... И тогда знал, что ничего не сделаю

этим, а вот не мог, не выдержал. У меня-то ведь в мысли было совсем другое, правды хотел я, искал ее, тогда может она для меня в вас была, правда-то эта, а вот встретился человек, ведь я у него хотел расспросить и узнать эту правду, целый месяц искал его по пивным, а правда-то эта в вас была, я и тогда думал — через него и к вам ближе стану и правда эта откроется мне из-за этого. Разве ж не свела нас судьба? Помните в январе-то! По смерть не забуду этого.

— Чего не забудете?!

— Да поцелуя вашего, всю жизнь его чувствую, может через него и я не дошел до точки, а ведь ходил по краю бездны искушения человеческого, аки тать в ноши, а он-то и хранил меня на путях странствия, точно вот звезда вифлеемская, а звезда-то эта вы были, ее свет направлял меня... Повидать бы его...

— Кого?..

— Петровского... Бываете у него?

— Нет. Редко...

— Может, зашел бы ко мне?..

— Зачем?

— Ему тоже нужно сказать мне... несколько слов... ведь мы-то с ним одного поля ягодки...

Медленно срасталась нога, и когда Афонька первый раз встал на костыли при помощи Фенички, переступив несколько шагов, он обрадовался как ребенок.

— Фекла Тимофеевна, неужто я буду ходить?..

— Теперь будете.

— И на улицу пустите? Ведь вот я в Петербурге, а что делается — ничего не знаю... мне бы только на людей глянуть...

— Зачем?..

— Сразу б узнал, только б глянуть, а может уж близко это...

— Что близко?

— Ну, это самое, за что Никодим Александрович...

Не дала досказать ему, а вечером, когда все спали, подошла сама и сказала:

— Смотрите, Калябин, услышит кто-нибудь из сестер — плохо вам будет.

— А что. Донесут, что ли?..

— Донесут...

— Пускай доносят, теперь мне бояться нечего, теперь я другой. А червей этих передуть нужно...

— Каких червей?..

— Да вот что по городу ползают, кровь у человека высасывают. Вы думаете, за то мы воевали, чтоб им легче было душить людей?!

Говорил тихо, неслышным шепотом. Феничка удивленно смотрела на него, слегка наклонившись, чтоб яснее слышать его слова.

— Кто это сказал вам?..

— Что червей-то давить нужно, — сам я дошел до этого. Додумался на войне, в окопах. Мне бы, Фекла Тимофеевна, разок бы хоть взглянуть на людей, сразу бы вот, по чутью, узнал. А то ходишь по коридору на костылях и свет-то в окне — во двор, а улица тут глухая, ни разу и не был тут, а может забыл... Мне бы разок взглянуть!..

— Теперь скоро поправитесь...

И когда днем дежурная сестра в первый раз вместе с другими вывела погулять по городу, сразу вздохнул в себя дымную копоть окраины и жадно стал вглядываться в стоящие очереди за мукой, хлебом, сахаром.

Спросил у сестры:

— Сестрица, отчего это люди толпятся?..

— В очереди — за сахаром, за мукой...

— Чего же это такое?..

— Не хватает, — все для вас теперь отдано, а населению не хватает.

Всматривался в хмурые, бледные и утомленные лица рабочих, возвращающихся и идущих на смену. Ранняя осень сырая была, пасмурная... С сентября начались дожди и туманы и с пяти часов вечера зажигались на улицах тусклые фонари и в этих гнетущих сумерках звонки трамваев и жирные покрякивания автомобилей были жуткими, точно одни выкрикивали озлобленно — хле-ба, хле-ба, хле-ба, а другие хрипели — нет, нет, нет, не будет. Длинные очереди-хвосты у булочных с бесконечным ожиданием хлеба и взмахи электрических зигзагов на вывесках кино, пожирающие толпу в огненном вестибюле, — офицеры, господа в штатском и дамы — в косынках и без косынок — и с кошелками в платках и простоволосые, утомленные и худые, смотрящие слепыми глазами рабов на шум города...

В другой раз сестра предложила сводить после обеда в музей, — дежурила Феничка.

Калябин старался идти с нею рядом.

— Фекла Тимофеевна, зачем нам в музей?

— Как зачем, пусть развлекутся, посмотрят картины, может быть, многим никогда не придется увидеть...

— Лучше бы нас поводили по городу, тут тоже музей, пускай бы солдаты на него глянули.

Не поняла Афоньку, и пообещала после музея показать город.

Около одной из очередей у булочных Филиппова Феничка решила на свой счет угостить чем-нибудь раненых. Стеклянная дверь с другой стороны магазина взмахнула зеркальным стеклом, впустив группу солдат и сестру. Афонька впился глазами в ту часть кондитерской, где за столиками подле пьющих лениво кофе навалены были в изящных небольших корзинках сдобные булки и в вазах пирожные, пирожки.

— Фекла Тимофеевна, как же это так, — люди за хлебом стоят, а тут пирожки, плюшки, ватрушки... Сахару нет, а конфет навалено? Как же это так?..

Феничка удивленно взглянула на него, потом подумала, что, действительно, он прав, и сообразила, что он говорит что-то жуткое, и волнуемое при остальных солдатах, чего нельзя было говорить и — согласно распоряжению — доносить.

Когда убили Распутина, Афонька сказал Феничке:

— Ну, Фекла Тимофеевна, теперь скоро...

Поняла, но все-таки просила:

— Что скоро?..

— Главного червя задушили, — вот что!

А в февральские дни Калябин бродил по городу один, упиваясь словами ораторов и толпы, но когда говорили о войне — выкрикивал:

— Когда же конец будет этому?..

В лазарете по вечерам около него собирались раненые и слушали его, повторявшего свой им рассказ о том, как он сам дошел до того, что нельзя убивать таких же солдат, как и сами они, а когда весной доползли смутные слухи о том, что солдаты выходят за проволоку брататься с немцами, говорил раненым:

— Я еще когда передумал это, товарищи, так и вышло — нужно было только одному немцу и русскому друг другу руку подать и никакой не нужно войны будет, тогда другое начнется...

— Что, Калябин?..

— А то, что начнем мы вместе и наших и ихних червей давить, а то еще лучше — собрать их в одну кучу, да пустить их друг против друга, коли им нужна эта война, пускай сами себе перегрызут глотку, а мы посмотрим тогда — станут они воевать либо нет, а нам за них свою кровь проливать нечего.

— Правильно рассудил, товарищ!

— Пущай сами себе перегрызут глотку...

— Мы должны что сделать, — в землю воткнуть штыки!

Сестры и медицинский персонал ходили испуганные, звонили прислать эмиссара повлиять на солдат. Приезжал прапорщик эмиссар, вероятно, студент, но сердца слушавших увещевания оставались глухи, исподлобья у солдат вспыхивали недобрые огоньки и их отсветом омрачался госпиталь и Петроград.

Афонька, прихрамывая, тащился утром в комитет лазарета, рыжие его вихры весело разлетались в стороны, а глаза были упорны силою и настойчивостью.

Феничка старалась пройти мимо него, — он сам остановил ее один раз и сказал, глядя в упор:

— Дождался я, Фекла Тимофеевна, своего времени, — теперь мое время...

Она испуганно подалась к стене...

— Теперь взошла моя звезда и в Вифлеем приведет...

Глаза ее широко раскрылись...

Афонька кончил:

— Только вам, Фекла Тимофеевна, со мною бояться нечего, потому что вы-то и есть эта звезда и Вифлеем с нами, — революция, значит, — а бояться вам нечего!..

XI.

С утра трещали две машинистки, шелкали костяшками конторские счеты, и бухгалтер не раз уже подбегал к столу инженера Дракина с бланками и счетами. Половина одиннадцатого замолкали машинки и счеты и все начинали усиленно жевать принесенные завтраки, запивая чаем. Кирилл Кириллович также собрался к себе наверх...

Дверь нерешительно открылась, в том же старом студенческом поношенном пальто и фуражке вошел Петровский, угрюмо оглядывая контору.

Какой-то служащий спросил:

— Вам кого?..

— Мне нужно видеть инженера Дракина.

Бритое сухое лицо с трубкой быстро обернулось к Петровскому, и инженер сделал несколько шагов навстречу Никодиму, оглядывая его быстрым до неуловимости взглядом. Потом Дракин коротко пожал руку...

— Я — Никодим Александрович Петровский...

— Очень рад, идемте наверх, — у нас перерыв, будем завтракать.

И, не спрашивая малознакомого человека, желает ли он или нет, — Кирилл Кириллович сделал движение рукой, пропуская в дверь Никодима.

Кирилл Кириллович ввел Петровского в кабинет...

— Садитесь, я принесу прибор... Вы пьете?

— Спасибо, я не хочу есть...

— Человек должен беречь свою машину, иначе она будет слишком рано непригодна к работе, у меня заведено — десять минут завтрак, в десять на фабрике, в одиннадцать в конторе, — затрата времени вознаграждается большей интенсивностью труда после короткого перерыва.

Через минуту вернулся, наложил на тарелку гарниру, кусок жареного мяса, налил вина...

— Я — виски с содовой! Сперва позавтракаем, потом — о деле.

Ел быстро, — короткими движениями отрезал мясо, жевал, потом запил все содовой с виски, выбил трубку и закурил, молча ожидая, когда Никодим окончит завтрак.

— Сзади вас на столе папиросы, — курите! После завтрака я люблю посидеть несколько минут и помечтать.

Петровский удивленно взглянул на Дракина.

— Почему это так удивило вас?! Именно помечтать, — о будущем. Вам покажется странным, но я с удовольствием перечитываю иногда утопии, — в них душа разума...

Затянулся густым клубом дыма, в глазах промелькнула какая-то мысль, — стальные, серые, почти всегда холодные глаза — подернулись теплом мысли и сейчас же потухли.

Взглянул на часы, снял телефонную трубку...

— Алло, через десять минут буду в конторе.

И обратился, слегка наклонившись, к Петровскому:

— Вы хотите работать у меня на фабрике?..

— Меня выслали из Петербурга...

— За что?

— Не знаю. Вероятно, за старое, я теперь не принимал участия в партийной работе.

— Это все равно. Будете у меня на фабрике... сто рублей в месяц, — потом — увидим...

Никодим вскочил, потом сел и начал волноваться:

— Но ведь я социалист...

— Знаю. Я, может быть, тоже.

— Нет, — мы враги, и вы, — это ведь насмешка же, — нанимаете меня, или, быть может, хотите купить?!

— Задаром я ни от кого ничего не беру, я не эксплуататор...

— Но ведь я буду, — я говорю это открыто вам, — вести революционную пропаганду среди ваших же рабочих.

— Бессмысленного бунта я не признаю и для меня революция — перестройка, но не разрушение. Конечно, революций нет без разрушения, но и в этом разрушении старого должно быть с первого же момента строительство. Об этом мы говорить будем после, — а теперь — вы принимаете мое предложение и остаетесь на фабрике культурным работником в чайной, — это собственно миниатюрный народный дом, но чтобы не пугать начальство — это только чайная, хозяева там — рабочие. Ваша задача — одухотворить организацию труда и производства, слить это в одно — организм должен дышать и мыслить, иначе, действительно, у нас когда-нибудь слишком много будет бессмысленных разрушений, — в какую идею вы облечете эту задачу, это безразлично — она не будет противоречить ни мне, ни вам. А теперь мне пора. Оставайтесь здесь и решите! Обедаете у меня! Если останется время после вашего решения — в вашем распоряжении моя библиотека, можете посмотреть ее, она вам понадобится.

Никодим с удивлением смотрел на инженера, на каждое его слово у него возникали возражения и вопросы, но говорить, спорить некогда было — Дракин бросал коротко фразы и, кончив, не простившись ушел.

В конторе Кирилл Кириллович на ходу сказал:

— Никодим Александрович Петровский, на культурную работу, сто, квартира и стол.

Служащий быстро записал на блокноте, потом внес его в книгу личного состава.

Петровский не знал, что решит, и прежде всего начал просматривать книги, — бесконечные ряды по специальности на русском и иностранных языках, каталоги, проспекты, отчеты... И верхний ряд, — поразило даже, — Бем-Баверк, Каутский, Маркс в подлинниках и в переводе...

Он даже подумал:

— «Во всеоружии, — да, с такими бороться труднее».

Вот эта-то мысль и решила его работу на фабрике Дракина, только он почувствовал, что для него эта борьба еще непосильна, что ему нужно еще подготовиться и тоже быть во всеоружии. В первые годы студенчества до ссылки он работал в партии как чернорабочий, выполняя ее поручения, читать было некогда, — в ссылке трудно было достать книги и приходилось их прятать и самому прятаться. У него была одна только своя мысль о дисциплине в организации, а теперь — захотелось борьбы и работы, и он решая остаться у Дракина, dokonчил вслух свою мысль:

— Но с таким нужно и интересно бороться, — останусь...

До обеда читал, выписывал нужные для прочтения книги и, стоя на плотной лестнице, бережно вынимал их и ставил обратно в том же порядке. За этим застал его Дракин.

— Значит, вы остаетесь?..

— Да, остаюсь...

— Идемте обедать... За обедом условимся о технике.

Обедали в столовой, — все было на столе, никто не подавал, не менял посуды, не прислуживал. Дракин сам налил себе суп и передал половник Петровскому, — наливайте, — потом отставил тарелку, на мелкую наложил второе и опять сказал, — вы сами, — вместо сладкого съел яблоко и запил водой.

Теперь говорить будем. Стол и квартира мои. При бане есть две комнаты, они будут ваши, завтра вам приготовят их. Обедать и ужинать будем вместе, — я один, а когда Феня придет, она нам мешать не будет. В это время будем говорить о работе.

Тон еще был деловой, сухой, но когда Дракин перешел к своей идее труда — глаза оживились, послышались образы и даже краски почувствовались, у Никодима только мелькнуло, что, действительно, инженер слишком необычен для капиталиста, и если это не утонченная эксплуатация, то удивительно близкое к социализму.

Петровский регулярно, как часовой механизм, приходил к обеду и ужину, регулярно работал у себя над книгами и в чайной, устраивая, с помощью местных учителей гимназии, лекции, вечера, концерты, и предложил организовать гимнастическое общество. Но также регулярно он начал вести и политическую работу, — появились бро-

шюрки, книги и начались в перерыве беседы. Дракин обо всем знал и на все смотрел спокойно. Петровский был буквально поражен тем, что однажды инженер дал ему поручение отправить деньги в эмиграцию за границу.

— Вы поддерживаете социалистов?!

— Да. Что же тут странного? Не один я поддерживаю. Наше правительство тормозит развитие производства, не дает нам развернуться, и мы должны делать то, что делаю я. Я знаю, к чему я иду.

За все время Петровский один раз написал Зине и Феничке и содержание писем было почти одинаково, — работа его завлекла, приходилось и самому учиться и некогда было думать о личной жизни.

Писал коротко:

«Милая Зина, действительно, инженер удивительный человек. Сейчас я захвачен работой. Если бы вы были со мной! Многого я в нем не понимаю еще, но мне кажется, что он необычный человек... Но если он... даже думать не хочется!.. Буду рад каждой строчке от вас...»

Феня ответила:

«Видишь, Никодим, я говорила тебе, что дядя Кирюша особенный. Весною увидимся...»

От Зины письмо было в несколько слов:

«Милый, о вас я всегда помню. Мы увидимся с вами. Только пишите мне много, много. Зина».

Больше всего он ждал от Зины письма, — узкий длинный конверт, плотный, слегка шершавый и такая же бумага с ровными краями обрадовали его.

После обеда он всегда заходил в чайную, — повидаться, поговорить, организовать...

Ожидал один за столиком у окна, разглядывая почерк Зины, — нервный, неровный, обрывистый, иногда даже скачущий вверх, но тугой, с сильным нажимом, — вероятно, перо было с тупым концом и буквы были черные, как глаза, и мохнатые.

Испуганно взглянул на подошедшего человека...

— Разрешите, молодой человек, к вам за столик... Ваше появление у господина инженера столь неожиданно-с, что вызвало во мне особый интерес... Частный поверенный Лосев, Иван Матвеевич...

— Редактор этой газеты?!

— Совершенно-с верно изволили угадать... Редактор э т о й-с газеты... Изволите-с читать ее?..

— Нет, таких газет я не читаю!..

Сказал и отвернулся, снова начал разглядывать почерк, стараясь вдохнуть какой-то неуловимый запах бумаги и конверта, точно в этом должны быть частица Зины, ее душа, ее взгляд, ее прикосновение...

Лосев не замолкал...

— Письмецо-с изволили получить?! Должно быть деловое или так личное-с?..

— Чего вы ко мне пристали?

— Особенное имел намерение познакомиться с вами, Никодим Александрович, так кажется ваше имя-отчество?! Уж очень любопытное-с явление в современной жизни ваш патрон, — не находите-с этого?! Не понимаю я одного-с, как может человек под собою самим-с, под собственным благополучием и благоденствием подрывать основы-с этого благополучия?

— Как так?

— Вот эти самые трепачи его и прикончат и фабрика-с полетит, этак вот...

Он сделал неопределенное движение рукой...

— ...верх тормашками-с... Вы, кажется, изволите служить у него?.. По просвещению масс... Просвещаете-с!.. В административном-с порядке-с...

— Как в административном порядке?

— Насколько известно мне, вы человек, так сказать, политический... Ну, конечно-с, больной человек, ведь это тоже-с болезнь века — устои российского самодержавия подрывать, подкапываться, в открытую, так сказать, силы воли не хватает у вас с патроном, так изволите-с просвещением заниматься. Ну, вам, так сказать, это занятие по душе-с, изволите быть из простого звания-с, а вот вашего патрона я не понимаю-с, никак не могу-с понять, загадочный человек, сам, так сказать, революцию готовит кавардак-с, а денежки-с изволит отправлять за границу...

— Как за границу?

— Очень даже-с обыкновенно, в Англию-с... Должно быть, особые на то виды имеет-с, предвиденье событий... Я, мол, революцию с удовольствием готов... а денежки-с за границей целей будут-с... Понимаете тут какая политика, тонкая-с политика, а так мол, и социализм готов проповедовать и даже вот не гнушаюсь, потому что собственно-с, не боюсь, может быть презираю доморощенных социалистов и на службу беру к себе, знаете,

Никодим Александрович, так сказать, приручаю-с, тут изволите ли видеть тонкая политика-с, заграничная-с...

Петровский на Лосева смотрел сначала с презрением, потом с удивлением и, наконец, с каким-то немym ужасом и отвращением.

— Откуда вы все это знаете?

— Такая, видите ли-с, обязанность наша всеведущая и всевидящая, именно-с всеведущая-с... Для этой газетки-с собираю, так сказать материалец, для пользы отечества-с и престола. Ведь у вас ни отечества-с, ни престола-с — идеи-с одни, идеи, и они-то и губят молодежь нашу, а у Лосева-с сердце-с обливается кровью за молодежь нашу. Лосевы-с терзаются этим, мучаются и молятся-с о спасении погибающих и только бы душу спасти человеческую от вертепа антихриста. И к вам, Никодим Александрович, исключительно из-за этого-с подошел... Разве не пострадали в своем изгнании, там, далеко и мало ли там страдает таких же, а страдание это ничем не окупается, может, оно и не кончено, а разве хватит силы у человека всю свою жизнь страдать? Знаю, знаю, что мы, — молодежь наша, — на страдание-то всегда готовы, — мы-то вот страдать будем, мучиться, а господа инженеры-с и под ручку-с будут с нами гулять, а как что-либо, за границу укатят — потому предвиденье-с у нас непомерное-с, а денежки-то — спокойно себе лежат в Англии-с и там, так сказать, ждут прибытия нашего в случае какого-то несчастного-с происшествия-с, а либо, — если другой поворот выйдет, — мы их, так сказать, преподнесем китам на идеи-с — и тут ведь предвидение, а молодежи-то страдание-с... А вот не осмелюсь сказать только вам, Никодим Александрович...

— Что, говорите?!

— А наша с вами дорожка-с российская и спасение в отечестве-с, мать нам она — не мачеха, мы только боимся ее — мать-то строгая, ей от деток своих не идейки-с нужны, не прекрасные словеса-с, а дело-с, а мы говорим только и считаем, что дело делаем, а вы бы могли-с дело делать, полезное-с дело для отечества и для престола-с, не удивляйтесь, что для престола, престол-то вершина отечества, помыслы наши в нем слиты-с, чаяния наши и престол — это отечество наше, для отечества вы бы могли трудиться — оно призывает вас, вы только не слышите, ваткой мяконькой заткнули вам уши господа инженеры-с...

и не ваткой одной и не уши одни-с, а и глотку-с... Влили в нее отраву вам заграничную...

Только после этих слов Петровский опомнился...

— Нет, Лосев, вашим словам никто не поверит, у вас они ядовитые...

— Хе-хе-хе-с!.. Шутник, вы, Никодим Александрович... А я было надеялся... Вот как надеялся, — эх, молодежь, молодежь... Как идейки-то нас обвораживают, а может быть, и не идейки одни... Молчу-с, Никодим Александрович, молчу, — тут уж дело сердечное...

Все время Лосев шарил по лицу Никодима, наблюдая его выражение и переводил на письмо, может быть, и прочитал даже несколько слов и наверное даже прочитал, иначе бы не сказал про обворожение, у него даже мелькнула мысль, что идеи Петровского вроде капитала его, а племянница родная инженера Дракина самая суть, и даже успокоился, решив, что как только кончится дело браком, о ребенке он тоже знал, так и идеи исчезнут, и человек переменится, присосавшись к деньгам и к делу, и тогда, может быть, и еще раз можно будет поговорить с Петровским.

Лосев даже подчеркнул:

— Письмецо-то вы не потеряйте свое, от барышни ведь, — красавица она у вас и кудесница...

И сейчас же, не ожидая слов Петровского, встал, прижал свой портфель к груди и заторопился, и слова его стали торопливые, захлебывающиеся:

— Извините-с, Никодим Александрович, оторвал вас от размышления-с и созерцания-с, улетучиваюсь, улетучиваясь, дорогой... простите...

Как-то нырнул, засеменял ногами, и исчез в двери.

Никодим встал, взглянул — темные круги пошли перед глазами пятнами, в уме пронеслось:

— Ну и гадина, раздавить бы его, — и то противно!

Неприятно только резануло то, что Кирилл Кириллович отправляет деньги в Англию, и то, быть может, эта мысль возникла только потому, что слова Лосева минутами действовали как яд, разъедая душу сомнением.

Сзади к нему подошел трепальщик Игнат...

— Что, Никодим Александрович, навел туману на вас Лосев?

— Действительно, какой-то туман...

— Всюду он ползает, этот гад. Вынюхивает, подслушивает, мы его и то не раз собирались — того... ну, да он еще попадетс нам...

ХИ.

Летом, в жару, пришла к Никодиму Зина, застала его за книгой в тех комнатах, что были при бане; проводил ее служащий из конторы.

Постучала в дверь — вышел Петровский, обрадовался и удивился.

— Вы думали, я не приду?.. Я вам писала — о вас я всегда помню...

Села около стола, взглянула на книги...

— Учусь, Зина, все время учусь...

Черные мохнатые глаза были печальны, смотрели, с укором на Никодима, но были тихие, ласковые.

Посидела всего минутку и сейчас же встала.

— Куда вы?..

— Я на минутку к вам, милый, — только чтоб вы знали, что я о вас всегда помню и думаю...

Подала руку, такую же детскую, маленькую...

Не нашлось слов задержать, попросить остаться у него еще немного, — внутри было тоже большое чувство, которым он, в сущности, не думая даже о нем, жил, потому что каждый день, перед тем, как садиться работать, раскрывал письмо и вглядывался в черные мохнатые буквы, потом снова вкладывал их в конверт и прятал письмо. Он только чувствовал ее; он ей рассказал свою жизнь — о ней же не знал ничего, боялся расспросами затронуть, может быть, очень болезненное и сокровенное. Раньше, когда мучил Феничку прошлым — не возникало и мысли этой, а теперь — не приходило даже в голову спросить Зину. Сказал только ей:

— Зачем вы уходите?

— Отчего вы мне не писали, милый? Мне нужно много, много от вас и о вас. Вы думаете, что я не мучилась, ожидая писем?!

Опять помолчала...

— Я, милый, не умею говорить о себе и писать тоже, но вы должны... иначе я не смогу жить... ведь у меня теперь никого, даже знакомых нет... один вы...

Никодим молча смотрел на ее руки, — на одном пальце было кольцо — черный камень, как ее глаза, то вспыхивал, то погасал, — Зина заметила это.. Взглянула на Никодима, отняла руки и стала снимать кольцо.

— Возьмите его, с ним вы больше обо мне помнить будете...

Отдала, еще раз быстро-быстро взглянула на Никодима и ушла, — не успел даже одеть на мизинец кольцо.

Возвращаться пришлось опять через контору. Кирилл Кириллович преградил Зине путь:

— Вы одни?..

— Нет.

— С Верою Алексеевной?

— С нею...

Потом Зина вдруг чего-то испугалась и начала говорить быстро и торопливо:

— Мы на минутку приехали, всего на минутку и должны возвратиться сегодня же...

— Хорошо. Задерживать я вас не буду. Мы тоже на минутку поднимемся наверх, — я хочу проводить вас.

Зина опять замолкла и казалась совершенно беспомощной.

Дракин заставил Зину сесть за стол и завтракать, она молча, опустив голову, сидела, ожидая, когда поест инженер, и к еде не прикоснулась.

Вошла Феня... За нею выбежал мальчик — сын, следом вошла какая-то женщина и увела ребенка.

Кирилл Кириллович оживился:

— Феня, знакомься...

Взглянув друг на друга, узнали...

— Я, дядя Кирюша, знакома с Зиной, мы вместе колос ржи продавали...

Дракин что-то вспомнил и вышел в кабинет.

— Алло, послать наверх студента Петровского, подать автомобиль...

Вошел Никодим, одну минуту длилось молчание, начала Феня, обратившись на ты к Петровскому:

— Никодим, садись завтракать с нами.

Потом обратилась к Зине:

— Вот мы и опять втроем, как и в тот день, — помните, Зина?!

Дракин прервал тревожное состояние:

— Едемте, Зинаида Николаевна!

Зина встала, смятенно взглянула на Никодима и, ни с кем не простившись, сбегала по лестнице.

Феня подошла к Никодиму...

— Скажи, что произошло? Она так на тебя взглянула!..

Глухо ответил ей:

— Я теперь навсегда ее потерял.

— Это кольцо от нее?..

— Да.

— Я не виновата ни в чем, Никодим, — скажи, что нужно сделать, — я готова на все.

— Надо ей написать, — все, все, я сам напишу ей всю правду.

До вечера просидел за письмом, хотел объяснить, что если они и на ты, то это только старая дружба, потому что он давно еще был ее репетитором и даже, быть может, был немного влюблен в нее, но потом это прошло, а когда он был в ссылке, она кого-то любила, и ребенок не его вовсе, он даже не знает чей. Правда, она помогла через дядю Кирюшу (через Кирилла Кирилловича, инженера Дракин-его освобождению и возвращению, и что между ними никогда не было никакой близости. О любви своей писал, что Зину любит до отчаяния, и если бы она не ответила ему на это письмо, он считал бы, что вся его жизнь потеряна. Письмо было сбивчивое, длинное, с бесконечными повторениями, и в каждой фразе было отчаяние.

Дракин довез Зину до губернаторского дома, оставил ее в автомобиле и зашел к Костицыной.

— Вера Алексеевна, я вам Зину привез...

— Как привезли?! Откуда?! Разве она у вас была?!

— Нет, у студента Петровского...

Что за девчонка! Она целую неделю ко мне приставала, что ей обязательно нужно, всего на одну минутку поехать в город. Спрашиваю зачем, — нужно, очень нужно поехать... А теперь будет мучиться и меня изводить — зачем я согласилась поехать...

— Нужно поправить как-нибудь это дело. Я, кажется, допустил большую оплошность. Понимаете, я ее задержал, не хотел отпустить без завтрака, хотел познакомить с Фенею и вызвал Петровского, и, кажется, что-то произошло нехорошее. Феня, мне кажется, больше чем друг Петровскому, или, быть может, была им, а я это совершенно упустил из виду, — понимаете, я в эту минуту думал только о вас...

— Ах, девчонка, девчонка!.. Едемте, довезите меня...

Долгое время ехали молча. Дракин сидел за рулем, сзади Костицына с Зиной; Вера Алексеевна следила за растерянной, даже скорее какой-то потерянной Зиной, заметила, что у нее нет кольца, и, коснувшись руки ее, тихо спросила:

— А где, Зина, кольцо, — отдала?! За этим и в город нужно было тебе?!

Зина заплакала.

— О счастья и о любви, милая девочка, никогда не плачут.

Кирилл Кириллович остался у Костицыной до утра.

Через день Зина получила письмо, заперлась в комнате, перечитывая его без конца, плакала.

Никодим сперва ждал ответа, не дождавшись, написал снова, а потом, когда и на второе не получил ответа, начал писать каждый день, — писал каждую мысль, все, что делал, и в каждом письме о себе — всю свою жизнь с детства и до последних дней и только умалчивал о прошедшей близости к Феничке. С нею он почти не виделся, — Кирилл Кириллович летом отдыхал и вечером куда-то уезжал один или с племянницей и возвращался утром прямо в контору.

Один раз вызвал Петровского...

— До осени вы в отпуску. Деньги получите в кассе.

Жалованье получил удвоенное, удивленно спросил:

— Почему столько?

— Во время отдыха у нас так для всех... По-загранично-му.

Осенью, уже из Петербурга, Зина прислала Никодиму свой адрес и несколько слов — тем же тугим, черным и мохнатым почерком.

— Милый, спасибо, что пишете, только этим и живу. Я с вами — всегда, всегда.

Осенью снова работа — вечера, лекции для рабочих; и для себя — книги и письма Зине. С Фенею не встречался почти — незачем было, началась новая жизнь, — своя, замкнутая, — медленно вырастал и креп. На Дракина смотрел все-таки как на врага и не мог допустить искренности его идеи. Мучило только то, что когда-то жил с Фенею, — это лежало тяжестью в письмах к Зине, и всегда они были недосказанными — боялся сказать ей об этом, просто, решил, — если судьба — само скажется.

Как-то опуская письмо, услышал сзади себя:

— Письмецо-с извольте опускать!..

На другой день после встречи в газете Лосева появилось:

«Правда ли, что на заводах Дракина некий студент, находящийся под надзором полиции, ведет агитацию и даже получает за это от своего патрона жалованье?»

В день выхода газеты Дракин заказным письмом получил вырезку, — на конверте ломаным почерком было написано: — в собственные руки.

Кирилл Кириллович, прочитав, взбесился; бегом поднялся наверх в кабинет, схватил трубку...

— Алло, Никодим Александрович?

В трубке журчало: — Да...

— Сейчас же ко мне!

Через несколько минут Дракин брезгливо бросил конверт Петровскому:

— Читайте... Этот мерзавец в своей газетке гадости пишет и сам же их посылает мне. Не выходите отсюда, вы здесь в безопасности. Я сейчас же вернусь.

Около ворот появились Игнат и Нестерка, — приказано было никого не впускать, а если полиция или жандарм явятся — обождать в чайной.

Через полчаса вернулся от губернатора.

— Дорого стало, а своего добился, — газетку эту закроют.

Лосева вызвали сейчас же по телефону в канцелярию губернатора, и правитель канцелярии долго ему вычитывал:

— Если вам оказывается поддержка на издание патристической газеты, то не для того, чтобы вы писали пасквили и подрывали доверие к таким лицам, как инженер Дракин, — мы дорожим нашей промышленностью, таких заводов один на всю Россию, и у инженера Дракина ни одной забастовки не было, ни одного волнения, и вы смеете писать гадости? Да, студент Петровский административно высланный, но он ведет культурную работу и находится на службе, и кроме того ваш орган не сыскное отделение, и вам до этого дела нет, для этого у нас есть особые агенты, и студент Петровский сейчас вне подозрений. По личному распоряжению господина губернатора ваша газета с сегодняшнего дня закрыта.

Лосев мигал глазами, что-то хотел говорить, но хлопнула дверь кабинета, и он остался в приемной один.

С этого дня отношения между Дракиным и Петровским стали теплей, крепче.

Никодим организовал кружок из надежных трепачей-мастеров, надеясь в будущем образовать из него группу и через нее питать всех рабочих фабрики.

Весной Дракина вызвали к губернатору, — Лосев не

успокоился и донес в министерство, — инженер поехал в столицу, уладил дело, но когда вернулся, Никодим был арестован. К осени с трудом вырвал его к себе на фабрику под свою ответственность. В чайной Петровскому не пришлось больше работать. По вечерам на дракинской половине работал с группой.

Мобилизация была неожиданной. Дракин хватался за голову, глаза его стали еще непроницаемей. Часть рабочих **была призвана, как запасные, новые понизили производство.** Кирилл Кириллович ездил в Петербург, хлопотал у губернатора, но спасти от мобилизации и призывов рабочих не мог, только квалифицированная часть была оставлена работающей на оборону. С каждым призывом сокращалась доставка пеньки, конопляники засевали под хлеб, хлебные клинья пустовали. И с каждым призывом с фабрики уходили рабочие и из лаборатории Никодима и его группы.

От Зины пришло после объявления войны письмо — короткое и горячее:

«Милый, работаю сестрой. Сколько страдания. И наши с вами — ничто перед этими. Но вы мне еще стали ближе, — только много, много пишите мне, ваши письма силу дают. Я вас всегда чувствую. Живу точно в келье — госпиталь в монастырской гостинице, а кругом лес: сосна, ель, — белые стены и купола. Только колокольный звон раздражает душу — смерть кличет».

Через несколько месяцев снова письмо:

«Милый, где бы вы ни были — пишите мне. Я знаю, что ваша буду. Все, что во мне — ваше, ваше все, что мое. Я люблю всех людей, но больно, когда они хотят от меня того, что никому не отдам кроме вас — доктор теперь оставил меня в покое, но монахи — смешно и противно. Видела мощи — сняты теперь во сне, — голый скелет с нашитыми белыми черепами на черной мантии, и когда он распахивает ее — скалит зубы и показывает костяк, — это сон, а наяву, — может быть грех, — но противно смотреть. И представьте, милый, около него у лампад стоит богоподобный монах, он помогает мне, но это больной человек — фанатик, больно смотреть на него, в нем какая-то огненная непорочность и чистота. Если бы этот человек мог быть живым — силою воли он покорил бы людей. — Евтихий, а учитель его — Поликарп, — черный, большой,

высокий, мрачный, — острый, как нож, я его боюсь, это — дьявол».

И перед самым его призывом — короткое, и потом долгое молчание.

«Раненым готова себя отдать, от монахов — бежать, бежать... Милый, без писем с ума бы сошла, — пишите, милый».

По вечерам встречался с Дракиным, говорил ему:

— Кирилл Кириллович, вы знаете, как у меня сердце забилось, когда в июле к нам слухи дошли, что рабочие в Петербурге вышли на улицу, я тогда хотел ночью бежать от вас, а наутро — мобилизация, — как обухом, и все потухло, но теперь я знаю, что скоро — надо готовым быть, если и у нас за хлебом очереди — это конец, конец.

Зине писал два-три раза в неделю, все, что думал и делал; постепенно гнетущее чувство того, что жил с Фенею, исчезало — захватила жизнь. Писал между строк — поймет или нет, но писать обо всем нужно и главное о войне, что эта война пересоздаст не только Россию, но и все человечество, очистив кровью. А когда писал — думал, поражение ваше — свобода, и чем сильнее мы на фронте — тем сильнее внутри, тем больше нас, тем больше к нам придет новых людей.

Кирилл Кириллович изредка бросал:

— Мы не выдержим напряжения!

— Ведь это же революция!

— И уничтожение.

— Вы хотите сказать — разрушение...

— Хуже, чем разрушение, — разрушает нас война, а революция уничтожит, камня на камне не оставит в стране и нечеловеческие будут нужны силы строить все заново.

— Они придут с революцией и оттуда, откуда никто не ждет...

Фабрика почти стала — прекратился подвоз пеньки из соседних губерний, — недостаток вагонов, и центральная магистраль — для войск. Станки износились, многие стояли без частей, англичанин ушел.

— Меня мои деньги спасут...

— А если революция?..

— Мою идею...

— Но революция неизбежна!

— Чем раньше, тем безболезненней...

— **Истощение в войне — наша сила...**

Мобилизовали и через месяц отправили, как бывшего студента, в училище.

Перед отъездом зашел к Дракину, встретил костылявшего на Пеньи рабочего в солдатской шинели...

— Никодим Александрович...

— Игнат?!

— Он самый, товарищ... Тоже воевать будете?..

— В училище завтра еду.

— Работали?

— А вы?!

— Под полевой хотели отдать, да ранили вот.

— А как ты, Игнат, думаешь — скоро?

— Не знаю, Никодим Александрович, — перетянут — не выдержит шина, тогда...

Из училища Зине реже писал, боялся, что будут перлюстрировать письма. До присяги не пускали в отпуск, а потом, уходя в субботу по записке двоюродной сестры Феклы Тимофеевны Гракиной, опускал в ящик сам. Несколько писем пропало, несколько — ленивый чиновник или офицер не захотели читать до конца и пропустили середину, — дошли.

Осенью по субботним вечерам ходил на Обуховский, через старого уцелевшего товарища восстановил связь, встречался с рабочими, у одного иногда оставался ночевать.

Угрюмый, сухой, тощий и сосредоточенный мастер говорил сухо, коротко:

— Все равно бросят...

— Что?

— И работать, и воевать...

Пил неторопливо вприкуску чай... Каждое слово говорил подумавши:

— А в училище у вас есть надежные?..

— Почти никого...

Ложась спать, докуривал папироску...

— В три смены у нас, — а толку?

— Почему так?

— Не хватает материалу — куваку возят.

— Кувакерия!..

— Кувыркерия!..

— Министерская...

— Кувыркерия, товарищ Никодим... кувыркерия... все кувырком скоро. Голод прижмет — на улицы выгонит.

Перед выпуском из училища получил от Зины письмо:

«Милый, Евтихий спас моего брата, две версты на себе нес через лес по снегу, — если бы мне его спасти, а, должно быть, есть на свете такой человек, который бы сделал это, смог бы... Я его, оказывается, один раз видела, когда с покойной Костицыной была тут. Отдалась уходу за братом, — но мы с ним чужие, — просто спасти его нужно... кольцо берегите, — в нем — я. Но когда же конец, я так устала!».

Перед выпуском, когда раздались в Думе слова — предательство или глупость, — в дымных, сумеречных улицах Петрограда еще отчетливей стали кричать трамваи — хле-ба, хле-ба, и еще упорнее отвечали автомобили, хрипя, — не-ет, не-ет и смеялись, рвякая, — ку-ва-ка, ку-ва-ка...

И неожиданно в училище выросла тревога, — откуда-то, может быть, с туманом, поползло по юнкерским спальням, что где-то волнуются рабочие и, может быть, выйдут на улицу, а тогда... тогда, вероятно, выведут юнкеров, все девять рот, выведут все училища, и никто не смеет отказываться. И каждый знал, отчего он не смеет отказываться, — должны будут стрелять в толпу, и не в толпу, а в рабочих, и сразу у многих шевельнулось внутри, — что, если выведут, — у каждого вдруг зародилась внутри надежда, что, может быть, и не придется стрелять, может быть, при виде их толпа рассыпется, разбежится, а где-то внутри щемило, — а вдруг, если прикажут, — буду я стрелять или нет — в безоружных людей, у которых право идти и требовать насущный хлеб жизни, — выйди они, ну скажем, с винтовками, с револьверами, с бомбами, но ведь и на это они имеют право, а я вот, звавший их всего несколько месяцев тому назад на эту же улицу, когда на мне была студенческая фуражка, — буду стрелять или нет, имею ли я право на это, — и в душе ответ — нет, не буду, не смею... Да, я не буду стрелять, но я буду в рядах стреляющих, пусть даже дуло моей винтовки взглянет слегка в небо, и моя пуля пролетит над головами у них, но все равно это пятно на всю жизнь останется на мне несмываемым, потому что я был в их рядах, и ради самосохранения стрелял поверх толпы, — значит я тоже стрелял и я тоже преступник, клейменный своим выстрелом в воздух на всю жизнь, и я никогда не посмею быть среди них, когда сниму с себя юнкерскую шинель

и одену снова студенческую фуражку и не посмею с ними взойти, как товарищ на баррикаду.

Шепотом говорили по ротам в курилках, в спальнях:

— Должно быть, придется идти...

— А где, где волнуются?..

Никто не знал, где, отчего, но каждый чувствовал, что смутно по всему городу носится этот слух, растёт, ширится и волнует тех, кто пойдет и кого поведут против и от этого становилось еще страшней и глуше.

Отпуска прекратили, разрешили только свидания в училище с близкими.

И каждый день в приемной и в вестибюле толпились женщины, девушки, и у каждого на лице тревога, никто не мог друг другу сказать этого вешего слова, что начинается, и уже, собственно, началось даже, только никто еще не знает, где и отчего и когда.

Никодим чувствовал это, и сразу лицо его загорелось, острым стало, решительным, потому что он сказал себе, — не пойду!

Написал обуховскому мастеру открытку:

«Милый дядя, хочу повидаться с вами, к вам приехать нельзя мне, буду ждать вас. Никодим Петровский».

И в один и тот же день и двоюродная сестра, Феничка, в косынке сестры, и дядя с суровым лицом рабочего вошли в вестибюль училища — Феничка всего на пять минут раньше дяди и всего на пять минут, чтобы только взглянуть на него и уйти.

Дежурный юнкер сходил за Петровским, крикнув во всю глотку издали:

— Юнкер Петровский, к вам пришли.

Никодим вышел к Фене и удивился, она была всего один раз в училище, когда нужно было фиктивное письмо от замужней двоюродной сестры для ротного, чтобы ходить к ней в отпуск с ночевкою, но зачем она здесь теперь — мелькнуло сейчас же, — волнуется за меня, и снова почувствовал в ней самого близкого друга, отошедшего от него, от его жизни, но, вероятно, следившего за этой жизнью.

Молча взглянули друг на друга...

Сказали друг другу не то, что нужно было, но в словах звучала тревога и уверенность, и сразу у обоих голос спокойным стал, ясным.

— Когда у вас выпуск?..

А в мыслях началось уже: — «Никодим, будешь стрелять в них или нет?»

— Через три дня, Феничка!

Весело ответил, потому что говорил: — «Я не сделаю ни одного выстрела и не пойду».

И сразу весело загорелись глаза.

— Значит, скоро поедешь...

— Да, скоро! Спасибо, что не забыла, пришла.

— Мы ведь друзья, — на всю жизнь.

— Да, Феня, на всю жизнь.

— До свидания, ступай, мне тоже пора.

— До свидания, может быть, встретимся, — я в родной город вакансию выбрал, к дяде Кириюше.

О том, что Калябин у ней в палате раненый с фронта, и о том, что он хочет повидаться с Петровским Феничка не сказала. Еще раз пожала руку ему и быстро сбежала по порожкам, а Никодим пошел в курилку: его нагнал юнкер и спросил:

— Юнкер Петровский, кто у вас был?

— Сестра...

— Ваша?

— Двоюродная!

— Какая она красавица, познакомьте меня...

И сейчас раздалось в спину:

— Юнкер Петровский, к вам пришли!

В дверях вестибюля столкнулись дядя Петровского и сестра, но не поклонились друг другу, только взглянули один на другого, — вероятней всего не узнали.

Дядя крепко пожал руку.

До конца приема осталось пятнадцать минут...

Пошли по залу, и опять тот же вопрос:

— Когда кончаешь?..

Тот же вопрос, — пойдешь или нет, — и тот же ответ, — «Не пойду».

— Через три дня, дядя!

Полусловами, полунамеками говорили, иногда даже бросали отдельные слова шепотом:

— А у вас когда?

— Скоро...

— Когда?..

— Не знаю, но скоро теперь.

— Пойдете?

— Пойдем.

— Зачем?..

— Хлеба...

— И повернув обратно...

— Через сколько дней уезжаешь?

— Через пять...

— Ну, вероятно, встретишь ее не здесь.

Потом подумал и тихо, тихо:

— Может быть, еще и здесь, хотя — едва ли... Началось, но время...

Посетители начали выходить.

Никодим долго ходил еще по коридору, вглядывался в лица, и думал, а потом пошел в спальню, сел на кровать и начал писать за своим столом-шкафчиком письмо Зине. В этот вечер не кончил его, не кончил и в следующий день, — решил один раз написать ей все и опустить, когда выйдет из училища и сможет командовать своей ротой, — пальба в небо, ро-та, пли!

Почти дописанное письмо носил при себе в кармане и в день выпуска кончил его и заклеил в конверт.

Слухи росли, потом ослабли, и лица юнкеров прояснились, или, быть может, в последние три дня перед выпуском об этом уже не думалось, потому что у многих теплилась надежда, что в эти три дня ничего не может произойти, и им идти не придется.

И в поезде уже, уезжая из Петрограда, он знал, что н а ч а л о с ь, и теперь уже не остановить этого, а когда колеса вагона простукивали рельсы, пробегая мимо дымных рабочих предместий, он, вглядываясь в полумрак, увидел в далеке огненный столп домны и, прислушавшись к стуку колес, откинулся от окна, лег на верхнюю полку и, спокойно засыпая, шептал в такт колесам:

— Ско-ро, ско-ро, ско-ро!

ИНОК
СМИРЕННОМУДРЫЙ

I.



После молебна обступила игумена Гервасия братия. Спрашивали о мощах. Горбатый Досифей протискался вперед и сверлил острыми глазами, выпытывая:

— Когда же, когда?..

— Сами слышали, епископ же говорил за трапезой всей братии...

За трапезой иноки перешептывались, поглядывая на Гервасия; расходились группами, разошлись и заперлись в норы — кельи.

Николка вернулся в покои свои и приказал белобрысому Косте никого не впускать из братии. Сел на кожаный диван, откинулся, — стопудовая тяжесть с плеч — монастырские гости уехали. Целый месяц в белочьем колесе кружился, хитрил, изворачивался, угождал каждому, о себе позабыл думать, только руки цепкие не знали, что делали, — отсчитывали деньги, прятали в кованый сундук про черный день, совали ключарю, тряслись перед епископом Иоасафом, корчились перед Костицной. Разобраться хотел во всем происшедшем, а в мыслях все спуталось. Утомленно дремал, вспоминая озеро, и помимо желанья — одна мысль давила его, — каша на хуторе. И эта мысль постепенно заполнила все существо его, —

вскочил с дивана и начал быстро ходить из угла в угол, сжимая кулаки. Не знал, на ком излить гнев, доходивший до бессильного бешенства, — мерещился Васенька юродивый, пролитое молоко, запах подгоревшей каши и измученное лицо Ариши; казалось, что виновник всему не Барманский, а послушник из новой гостиницы, Борис Смолянинов. Если бы его не было, — может быть, не произошел бы скандал, — боялся, что в городе начнут говорить, и не так в городе, как братия злословить начнет, недаром Досифей после молебна сверлил глазами его. Хотел успокоиться, отдохнуть, поразмыслить, и не мог, — может быть, от того и не мог, что весь месячный сумбур бросился в голову, и нужно для этого выход найти, — с чего начать. Крикнул послушника белобрысого.

Костя бесшумно вошел и, поклонившись, остановился у двери.

Хотел позвать Смолянинова, а сказал:

— За юродивым сходи, к старцу Акакию...

И опять начал ходить из угла в угол, потом сбросил клобук на диван, мантию.

Всю дорогу от кельи старца Васька понурясь шел, а к игумену в дверь — ворвался.

У белобрысого Кости дорогой спрашивал:

— Что ему от меня нужно? Костенька, скажи, — ты ближний, тебе все помыслы игуменские должны быть известны, пред тобою он, как на ладони, — я его знаю, давно знаю — не скрыться ему, не убежать от гнева праведного — гнев господень мучит его, ох мучит, а он на других его, на других взваливает, самому не вынести тяжести греха, искушения... ах, Николушка, — мученик ты, воистину мученик, за грехи твои карает десница вседержителя...

Ускорил шаги, приближаясь к покоям игуменским, Костя смиренным шепотом останавливал:

— Отче, не поспешайте так, — отче!.. Отец игумен в великом волнении...

— Волнением преисполнен?! Волнением?.. Сатана вселился в него, мучит Николушку — спаси, сохрани, помилуй!..

Игуменский послушник не решился войти к Гервасию, пропустил вперед Васеньку и на крюк запер входную дверь, оставшись в прихожей.

Гервасий слышал скребущие, расхлябанные шаги Вась-

ки, какие-то оголтелые, скачущие, и остановился против двери, чувствуя, как наливаются всем руки и половеет лицо.

Васенька вбежал с причитаниями, распахнул дверь и чуть не столкнул Николку, тот бросился на юродивого и стукнул его кулаком в лоб, крикнув сурово:

— Ты что? ! Ополоумел совсем!

Васька растерянно замигал глазами, голос его осекся и длинные руки повисли.

— На колени! На колени становись!..

У юродивого подогнулись ноги, коленки стукнулись об пол, хрустнув сухим треском, и он, часто, часто моргая, смотрел на Гервасия, как-то сжимаясь, точно боялся, что тот снова ударит его кулаком, и не в лоб уж теперь, а по темени, от этого он и голову, слегка вытянув шею, пригнул и сгорбился, но все время следил за Гервасием, откачиваясь от него, когда тот проходил мимо.

— Забылся?! Совсем забылся?!

Васенька начал хрипящим шепотом:

— Николушка, — что ты это, Николушка?!

— Для тебя я игумен! Для всех — игумен... Слышал?!

Потом прошелся по комнате, остановился, быстро нагнулся к нему и выкрикнул:

— Ты что это?

Блаженный всплеснул руками, закрыл ими лицо, отшатнулся в сторону, и всем туловищем пригнулся к полу и забормотал, трясясь и всхлипывая.

— Господи, господи, пренодобных отец наших, господи.

— Замолчи, сатана! Слушай! Если ты хоть где-нибудь вякнешь у меня про то, что на хуторе было?! В подвальную церковь запру в скиту! Понял?! Ну, понял?

Еще тише, еще медленней, теперь уже свистящим — не то шепотом, не то каким-то придушенным выдохом Васька шептал:

— Не я это, видит господь, что не я!

— А кто же? Ну кто?!

— Тощий барин тот, — помутил меня...

— Сам ты бес! Кто тебе говорил, чтоб от старца ни шагу не смел! Кто?! Не помнишь?.. Теперь ничего не помнишь! Старец неизреченной доброты, а ты что?! У отца Досифея будешь жить, он за тобою смотрит... Но если ты хоть одно слово непотребное скажешь об твоём игумене — сгною, живого сгною!.. Ты думаешь, что дурак ты, — прокаженный — вот кто ты. Злоба в тебе прокаженная.

В уши тебе нагудели — блаженный, юродивый!.. Распустил вожжи! Смотри у меня! Не первый год тебя знаю! А то и вправду велю веревками тебя связывать!..

Васька стоял на коленях, покачиваясь, пригибаясь, жиденькая бородка клочьями болталась из стороны в сторону, глаза не переставали мигать, и казалось, что весь он трясется и вздрагивает. Слушал игумена беспрекословно, только в уме было — каешься, передо мною каешься, дьявола укротить в себе хочешь, а он так и прыгает, так и скачет, и не ты, Николушка, по горнице мечешься, а сатана в тебе скачет и пляшет — радуется твоему непотребству, а ты думаешь, что это в тебе шалая кровь бродит, выхода не найдет; смириться не можешь, яко иноку подобает в пустыни. — Испуганные глаза юродивого бегали из стороны в сторону, следя за Гервасием и порою вспыхивали они робкою хитростью. В эту минуту никто бы не мог и подумать, что это юродивый, дурачок, — может быть, в нем ни того, ни другого не было, а только он напускал на себя, корчил блаженного — выгодней, никто не посмеет тронуть, сказать, осудить, и даже Николка, старый приятель его, и тот только грозит, потому что знает, что за него братия вступится и не позволит обидеть ненормального человека.

— К старцу Досифею пойдем, у него будешь жить!

Блаженный поднялся, напялил скуфейку и пошел расслабленный, пошатывающейся походкой за Гервасием в другой конец монастыря за больничную церковку в угловую келью. Дорогою, приближаясь к Досифеевой келье, снова было язык развязал, — говорил полушепотом, с каждым шагом усиливая голос, пока на него не прикрикнул опять Николка.

— Тебе что сказано! Замолчи! Не знаешь, что сказано, — язык — враг мой. Погубит он тебя, — берегись, Васька! А то подвешат тебя за язык в аду. Твой язык и других погубить может.

Шепотом отвечал Гервасию:

— Что ты, Николушка, что ты, — я ж тебе друг-приятель... Разве ты не помнишь? Вместе ведь гуляли с тобой по лесам, — это я от любви великой, а разве я, Николушка, хотел тебя погубить?..

Входя уже в сенцы к Досифею, Гервасий злым шепотом сказал блаженному:

— Ты смотри у меня! Я игумен тебе, — послушание должен строго нести! Понял?

Досифей из окна заметил игумена с Ваською, наскоро надел клобук, и не успел Николка окончить своих слов — горбатый засеменил навстречу, низко кланяясь, выжидая, когда он начнет говорить. Сразу почувствовал раздражение в голосе Гервасия и с любопытством поглядывал на подергивающегося блаженного. »

— Я тебе, старче, блаженного привел, Васеньку.

Горбатый монах молчал и кланялся, пропуская игумена с Ваською в келию.

Николка вошел, перекрестился широким крестом и, вдохнув в себя запах сухих трав, полыни, богородицыной, сухой герани, сказал певучим голосом, будто не он шипел злобно минуту назад:

— Вот где, истинно, келья инока! Тело и дух немощен — исцели врачеванием трав полевых и глаголом истины... Старец Акакий велик смирением, а ты, Досифей — мудростью. Уврачуй своим наставлением блаженного, прими его к себе в послушание.

Досифей сверкнул глазами, поклонился земно Гервасию и сказал, пришепetyвая:

— Да будет по шлову игумена!

— Травкою его полечи! Травкою!.. А не поможет. — вразуми его, отче, лозою...

Еще раз взглянул на блаженного Николка, сверкнул ему взглядом и вышел из келии.

Васька вслед ему захохотал, точно в лесу, радуясь чему-то особенно.

Досифей прищурил глаза и все лицо его — злое, хитрое — собралось в морщинки и засмеялось беззвучно, неизвестно даже чему — тому ли, что почувствовал, что Гервасий теперь через Ваську в его руках, или тому, что Васькин смех был в эту минуту, действительно, безумным и диким, или тому, что сам игумен, в данном случае безразлично кто, но — игумен, признал его выше Акакия — неизвестно чему обрадовалось и смеялось лицо Досифея, и, быть может, это был даже не смех, а подергивание всего лица, собравшегося в морщинки, и даже голова — небольшая, лысая, клинушкой, — клобук он на стол положил, — ушла в плечи куда-то, отчего выступил горб, — минутами даже казалось, что не лицо его смехом подергивается, а смешно прыгает горб, — а от него и плечи и руки, — от этого и лицо сморщилось и не смеется оно, а только подергивается вместе с горбом прыгающим. Потом сразу перестал дергаться горб и разгладились на

лице морщинки, засверкали острые глазки, и он подошел к Ваське и прошепелявил беззубым ртом:

— Грозился тебе? За что он?!

Васька точно обрадовался, что можно без конца говорить, — распоясал язык.

— Никулушка-то?! Погибели он боится, своей погибели... бес его мучает, говорит ему — веничком, веничком — всех Феничек этих веничком...

Досифей отошел, сел на табурет и уставился на блаженного, ловя каждое слово его.

— Какая там Феничка? Говори толком!..

— Барыня эта, барыня — она тоже Феничка ему, у него все — Фенички... В лесу ее видел с Никулушкой. На травке сидели... А мох-то в лесу — мяконький, а полуденный бес — сильнее его нет противника... так и вселяется, так и шепчет Никулушке... сотвори блуд, сотвори в полудени.

— С барыней видел? С какою еще?..

— Не барыня... бес, бес, подле епископа все лето кружился.

Зашипел Досифей, услышав про епископа.

— Про владыку молчи, молчи!.. Не твоего ума дело... Молчи!

— Я про Никулушку, про него... А все это барин...

— Что с Памвлою дружбу водил?..

— Черный такой, костлявый... Он меня, аки бес соблазнил, бесовским зелием. Погибель его показал, на хуторе... вифлеемом назвал его — хутор-то... а там Феничка его... Феничка...

— Узнали, что приплод у монашки от инока, от игумена...

— Не я старче, не я... Никулушка это, Никулушка.

— Ступай к старцу Акакию за постилкой своей, да помни, что игумен сказал — молчи, теперь ты у меня в послушании — помни, я — не Акакий!

Васька вышел за дверь, а у Досифея опять горб запрыгал и затряслись на лице морщинки — залился беззвучным смехом, шепча сам себе:

— Искушаем бысть, искушаем!.. Позор братии, великий позор... Погибели боится своей... Погибели!..

Увидел в окно послушника из гостиницы, Мисаила, — того, что за Борисом подглядывал, и зазвал на минутку, будто бы рассказать новость, — Васька-де будет жить не у Акакия, не у святоши, а у него — Досифея. Посадил его на скамью, рассказал про игумена, что тот приводил к нему Ваську, и будто невзначай спросил:

— А гости-то все уехали?

— Все! До чиста! Ну и гости!

— А что? Что?

— Барыня там одна была губернаторская... Подвела она под орехи паскудника нашего...

— Разве можно! Что ты, отец Мисаил, говоришь, — что ты, разве про игумена можно так?

Послушник раскрыл рот широко, вытаращил глаза и со страхом зашептал, падая Досифею в ноги:

— Разве я про игумена?! Старче, прости, что на нечестивую мысль навел своим скудоумием, — я про паскудника нашего, про студента беглого...

— Ну, ну!.. Да ты встань, Мисаил, — встань!

— На барыню эту накинулся в номере и барином бит был, — по щекам его, по щекам, а барышня-то ихняя, — голову схватила его и давай проливать над ним слезы... в театры ходить не надо... свои видели... истинно, старче, Содом и Гоморра... И это в обители-то...

— Ну, ну!

— Я бы эту барыню на коне разметал по полю, как в старину с ведьмами расправлялись.

— За что?

— На̄д обителью потешается, над игуменом... Недостойные слова говорит про епископа...

Досифей занемел, на цыпочки даже привстал, чтобы не проронить ни одного слова коридорного послушника.

— А все из-за него, из-за паскудника этого. Должно быть дознался отец игумен про его фокусы, а барыня на дыбы, — я, — говорит, — в руках держу Гервасия ихнего, не посмеет тронуть бедного мальчика, — жеребца-то этого, — я, — говорит, — все знаю, зачем и лес продали, и это знаю.

— Какой лес?..

— Наш, монастырский...

— Так говорили ж, что на гостей не хватает, а потом... много потребуется для прославления старца нашего Симеона...

— А у ней, — не понял я хорошо только, — по-иному это выходит; отца игумена порочит, монастырь, братию, — я, — говорит, — князю пожалуюсь, не смеют они издеваться над чистотой юношеской, — будто отец игумен деньги давал кому-то, чтоб мощи открыть, — святотатствует! Старец наш чудеса творит, а она кощунствует. Будто отец

игумен вождедел к ней плотью немощной... Поэтому и в руках у нее теперь...

У Досифея запрыгали, заиграли глаза лукавством и злобою и он, быстро семеня ногами, подошел к Мисаилу и стал ему на ухо шепелявить:

— А ты, молчи, друже, молчи! Не искушай господа. Словом своим не наводи иноческие души на соблазн размышления... Помолчи, помолчи, друже...

— Сам знаю, что надо молчать, — душа от гнева не выдержит — на паскудника не глядел бы... из-за него соблазн братии и поругание обители от недостойной женщины!

— А ты, помолчи, помолчи! Во славу обители и преподобного старца нашего. Помолись господу, дабы не искушал тебя, и молчи, молчи! Я игумену сам скажу... сам... А ты помолчи! Слышишь — дай при мне обет перед господом, что молчать будешь.

Мисаил перекрестился, поклонился Досифею в пояс и вышел из кельи и снова запрыгал горб у монаха и задвигались на лице морщинки, — смеялся и думал, что игумен теперь в руках у него, весь — с косточками и что теперь он сильнее Акакия, а Ваську юродивого сам господь ему в помощь послал, — сам же Николка его привел в послушание, а язык у блаженного — только надоумить его — все выскажет, да так, что при всех, а кто имеет уши — да слышит, — расслышит и поймет и на ус намотает, и не братия будет в руках у игумена, а Гервасий запляшет под дудочку братии.

Сел у окна подумать и постепенно перестал дергаться горб, морщины разгладились — вглядывался в сумерки, дожидая из скита Васеньку.

Игумен вернулся домой, — в темной приемной в сумерках пахло старую мебелью, поющей от червоточины, никогда не выветривающимся запахом ладана, — он даже любил его и считал, что для инока они заменяют духи, покупал даже угольки-монашки, и вечером, в темноте, когда мерцает у икон большой синий лампад, стоявший на небольшом, но высоком столике за ликом Спасителя, нарисованным на стекле — нерукотворный образ — зажигал перед ним в особой высеребрянной высокой медной чашечке в форме чаши росный ладан с Афона или душистые листки, или любимые монашки из кипарисового дерева. Вернулся не успокоенный, а еще более утомленный. Знал, что Досифей не любит его и враг его тайный —

наушник братии, и все-таки не побоялся отдать Ваську ему в послушание, потому что знал свою силу, купленную тысячами у епископа, у ключаря и соборных. Думал, что братия не осмелится ни слова сказать ни ему, ни постороннему человеку из боязни, что потеряет возможность открыть мощи. Был уверен в себе, и все-таки волновала его неприятность на хуторе, и Васька, и предчувствие кривотолков у братии о нем.

Вошел в приемную, — белобрысый послушник зажег синий лампад и сквозь стекло образа ровным конусом крестообразно расходился свет — один луч падал вверх к потолку, прямо из-за стекла, два боковых тонули в углах, а передний, едва уловимый, оттого, что рассеивался в стекле — ложился ровно на ковер, пересекая во всю ширину белый деревенский половик.

Опять сел на диван, — злоба сменилась усталостью и досадою, хотел еще сегодня же видеть послушника-студента. Костя возился в передней, спозаранка укладываваясь подремать, готовый каждую минуту вскочить на зов игумена. В передней стоял большой рундук, в виде широкой скамьи, на которой обычно ожидали богомольцы, пока послушник не пропустит в приемную; на этом рундуке в сумерках дремал Костя, раскатывая поверху белый половик, — нераскатанная его часть служила ему подушкой.

У Кости не было ни своей жизни, ни своих слов, ни своих движений, — он умел, когда нужно, падать игумену в ноги, бессловесно исполнять его приказания и молчать. Когда кто-нибудь из монахов хотел у него что-нибудь выпытать, он беспомощно улыбался любопытствующему и каждому говорил одно и то же:

— Не при мне было сказано. Я ничего не знаю... Спросите у самого отца игумена.

Ни дремота, ни сон — раздумье и в нем прошлое мутно вставало, переплетаясь с сегодняшним днем, от которого, как от прошлого, не было сил освободиться Николке. Пятернею откинул привычно волосы и позвал Костю:

— Сходи в гостиницу, позови коридорного Смолянинова.

Ожидание было долгим, весь гнев вылился на блаженно-го и всего охватило безразличие, — в тишине, в сумерках почувствовал себя одиноким, но сейчас же вспомнил Аришу и решил, — завтра пойду, отнесу на хранение деньги — про всякий случай.

Тихо зашелестел подрясник от поклона игумену; светлая

полоса от лампы на один миг осветила сухое лицо, исхудавшее, почти без кровинки; блеснули большие глаза синеватым прозрачным отблеском, и послушник остался неподвижно стоять, ожидая слов Гервасия.

Николка не шевелился, вглядываясь в полумраке в лицо Бориса, ясно и четко звучал маятник, отсчитывая секунды и каждая нарастала в душе напряжением. Игумен не знал сам что сказать и решил неожиданно:

— К отцу эконому ступай, скажи, чтоб в пекарню принял тебя.

Борис не двигался, ожидая, что игумен скажет еще что-нибудь, взглянет на него и скажет ему успокаивающее в этой тишине, окутанный запахом ладана и мерными взмахами маятника. Николка откинулся на спинку дивана, задумался, думая, что Смолянинов ушел, но, открыв через минуту глаза, испуганно взглянул на черную неподвижную фигуру послушника и сразу к лицу его прилила кровь.

Запели стенные часы, слившись с игуменским голосом — оба звука слились в один вздрагивающий и хрипящий:

— Что тебе еще нужно? Ступай в пекарню!

Одновременно замолкли и голос, и стенные часы. Борис земно поклонился Гервасию и хотел подойти под благословение к нему, — это еще больше раздражило Николку, он вскочил с дивана, подбежал к Смоляникову и почти закричал над ним:

— Мучить пришел меня, — мучить?! Погибели моей захотел?!

Потом так же быстро повернулся и пошел к двери, на ходу бросив последнее, недосказанное слово, — оно к нему не само пришло — случайно было где-то подслушано от монахов, — его он и бросил послушнику.

--- Паскудник!..

Захлопнулась в соседнюю комнату дверь, ударив по нервам измученного человека, и он, содрогнувшись от последнего слова, затрясся, как в лихорадке, глотая слезы.

Вошел белобрысый Костя и мертвым, беззвучным голосом сказал Смоляникову:

— Здесь оставаться нельзя! Иди уж!

Все еще трясясь, Борис вскочил, всплеснул руками, потом схватил за рукав Костю и, теребя его, истерично спрашивал, повторяя без конца одну и ту же фразу, вырывавшуюся изнутри беспомощно:

— Господи, и это он мне сказал, мне, --- ты слышал?

Костя повторял заученные слова:

— Не при мне было сказано. Я ничего не знаю...

II.

Туманной пеленой, в полдень прозрачную от горячего и жгучего солнца, сухого, жесткого, заволокло монастырь, — белые стены сливались по утрам и полоскались в этом тумане — сыром и гниющем, от него острым тлением дышал лес и золотая кора сосен висела лохмотьями; набухая, порыжел мох, только в густых зарослях ежевики звонко свистели птицы. Белобрысый послушник Костя запирал с вечера на крюки двери игуменских покоев и ложился на койку в своей каморке. Бесшумно шел затворять за Гервасием, и весь он, каждое движение его — молчание и бессловесность.

Николка уходил, чтоб никто не видел, дальней тропинкой огибал монастырь, ежился встречному лаю собак на хуторе и молча входил в Аришину комнату.

В первый раз после отъезда гостей Аришу встретил в лесу — шла в монастырь на скотный. Золотые рыжие волосы выбивались из-под платка, — быстро поправила и растерянно остановилась. И в эту минуту снова Николка понял, что кроме монастырской жизни у него не было и не будет — должен беречь ее, — подошел к Арише и спокойно сказал:

— Васька виной всему, он да губернаторский барин...

— Зачем ты меня погубил? Зачем ты гостей привозил на хутор?!

Должно быть мучилась, не находила места себе — голос слабый, беспомощный, — вот когда обидят невинного человека, в душу ему наплюют, а потом взглянут на него гордо и победоносно, после этого обиженный человек не найдет в себе слов и почувствует себя без вины виноватым, — таким голосом сказала Ариша свои слова Гервасию. И только в эту минуту он почувствовал, что ей пришлось пережить, но сейчас же вспомнил, что все искупается мечтою его о мошах, о митре, проданном лесе, — он ей нес на хранение несколько тысяч и сейчас же полез в карман исподних штанов, отвернув подрясник, и заговорил, стараясь спокойным быть:

— Хорошо, что я в лесу тебя встретил, а то могли бы увидеть. Я хочу отдать тебе на хранение деньги, — они твои будут, тебе и принес, — сколько лет их копил.

Ариша вздрогнула, как-то беспомощно откачнулась,

быстро вскинула свои глаза на Николку и тем же беззвучным голосом спросила его:

— Деньги?.. Какие деньги?.. Мне никаких денег не нужно... Ими ведь не поможешь теперь, — погубил ты меня, и не ты, а я сама искала своей гибели... Деньгами от ней не откупишься.

Николка ждал, что обрадуется Ариша шелестящим бумажкам; он и шел к ней обрадовать, покорить ее до конца и в первый момент растерялся, потом назвал ее про себя дурой, рассердился, но сдержался, старался говорить тем же спокойным голосом:

— Это я для него... для маленького. А ты их храни. Ты будешь хранить для него, я монах, умру если — останутся монастырскими, а ему нужны будут. Он вырастет... Деньги копил. Возьми их, возьми.

Всунул ей в руку пачку бумажек, завернутых в плотную бумагу оберточную и наклонился к ней, она опять откатнулась, даже отступила назад и зажала в руку бумагу с деньгами туго-туго, боясь потерять.

— А ты думаешь, что ты ими его спасешь?! Ты вместе нас погубил, и его и меня погубил.

Николку всего передернуло, сдержался с трудом и, бросив глухим голосом несколько слов, не простившись пошел в монастырь:

— Никто тебя не губил! Завтра говорить будем... А деньги-то спрячь, чтоб не видел никто, — там тысячи!

Арише всю дорогу эта бумага с деньгами, туго зажатая в кулаке, жгла руку, и не руку, а душу давило, и в сумраке, путаясь в тропинке, цепляясь за корни, она почти бежала к хутору, всю дорогу не останавливаясь, точно ее кто преследовал или этими деньгами ее еще больше обидел Николка; а он — широко шагал, свернул на плотину, думая, что напрасно он деньги отдал ей, — не чувствует она ничего, не понимает его, не просить же у ней прощенья в том, в чем не виноват он, — счастья она не понимает своего.

У застав глухо шумела вода, внезапный ветер поднял сухие листья и понес их через плотину в озеро, где-то крикнула цапля. Послышались голоса и заскрипели везы.

Сгорбился и быстро прошел мимо.

Выйдя из лесу, подобрал подрясник и по знакомой дороге зашагал к монастырю через луг.

Схлынули гости, а за ними и богомольцы и деревенский люд, непогожий день по-осеннему первый был — нежи-

данно и в первый раз молочные сумерки из болот встали - около стен монастырских не встретил никого, в старой гостинице кое-где окна светили еще свечами, святые ворота были закрыты, только зияла чернотой низкая дверь.

Авраамий грубо спросил, не узнав Гервасия:

— Жди вас тут, никак не находятся на гостиницу — сладко им!

Николка от неожиданности вздрогнул и ответил испуганно, точно пойманный послушник:

— Это я... Гервасий...

— Простите, отец игумен, в темноте не узнал...

— А разве иноки ходят туда? Сказано ж было — никому во время гостей в гостиницу не ходить. — Кто ходит? Говори, отец Авраамий.

— Раньше не замечал, а уехали...

— Ходить начали? Приметь. После мне скажешь.

В покои свои не пошел, вспомнил про Ваську — решил Досифея наведать.

Кельи мигали сонными огоньками окон, под ногами шелестели опавшие сухие кленовые листья аллеи от собора к больнице — в пустынном монастыре начал накрапывать мелкий холодный дождь.

Долго стучал щеколдой палисадника Досифей — высунув голову в дверь кельи, прощамкал:

— Ты, Мисаил?

Николка сказал певуче:

— Я, старче, проведать пришел, — не спите еще?!

Горбун сразу по голосу не узнал и переспросил:

— Да кто там?

— Игумен. Пойди отворить.

Старик засуетился, зашпешил, рванулся в сенцы, потом зашмыгал сапогами по мостку и, сверля Гервасия глазками, пропустил вперед. Васька сидел на постилке у двери, а за столом Памвла, с проваленным носом, что-то гнусавил блаженному, и когда Николка вошел в келью, иеродиакон растерянно встал и его красные, подслеповатые глаза виновато забегали из стороны в сторону. Не глядя на Гервасия, он подошел под благословение и загундосил:

— Я за травкою к старцу... разломило мне поясницу. Хотел на молитву встать — сил нету, а у отца Досифея от всяких недугов трава имеется. Да вот заговорился

с Васенькой... Устами юродивых и младенцев — господь глаголет.

Николка взглянул на Ваську и спросил, пряча в голосе смех:

— О чем он тут говорил?

За Памвлу отвечал горбун:

— Рашкаживает чудеша Шимеона штарца... Иштинно чудеша гошподни!

— Не докучает тебе, отец Досифей?!

— Шпаши гошподи!.. Шмиренный теперь, шмиренный.

— Ну, с богом! Я только проведать зашел.

А вслед Памвла захихикал, подмигивая блаженному.

— Ишь ты, ходит, вынюхивает, так и тянет его сюда, — а ты молчи, Васенька... Мы припомним ему орешки, ягодки... И Феничек всех позабудет.

Васька заерзал, заворочался на постилке своей, растилая ее, точно лохматый пес, и захохотал, заухал, тряся ключьями своей бороденки, и точно от того, что он развозился на постилке своей — от него потянуло кислым тошнотворным запахом невымытого человека.

Досифей, проводив Николку и захлопнув щеколды и задвижки и в палисаднике и в сенях, вошел в келью и подмигнул Памвле.

— Нюх у него... собачий! Проведать пришел...

Памвла засмеялся и загундосил:

— Я уж и то, отец Досифей, говорю Васеньке, чтоб язык подержал на привязи.

Горбун испуганно взглянул на блаженного, подошел к Памвле и стал ему шептать на ухо:

— Может, и его привел, чтобы выпытать потом у блаженного... Юродивый он, а хитрости в нем — каждого проведет. При нем лучше уж помолчим.

И обернувшись к Ваське — следы заместь, запутать:

— И то, Васенька, лучше бы тебе помолчать. Помолчишь — лучше... Он все-таки наш игумен, а про игумена грех говорить нехорошее, Васенька, — грех великий...

Васька тряхнул головой и весело засмеялся, поглядывая на Памвлу:

— А орешки-то, орешки в лесу теперь — спелые, ядрышки, что твои... Эх, эх, эх! Подле хутора орешник густой и все ядрышки там, ядрышки... Раскуси-ка его... сочное...

Досифей с Памвлою испуганно переглянулись и сразу, подмигнув друг другу, засмеялись, потом смех неожиданно оборвался, и Памвла собрался уходить.

Горбатый старик ему шепотом в сенцах, прислушиваясь, не подслушивает ли Васенька:

— Я к тебе, отец Памвла, приду, — к тебе. А Ваське не верю я, — продувной бестия, Гервасий почище блаженного — не то, что его обведет вокруг пальца, а всех, кого хочешь... К епископу и то ведь уластился... А я лучше к тебе приду, один на один...

Памвла уже за калиткой Досифею ответил:

— Мы ему припомним орешки, все сосчитаем! А то ишь ты... В монастыре да супругу завел себе...

В сумерки, в белесый туман кутаясь, ковылял Досифей к Памвле, и заперлись в келье; склонив друг к другу головы, озираясь по сторонам, точно и стены могут подслушать, шептались до полуночи о том, что лес продан, а денег нет и отчёта не дано братии. Зазывали к себе монахов, наводили расспросами на мысль, что деньги пропали и лес погиб, — хранила его братия, берегла как зеницу ока, красотою его радовалась, а пришел неизвестный и продал на сруб. Мало ли что мощи обещаны, да их никто и обещать не может, а если старец творит чудеса явные всенародно, то их и без этого должны в монастыре открыть, для этого и денег не нужно. Гости, конечно, почтенные и братия им была рада, а кормить их можно было и из монастырской казны. Зазвали эконома Паисия — тот ухмылялся в бороду по-мужицки и говорил только, что лес-то нужно было продать, это верно, расходы были большие, а только куда тратились деньги — ему неизвестно, ибо расписок никаких налицо нет и не может быть. Паисий хитрый мужик, себе на уме: нельзя ему идти против братии, на отчете он у нее, и великую тайну рассказывать — себя подводить под Соловки, — еще хуже. Не Гервасия выгораживал, а свою шкуру берег от этого и не указывал на игумена; знал, что расписок взять неоткуда — разве узнаешь, сколько кому было дано Гервасием, — в книге записано — на поправку хутора, на покупку коней, коров, на улучшение хозяйства, на питание гостей почетных, на новое облачение епископу, — вместе с Гервасием и статьи подводил и расходы придумывал; записывал то, что игумен ему диктовал. Знал, что не без греха тут, а только при таком деле и грех прощается, не спрашивал же его Гервасий, куда он сотни потратил, — а из сотен ведь тысячи, сколько на рыбу, на разносолы архиерейские каждый день ухлопывал, — у него, конечно, дело чистое, на все почти закупки — счета, на то

и купцы в уезде. Паисий с молитовкой и в лавку придет и чайку выпьет у купца за прилавком, пока по записке его отвешивают всякую снедь, и на счета искоса взглянет, купец не стесняется должную цену поставить и не малый процент за это Паисию, и оба довольны — чисто сделано и по совести. Поэтому и Паисий молчит про Гервасия, разве что ухмыльнется в бороду, а может быть потому, что свои грешки вспоминает.

• Не добились толку Досифей с Памвлою от Паисия, решили и без него обойтись. Ходили по кельям и нашептывали, — куда мол и за сколько продан лес монастырский и сколько от купца получил игумен...

Шепталась братия, исподлобья поглядывая на Гервасия и втихомолку решила писать жалобу на игумена. Васюку Досифей запирает в кладовушку, когда уходил по кельям, чтоб не подглядел, не подслушал, а на ночь выпускает в келию, — диким волком глядел на горбуна блаженный, а старик в привычку взял под-голова класть полено, ляжет Васенька на постилке у двери, забормочет — Досифей за полено.

— Молчи! Слышь, молчи! Игумена поносить не позволю! Измучил юродивого.

На тайные беседы собирались у Памвлы и востроносый лавочник Аккиндин, тот, что записывать чудеса посажен, — бумагу с собой приносил составлять епископу челобитную, ехидно посмеиваясь, неизвестно только над кем — то ли над кляузниками, то ли над Гервасием.

— Я, отцы, по разумению своему, помогу, а только хуже бы не было...

— А лес-то какой, по всему царству не сыщешь такого — а он продал...

— Тебе и писать, отец Аккиндин, — у наш некому больше, — во шлаву обители.

Памвлу, шмыгая носом, гнусавил, растопырив короткие пальцы обгрызанные:

— На свою голову выбрали его, а теперь попробуй, скажи... хозяином заявился тут, а забыли, как бегал за дачницами, и до сих пор у него на хутре живет эта приبلудная...

Иона гостиник бубнил отрывисто, густым басом:

— Сам видел, — разве не видел я, как монастырские деньги соборным проигрывал, тут и подглядывать нечего было — швырял сотенные, не дорого достались... А ты, Аккиндин, пиши.

Лавочник, пощипывая бородку свою клинушкой, с протоседью, весело глазами сверкал и спрашивал:

— Так что же, отцы, так и писать владыке, что-де³ отцу ключарю игумен монастырские деньги проигрывал, взятки давал невидимо.

Досифей приходил в азарт и, тыкая пальцем в бумагу и наклоняясь к ней крючковатым носом, шипел:

— Пиши, Аккиндин, — все пиши, пушкай жнает владыка и про ключаря швоего, — шоборные пъявки — монаштырь вышошали.

Памвла набрасывался на Досифея, махая руками перед его носом:

— Что ты, Досифей, — что ты, — надо писать, чтоб ни на кого не указывать — одного Гервасия утопить.

Иона не мог все еще разобраться в бестолковщине и кричал:

Да кому хоть писать-то, отцы, — кому подавать жалобу? По-моему писать, так в Синод — верней будет.

Аккиндин сразу поставил в тупик собравшихся:

— Братие, отцы, подождите... Соборне же мы писали в Синод просьбу великую о мощах старца, и владыко обещал хлопотать в Синоде, а тут и выйдет, что у владыки, в его пребывание в пустыни, обитель разворовывали, так разве тогда он поедет в Синод хлопотать, после такого дела — позор и на нас ляжет. Я как прикажете, я напишу, а только мощей-то нашего старца мы не увидим. В Синоде прочтут такую бумажку и вспомнят, что мы хвалебную аттестацию два месяца тому назад сами же писали о Гервасии, — помните, — трудами неустанными игумена нашего Гервасия, — кто подписывал — все подписывали, а теперь на него донос. Нет, отцы, такой бумаги я не стану писать, увольте.

И сразу поднялся гам, — спорили сразу все — кому писать жалобу, кому подписывать ее, и неожиданно диким фальцетом выкрикнул Васька:

— Заперли, с голоду уморить хотели — собрание нечестивых... радеете... веничком, веничком, всех веничком.

Досифей набросился на него и с помощью Ионы гостиника повел к себе в келью, грозя дорогою Ваське:

— Молчи лучше, молчи — поленом тебя, поленом...

Пойманный Васька замолчал, а потом, думая о своем о чем-то, захныкал, и в темноте чувствовалось, как он сжался весь и заплакал, может быть, первый раз за всю свою монастырскую жизнь. Досифей шипел над ухом:

— Убежал, вырвался — дверь выломал, яко тать, — жапру теперь и на ночь пушкать иж кладовушки тебя не буду, а крикнешь — поленом тебя, поленом...

Васька крутил головой и плакал, вглядываясь в черные сосны ночные, — за ними скит, вспомнил и старца Акакня, ласковые слова его, беседу тихую по вечерам и даже рванулся было — Иона, точно клещами, сдавили ему кисти рук, а горбун сухим кулаком злобно ударил блаженного в спину, и Васька опустил голову и пошел покорно.

Провожая Иону, Досифей шептал:

— Жавтра, отец гоштиник приходи к отцу Памвле, шам напишу, — шам — владыке шамому... Шоштавить тут — главное, а братия вшы подпишет. А Вашьку я проучу, проучу его...

Аккиндин от Памвлы нырнул в темноту и бесшумно прокрался с заднего хода к игуменскому корпусу, притулился у палисадника, огляделся, прислушался и скользнул на крыльцо. Долго, еле слышно постукивал в щеколду, — стукнет, послушает, оглядится, опять стукнет, пока не расслышал белобрысый Костя. Вышел, спросил... Аккиндин зашептал:

— К отцу игумену мне, по делу...

Гервасий дома был, лавочник видел огонь в окне его комнаты, поэтому и достучаться решил, думая, что в другой раз отлучится игумен по делу зачем на хутор, а на глазах у братии ему не хотелось заходить к Гервасию.

Николка вышел, подозрительно взглянул на Аккиндина, и тот, приняв благословение от него, ласково затараторил:

— Я, отец игумен, по делу к вам, — не в урочный час только, — простите, что молитве помешал иноческой.

Гервасий взглянул на Костю — тот бессловесно, как всегда, поклонился и вышел.

— По какому делу, отец Аккиндин?

Лавочник тем же голосом продолжал, загадочно поглядывая на Гервасия — знает мол или нет, что у Памвлы братия собирается.

— Хотелось мне, отец игумен, — только без вашего благословения не смею — записи у меня о содеяных чудесах старца...

— Ну, так что?

Хотел заново благословиться их написать, а то наскоро все, лишь бы главное занести, а великие чудеса, великие...

— За этим и приходил, отец Аккиндин?

Монах пожался, поёжился, переступил с ноги на ногу.

Не решаешься что сказать?! Тут никого нет... Братия чем-нибудь недовольна?

— Согрешают иноки, согрешают, — язык наш — враг наш.

— Про лес говорят?

Николка спросил не стесняясь, и Аккиндина озадачил свои вопросом. Тот закивал головой и сокрушенным взглядом и голосом говорил игумену:

— Говорят, говорят, тайное говорят...

— Ступай, отец Аккиндин, — знаю.

Прячась у келий в темноту юркий лавочник добежал до своей келии, удивляясь всеведению Гервасия, решив, что больше он ни ногой к Памвле, пускай как хотят пишут, а он не станет и подписывать жалобы на игумена, скажется эти дни больным. И сейчас же разлегся, охая и крихтя, и приказал послушнику своему никого не впускать из братии.

Николка несколько дней замечал, что братия косится на него и шепчется, и приказал бессловесному Косте позвать из гостиницы Мисаила, им же посланного следить за гостями и за беглым студентом-послушником. Мисаил для Гервасия — верный глаз, еще с той поры, когда вместе по лесу ухаживали за купчихами — были приятелями, а взошла Предтеченского звезда в обители — Мисаил поверил в нее и сделался верным другом Гервасия. Злословил на него, как и все, но не из зависти, а по привычке монашеской, а когда кто-нибудь из монахов говорил про Гервасия зло, особенно посторонним, — приходил к нему и попросту, по-дружески все рассказывал, — оттого Николка и послал его на гостиницу.

Жалобу составляли Досифей с Памвлю самому владыке, советчиков и указчиков не хотели слушать, тайком ходили два дня по келиям собирать подписи — уговаривали приложить руку во имя прославления старца и пустыни, дабы не было поношения непристойной жизнью игумена. Подписей собрали с трудом два десятка — каждый отнекивался, думая, — не повредить бы себе потом, он все-таки игумен и у владыки в милости, — запечатали сургучом в пакет и передали Ионе гостинику. Иона на станцию ездил сам и собственноручно опустил в ящик почтового поезда, — на пакете значилось: в Духовную консисторию.

В консистории разобрал почту протоиерей, член консистории и епархиального совета. Прочитал жалобу на

Гервасия, где упомянуто было имя соборного ключаря, и сейчас пакет в карман, не занес в книгу. По-дружески зашел навестить ключаря Воздвиженский, по-дружески и донос показал. Наутро ключарь к епископу и под шумок — затерли, замяли, а чтоб разговора не было и не писала братия новых жалоб куда не следует — назначили следствие и ревизию монастырских сумм.

Воздвиженский выехал с иподиаконом юрким.

Гостиник Иона встретил обоих с поклоном, проводил в номер и послал кипящий самовар — облегчить душу с дороги. Иподиакон не ждал — к Гервасию после вечера, — не успел игумен уйти на хутор.

Николка, увидав иподиакона, понял, что неспроста тот приехал, облобызал по-дружески и спросил:

— Навестить нас приехали?..

— Отец ключарь приказал кланяться. А я с отцом протоиереем на ревизию к вам, отец игумен. В консисторию на вас поступила кляуза, только не извольте беспокоиться — отец Сергей свой человек, приятель и друг отцу Василию.

Гервасий, как и в первый приезд иподиакона, вручил ему на расход, — теперь уже из своих сбережений, — угостить Воздвиженского.

— Пища у нас, отец иподиакон, сами знаете — скудная, может быть в чем будет надобность — не откажите помочь отцу протоиерею, — вы у нас свой человек, знамый. А завтра после трапезы общей, пожалуйста откусать ко мне — чем бог послал.

В тот же вечер от гостиника весть в обитель приятелям — с ревизией член консистории, и зашумукались по своим нормам иноки. Досифей многозначительно шептал каждому по секрету:

— Член коншиштории, не кто-нибудь. А вы, маловерные, ушумнились, подпишивать не хотели, убоялишь и отреклишь. Допрашивать штанет — вшех нажову, кто недоволен Гервасием, никто не спрячется.

Притаились монахи, ожидая судного дня, радовались, что придется на покаяние в Соловки Гервасию. А когда Воздвиженский, отец Сергей, — в шелковой 'рясе — рукава колокол — приземистый, толстый, нос синеватою грушей, выпячивая живот, с иподиаконом пришел к средней обедне поклонится троеручице — вся братия пришла в собор поглядеть на консисторского протоиерея.

У стен старики, поглядывая на Воздвиженского, шептались:

— Строгий, должно быть, глаза лютые — не сдобровать игумену.

Воздвиженский вместе с братией клал поклоны, пыхтя и отдуваясь, и после каждого заходилась кашлем, отдышавшись, оглядывался по сторонам сурово и снова становился на колени. Все думали, что на Гервасия он и не взглянет, а выберет старцев, и обязательно — Досифея, Иону и Памвлу, и вместе с ними в трапезной, всенародно начнет спрашивать и судить, но когда после молебна к нему подошел Гервасий и, благословившись, вместе с ним пошел поклониться Симеону старцу — переглянулись все удивленно, а подписывавшие жалобу приуныли.

Николка с вечера призвал Паисия и приказал за трапезой подавать обычное, а в покоях обед приготовить на пять человек и принести из подвала лучшего квасу мартовского.

— А подавать Мисаил будет с Костею. На обед позовешь Аккиндина и сам придешь, — нам с тобою первыми отцу протоиерею отчет давать.

Паисий мужицкой смекалкой понял, что Гервасий, если он начнет говорить против, — и его утопит, и решил вывозить и себя, и игумена из колдобины. И все утро бегали монастырские повара то в подвал, то за рыбой на мельницу, в пекарне готовили особенную кулебяку — не посрамить обители, — варили компот, а Паисий из своего погребца, остатки еще от гостей, пару плетеных бутылок послал игумену.

За трапезой братия ловила каждую ложку, поднесенную ко рту ревизором, точно от этого зависело самое главное, следила, как тот нехотя ковыряет в миске, вылавливая рыбу, как потом, когда Гервасий растолок кашу и налил в деревянный ковш старого квасу и подал Воздвиженскому, — и все не торопясь, спокойно, уверенно, — Досифей даже заметил, что у игумена и рука не дрогнула, и толкнул ногою рядом сидевшего Памвлу, говоря ему взглядом, — ты посмотри — заносится... А когда неизвестно откуда и от кого стало известно, что ревизор плохо ест потому, что у игумена будет особый обед после трапезы и что с хутора на заре еще для пирогов принесли масла, яиц и творогу и повара с пекарями, готовя обед, сбились с ног, — Памвла опустил голову и поглядывал зло на старого горбуна, потому что они зачинщики, — до распросов дело дойдет —

все укажут и наложат епитимию на них, на то Николка и сам в подвальном храме отсиживал под началом у Ипатия покойного. Благодарственную молитву пропели, — кланяясь во все стороны и отдуваясь, прошел протоиерей Воздвиженский через всю трапезную, а за ним иподиакон Смоленский с Гервасием, а позади — Паисий и неожиданно — выздоровевший Аккиндин, лавочник, пощипывая ехидно бородку свою. Расступилась братия и безмолвно пропустила всех, — иноки подвигались медленно и все ждали, что выйдет вперед Досифей, остановит в трапезной ревизора и попросит его избрать несколько старцев для суда над Гервасием, — уверенность эта была у каждого с раннего утра, оттого так напряженно братия глядела за трапезой в рот строгому ревизору, а когда разнеслось, что специальный обед у игумена — настало смущение, хотя у многих была еще в этом уверенность, — оттого братия и раздвигалась медленно перед городским протоиереем, а когда все увидали, что за Гервасием Паисий пошел и Аккиндин вынырнул — опустили иноки головы и в молчании проводили шедших на обед к игумену.

За обедом с двух сторон Воздвиженскому подливали в рюмку — Паисий с иподиаконом, а когда хриплый бас протоиерейский засмеялся раскатисто — поняли, что заложили основу следствию, сдвинули с места дело. Особенно в этом старался Смоленский, зная, что нехорошая привычка есть у отца Сергия — звереть от первых рюмок и лучше всего с прибаутками не оставлять ее пустой перед ним и кроме как о еде не говорить ни о чем, о то может случиться и так — озвереть протоиерей от шутки безвременной или еще от чего и на дружбу свою с ключарем не посмотрит, а так повернет, что круто придется игумену, и не только ему, а и многим из соборян, а может быть и того выше. Поэтому и послан Смоленский был ключарем, с благословения преосвященного, — не надеялся в тайных помыслах Оболенский на своего приятеля. А сдвинули с места Воздвиженского, загремел его бас хриплый, — значит прожгла ему душу и сердце огненная влага из плетеных бутылок — отошел человек, размяк — веревки крути из него. Пил ревизор не пьянея, только нос грушею наливался густо бордовою краскою.

Собедали — Костя принес кофе, а Мисаил поставил рядом с кофейником приземистую бутылку пузатую, — иноческую.

Смоленский мигнул Гервасию, вышел с ним на минутку и шепнул ему:

— Не оставляйте только, отец игумен, отца протоиерея своим вниманием — это главное, а мы лучше пойдем — вам говорить надо по делу с ним, один на один беседа всегда душевнее.

Увел Паисий к себе и Аккиндина и иподиакона, доканчивать у себя трапезу.

В сумерках, поддерживая под руки, отвел Воздвиженского Мисаил с Костею бессловесным в гостиницу, а Смоленский ночевал у эконома в келии.

Наутро проснулся Воздвиженский в номере — в сапогах, и в рясе, с мутною тяжелой головой — потянулся к графину с квасом и стал вспоминать, что собственно с ним вчера было. То, что он был в трапезной, а потом у игумена, это он хорошо помнил, помнил обед и начало разговора с игуменом о ревизии, а потом — закружилась голова и обуял сон.

Выпив залпом два стакана маслянистого крепкого кваса, похожего больше на брагу, полез в карман за платком и выронил четыре бумажки полтысячных и сразу вспомнил, что целовался с Гервасием от умиления перед его энергией — все хозяйство в своих руках держит и иноков в послушании, а если и вышел такой случай, что не угодил нескольким — в семье не без уroda, — зависть человеческая живет и под черной мантией.

Отдуваясь, поднял бумажки и, силясь припомнить, подумал вслух, урча густым, низким басом:

— А вот этого уже совсем не помню...

Любовно разглядел новенькие кредитки, полюбовался портретом Петра...

— Великий был государь! Суровый.

Вспомнил, что он тоже считается суровым и грозным, и нажал кнопку звонка, — вбежал Мисаил.

— Отец иподиакон в номере?..

— Изволили почивать, отец протоиерей, — сейчас только умылись — я позову.

У Смоленского тоже ломило голову и шуршали бумажки — помельче, числом пять, с женским портретом. Предупредительно взглянул на Воздвиженского.

— Надо, отец иподиакон, за дело теперь приниматься, — на книги взглянуть хочу, — идемте к игумену.

У Гервасия с утра кипел самовар, — про всякий случай, — и когда Смоленский вошел в покои игуменские с Воздвиженским — Костя уже наливал стаканы, а Никола, облобызав лоснящееся протоиерейское лицо, пригласил

выпить по стакану чая и налил поверх чайной ложки ямайского рома.

Протоиерей старался не глядеть в лицо Гервасию, а когда утроба его согрелась ромом — снова добродушие появилось и зарокотал густой бас:

— А после чая, отец игумен, за дело, — книги мне покажите

Николка испуганно взглянул на Смоленского, тот успокаивающе улыбнулся ему и поддакнул Воздвиженскому:

— Разрешите, отец протоиерей, чтобы не утруждать вам себя, я подсчитаю расходные статьи обители.

— Прекрасное дело надумали, а я еще этим временем выпью стаканчик чайку с отцом игуменом, — ароматный чаек, душистый!

Николка снова взмахнул бутылкою, опрокинул ложку и долил чаем.

Смоленский, щелкая на счетах, перелистывал книги и, мечтая, как он подарит супруге своей радужную и как она ахнет от радости и бросится его обнимать, — четыре он решил спрятать и самому о них позабыть. До него все время доносился довольный урчащий бас Воздвиженского. А когда иподиакону надоело на счетах без толку шелкать и шелестеть книгами, он вернулся в приемную.

Ну, отец иподиакон?..

— Два раза прощелкивал по всем статьям — все правильно!

— Ну, а правильно, так и глаза нечего портить, вот что, — а какие важнейшие статьи расхода показаны?

— Прием почетных гостей, улучшение хозяйства и епископское облачение.

Перед трапезой Паисий пришел пригласить на обед в свою келию, что была в самой трапезной, сейчас же за кухней и, узнав от Гервасия, что ревизия кончена, предложил осмотреть монастырское хозяйство. Воздвиженский вспомнил, что в жалобе было написано, что игумен непотребную ангельскому чину инока ведет жизнь, посрамляя обитель со скотницей, и захотел взглянуть на нее — пошел хозяйство осматривать. Гервасий долго водил его по монастырю, показал ризницу, пекарню, просфорную, — протоиерей отдувался, фыркал, вытирал все время платком со лба пот и, не дождавшись, когда игумен на скотный двор поведет его, — спросил Гервасия:

— А где у вас скотный двор?

— За оградю, отец протоиерей.

— Хочу и там побывать.

Николка повел его через конский, долго показывал лошадей, заставляя конюхов выводить всех по очереди и досадуя, что невозможно отделаться, дотянул до трапезы. Ударили несколько раз в средний колокол — на трапезу не пошли, только Паисий все время торопил не опоздать к его обеду, чтоб уха не перешла монастырская, — он называл ее иноческая, а селянку из стерляди свежей — игуменской. Воздвиженский долго ходил на скотном дворе, благословил скотницу мать Арефию и удивленно поглядывал на других монашек — рябых, веснушечных, неуклюжих и удивлялся в душе Гервасию, потом вспомнил про хутор и спросил:

— А на хуторе у вас тоже... (хотел сказать — такие же скотницы, но, запнувшись, окончил)... хозяйство?!

Николка покраснел, Паисий выручил:

— Теперь туда, отец протоиерей, не доберешься, дороги попорчены — колдобины...

— Ну, если колдобины, тогда не поеду, — мне вредно.

После обеда у Паисия и иноческой ухю и игуменской селянкой, Воздвиженский передал Гервасию жалобу Досифея.

— Акт я завтра составлю — подпишет братия, а это вам пригодится, — тут они сами подписывались, посрамили себя, — вразумите их и наставьте на путь истины — по неразумению своему написали клязу.

Николка умоляюще взглянул на Воздвиженского и нерешительно начал:

— Отец протоиерей, во имя правды и истины...

— Ну?..

— Обелите меня перед лицом братии...

— Как?

— Посрамите ложь доносчиков явно, — каждому.

— Позовите главных в покои к себе, а в назидание, — именем владыки епитимию наложите каждому.

Когда Воздвиженский осматривал монастырское хозяйство, братия смотрела на проходивших и шептала, что ревизию производит приехавший, а писавшие жалобу на Гервасия, зная, что ревизора кормят и поят у игумена без перерыва два дня и что приехавший благодушно и громко смеется с игуменом, ожидали, когда настанет тот

час, когда призовут на допрос их и посрамят перед братией.

Вызвали сразу двух — Досифея и Памвлу, зачинщиков — за обедом Аккиндин указал на них, — про остальных сказал, что невинны, по недомыслию своему были соблазнены злоречивыми устами подстрекателей, клеветников игумена.

Памвлу вошел, бухнулся в ноги Воздвиженскому, встал и снова, стукнувшись лбом об пол, поклонился Гервасию и загнусавил слезливо, сваливая всю вину на горбатого Досифея. Старик поклонился и упрямо молчал, взглядывая исподлобья то на игумена, то на ревизора. Гостиник Иона третьим пришел, когда еще Памвлу продолжал рассказывать и, угрюмо опустив голову, молчал. Протоиерей смотрел на них сонными глазами и, чтобы окончить скорее всю процедуру, прогудел Гервасию:

— Именем владыки отец игумен епитимию наложит каждому.

Николка встал с кресла и, сверкнув глазами, обратился к Памвле и Досифею, говоря о милости и милосердии, а так как правда восторжествовала и клеветавшие и помимо того наказаны, то он епитимию накладывать не будет, а чтобы раскаяние их было истинным, никто бы им не мешал молитву творить, то он поселяет их в скиту — в тишине и в дали от общения с миром и запрещает им выходить за скитские ворота двенадцать месяцев. Потом — взглянув на Иону — закончил:

— И ты, отец гостиник, разделишь с ними в скиту молитву, а на твое место временно, пока рясофор не примет, будет Мисаил, послушник.

И неожиданно — как всегда и везде — вбежал Васька, взлохмаченный, без скуфейки, плачущий. Скорее это не плач даже был, а глухой, придушенный вой, что-то похожее на скулящего пса или волка. Блаженный вбежал, взглянул на собравшихся и бросился на колени. Николка испугался, думал, что Васька опять начнет свои выкрики про Феничку, и, шагнув к нему вперед, не давая ему говорить, начал ласково спрашивать, одновременно объясняя Воздвиженскому жизнь и болезнь блаженного:

— Что тебе, Васенька, что?

Не говорил, а мычал сквозь слезы:

— Спаси, сохрани, помилуй...

— Ну что? — чего ты?

— Бьет меня, бьет... меня мучает бес, бес мучает, а он поленом меня, поленом...

— Досифей?..

— Ночью меня, ночью... Связанного...

Лицо Васьки дергалось, по щекам текли тяжелые капли, он их утирал кулаками и размазывал.

— Отпусти меня, отпусти, Николушка...

Куда отпустить?

К старцу моему отпусти, к Акакию... Старец любил меня, утешал... Отпусти, Николушка! Я ему поклонюсь, до земли поклонюсь, Николушка, — отпусти к нему.

— Ступай, Васенька!

Васька вскочил и, озираясь на Досифея, точно боясь, что горбатый старик его остановит и свяжет, выбежал из покоев игуменских и бежал до скита не оглядываясь.

С Воздвиженского, при виде слез блаженного, при виде измученного и больного, в эту минуту почти сумасшедшего, — сошел обеденный хмель, глаза налились кровью, и он, почти озверев, закричал на Досифея, Иону и Памвлу, задыхаясь от волнения. И это даже был не крик, а скорее рычание зверя гневного:

— В скиту запереть! На всю жизнь! Из кельи чтоб никуда, никуда из кельи! Запереть их, запереть!

Кричать уже не хватало сил и воздуху — упал, задыхаясь, на кресло.

Паисий замахал руками монахам и зашептал сурово:

— Слышали, что ли?! В скит идите, идите в скит!

Горбун не проронив ни звука, шаркая сапогами, вышел не поклонившись, а за ним — Иона с Памвлою, опустив головы.

У Воздвиженского стучали об стакан зубы, но и после воды он долго не мог еще придти в себя от волнения и отдышаться.

III.

На хутор Николка приходил затемно, — в скуфеечке, в темном подряснике, пронизанный осенним ветром и мелким дождем, засекавшим лицо. Садился на скамью у стола, клал на него тяжелые руки, взглядывал на Аришу и не знал, что говорить, что делать — пугала его колыбель под белым пологом, плач ребенка и страшно было смотреть на нянчившую мать — Аришу. Озорной, уверенный в своей красоте — брал и не думал, что дальше, — знал, что никто не придет спрашивать с инока. Когда и Ариша еще была полна радостью и не плакал беспомощно кто-то в люльке,

жил тем же чувством свободы — никто не узнает, никто не спросит и еще слаще — не нужно ждать, караулить, прятаться в чашу — спокойно бери, покоряя ласкою, — не думалось даже, что после будет. Даже в тот вечер, когда встретил ее в лесу и передал деньги ему для него, для его жизни, — он, этот надоедливо плачущий сосунок, тоже еще был далек, и издали Николка гордился им перед самим собою, а когда понял, что у него, у монаха, у игумена Гервасия жизнь связана — испугался, и ребенок стал для него врагом. В первый момент почувствовал в нем врага неожиданно, — он прервал его радость и ласку с Аришею, закричал, когда в нем сердце падало от горячей близости, — крик ребенка прервал напряжение, Ариша рванулась, подбежала к плачущему, а у него сердце сразу качнулось досадою; знал, что не она виновата в прерванном и не плачущий, а досада перешла в озлобление. Вскочил, поспешно оделся и выбежал в лес, в темноту, и спотыкаясь, вернулся в монастырь, в келью. Несколько дней потом не ходил на хутор, а когда тело начало душить жаждою; не выдержал, побежал к Арише.

Донос и ревизия отвлекли — некогда было ходить. Посрамив доносчиков, снова пошел на хутор, торжествуя своей победой. Казалось, что теперь ничто ему помешать не может, не было даже чувства озлобленности к плачущему существу, а вошел к Арише, увидел люльку — к горлу подступила досада. Растерялся и не знал, что говорить и делать, — злая жадность проснулась в нем.

Ариша чаем его напоила и, покорно поглядывая, сказала просящим голосом:

— Иди, Коленька, к себе, — ему нездоровится, да и мне будет плохо.

И сразу озлобленность прилила к груди, — хлопнул дверью и опять ушел в монастырь. Несколько дней не ходил на хутор, а жадность мучила. Точно вор, от самого себя прячась, пошел к Арише. Вошел, взглянул на нее, — исхудавшее лицо на него взглянуло жалобно и покорно.

— Пришел ко мне?! Да, пришел? Только не мучай меня, не мучай! Делай, что хочешь — вся ведь твоя...

Подошла к нему и неожиданно на колени упала, приложив к руке его сухой и горячий лоб, — слезы обожгли ему руку градом — поднял ее виновато...

— Я не сержусь. Досадно мне — вот что!

Утром до рассвета его провожала и, когда замолкли

шаги, вернулась в келью свою и зашептала, наклонившись над ребенком:

— Погубил он меня, всю жизнь мою погубил.

А потом приходил, садился у стола и не знал, что говорить и делать. Молча пил чай, молча гасил лампу и молча в темноте находил Аришу, и молчание это разрубало прошлое; Ариша была покорная и безразличная.

Но с каждым разом реже и реже к ней приходил. Сам даже находил причины не идти к ней, — то осенняя ночь дождлива, то гололедица, — в темноте поскользнуться — руку сломать, ногу вывихнуть, то снег выпал — следы останутся, то замела метелица. А к весне от Великого поста до Пасхи навестить не пошел ни разу.

И с каждым днем, отходя от Ариши, снова предавался мечтам о митре, об архимандритстве, о скором открытии мощей, и когда, вместе с ласточками, потянулись в монастырь первые богомольцы и странники, начал ожидать чудес. Снова наказал Аккиндину сидеть в нижнем храме старого собора и записывать чудеса старца, явления его в сонном видении, предзнаменования...

Каждый день вечером призывал Аккиндину и спрашивал — не было ли чуда сегодня. Лавочник изо дня в день отвечал одно и то же:

— Нет, отец игумен, не было.

— А, может быть, ты не умеешь, отец Аккиндин; может быть старец тайные чудеса творит, а ты недостойн узреть их?!

— Может быть, и это, отец игумен!

— А ты молись, Аккиндин, молись!

Несколько раз был на хуторе, — сосна гнала смолу душистую, отошел мох и зеленые гусеницы разворачивали резной папоротник, но к Арише уже не тянуло — один только раз спросил, не называя ее по имени:

— Здоров?

Ариша не знала, что отвечать, замялась и не выдержала:

— Около стеночки начал ходить.

Осмотрел скотный двор и, уходя, благословил и Аришу и скотниц — не заглянул даже в келью.

Снова принялся за хозяйство. Целую зиму ждал, что из синода напишут об открытии мощей, — укажут срок, предпишут что-нибудь, — ничего. Съездил после Пасхи и в город к епископу, — но не застал, — соборный ключарь сказал, что владыка в столице хлопочет. Успокоился.

Начал ждать, что пришлют ученого иеромонаха подготавливать обитель — ни иеромонаха, ни вестей, ни чудес. Решил ждать и хозяйствовать. Неизвестно зачем пересмотрел ризницу, заставил выбелить заново монастырские стены и по бокам святых ворот расписать сцены из жизни старца, — построение обители, врачевание старцем иноков, чудесное избавление от казни и принятие схимы. Самоучка-монах с послушником целые дни стояли на лесах под солнцем и мазок за мазком выводили деревянные келии, иноков, старца, темные сосны и голубое до синя небо. Подходили странники и богомолки, умилялись рисунками, и приходивший взглянуть на работу Гервасий начинал объяснять каждому и каждый раз по-иному — житие основателя пустыни.

Рисовавший монах и послушник оставляли кисти и начинали прислушиваться, удивляясь, — откуда только придумывает игумен о жизни старца и пустыни, а когда уходил Гервасий — монах начинал сам рассказывать, вспоминая все, что читал в житиях преподобных иноков и святых.

Послушник иногда говорил:

— Отец Валентин, так ведь это же из жития преподобного Саввы?!

— А ты, брат, не мудрствуй лукаво, вот что! Жизнь иноческая везде одинакова. И наш старец жил тою же жизнью, о том и предание говорит, — а ты мудрствуешь, пиши-ка лучше вот сосны...

По-старому понаехали на дачу купчихи и приходили к игумену благословиться пожить на лето. Николка с сожалением вспоминал былое время, когда с приятелями гулял по лесу, уводя за малиною купеческих дочек или вдовых мамаш, и завидовал послушникам, прохаживавшимся мимо окон...

Около мельницы встретил старца Акакия, — длинная полотенчиком борода белая, серебряные ровные волосы, с посошком и сзади в нескольких шагах в черной скуфейке, в старом заплатанном подряснике, длинный, сухой и тихий — Васька. Увидев Гервасия, он взглянул на него и сейчас же опустил голову. Старец к игумену подошел, блаженный остановился вдали, не поднимая голову, и только шевелил непрестанно узловатыми пальцами длинных рук. Старец взглянул на Николку долгим и пристальным взглядом, но таким же добрым и ласковым,

каким смотрел на каждого человека. Благословился у Гервасия и тихим, беззвучным голосом сказал ему:

— Не искушай господа бога твоего, не уподобляйся соблазнителью рода человеческого. Ты инок, — тебе дано многое и многое с тебя спросится. В твоих руках души кающихся и смиренных... Не можешь в обители идти путем истины — уходи в мир — обретешь истину... Но путь твой начертан, — не искушай господа.

И сразу Николку охватил страх, неожиданный и непонятный, проснулось мучением чувство ненависти и отчужденности к ребенку своему и к Арише, в первый раз почувствовал, что запутался и не может теперь найти выхода. Монастырская жизнь приковала к себе желания и мысли и остро поднялось желание к себе и желание послужить обители и опять-таки для себя, неясною картиною пронеслось торжество открытия мощей и потускнела Ариша, Феничка и вся мутная жизнь во имя тела — отшатнулась душа от женщины. Знал, что теперь нельзя на погибель Аришу бросить, нужно только отойти от нее, а иначе — расстрижение, Соловки, гнилой подвал храма и смерть, и все, к чему несколько лет стремился после Фенички — прахом пойдет. И неожиданно для себя упал в ноги Акакию с воплем:

— Отпусти мне грехи, старче, укажи путь истины...

— Встань! Иди путем истины и смирения. Многие заботы имеешь ты и соблазняешься о них плотским житием бренным. Житейское море переплыть тебе не дано сил и разума, направи свой челн обители.

Акакий медленно поднял руку и указал по направлению к хутору:

— Искушаем был, согрешил — покайся, не имеешь часу в молитве пребывать — делами покажи, тебе много дано и много спросится. А к жизни той, — рука его снова приподнялась и вытянулся указательный палец, — не касайся больше и не доводи человека до гибели, не одна душа соблазнится о тебе и погубит себя и других... Согрешил — искупи смирением и любовью и не отнимай жизни у них.

Васька долго стоял молча, прислушиваясь к словам старца, и после того как Николка встал, блаженный подбежал к Акакию, поклонился ему до земли, встал, обернулся к Николке и ему поклонился также. Гервасий только теперь заметил юродивого и от неожиданности испугался.

Блаженный, поклонившись Николке, без выкриков, тихо начал ему говорить:

— Николушка, не бери меня от Акакия, старец не бьет меня, старец ласковый.

— Ласковым словом душу человеческую открывать, а душа инока в покаянии и смирении, — Васенька тихий, когда не обижают его... смиренный инок.

— У старца жить будешь, не возьму тебя от него, — живи с богом, Васенька.

Вместе с Акакием Николка пришел до казенного леса, до того места, где продан был монастырский. Полпенские мужики его корчевали. На месте прошлогодних порубок пробивался молодой зеленый кустарник и буйно разрасталась трава. Старец печально глядел на пустошь и, не обращаясь ни к Васеньке, ни к игумену, говорил:

— Красота божья загублена. Молодым я в обитель пришел, а лес этот и тогда вековым стоял, а теперь — запустение и оскудение.

Николка не выдержал, почувствовал в этих словах укор и стал оправдываться:

— У обители расходы большие, гостей принимали... и мощи...

Старец прервал его:

— Я говорил тебе, инок, — много тебе дано и много с тебя спросится.

Акакий пошел в чащу, в казенный лес. Васька по-прежнему шел в нескольких шагах от него. Игумен поклонился старцу и пошел вдоль рва, отделявшего монастырский лес от казенного. Весь ров порос папоротником и узкою полосой делал просеку. Николка никогда еще не был здесь. Лес был тихий, суровый, темный. Сосны верхушками закрывали небо и шумели суровым шепотом. Захотелось узнать, куда приведет граница. Сырой, никогда не просыхавший здесь мох охватил глубоко ногу. Далеко, сквозь этот узкий и темный коридор бурых сосен виднелась яркая полоса, просвет, — железнодорожный путь просекал лес. Ров окончился у полотна дороги и снова врывался в темную глубину. День был солнечный, ясный и даже горячий, а по лесу тянуло холодом, сыростью, иногда нога хлюпала по болоту. Потом постепенно лес начинал редеть и с одной стороны начинались поля, монастырский стоял к ним сплошной стеной. С бугров, где стояла деревня, — Николка даже не знал какая, — извивалась дорога и уходила в лес. Николка решил по границе дойти до нее,

надеясь, что она выведет его ближней дорогою в монастырь. По опушке дошел до этой дороги и пошел лесом. В стороне, почти у самой дороги, на монастырской земле стояла изба. Николка захотел есть и свернул к ней. Сколько лет жил, почти весь лес им исхожен от монастыря к Полпенке, а в этой стороне, вправо от мельницы, к железной дороге и за нею никогда не бывал. Должно быть, и монахи не знали про эту хату. Около нее на белом песке копошилось два черномазых, курчавых мальчика в одних рубашонках. Увидев монаха, они убежали в избу. Навстречу к Гервасию вышел горбоносый седой старик и начал кланяться.

Николка даже смутился и спросил его:

— Это лес монастырский?

Старик усмехнулся, глаза блеснули насмешкою.

— А вы же сами откуда будете?

— Из монастыря.

— И не знаете, что это лес монастырский?!

— Есть у вас поесть что-нибудь?

— Отчего не быть, — мы живем этим — прохожих пускаем ночевать, кормим.

Старик пропустил его в хату, Николка взглянул в угол, хотел перекреститься, иконы не было.

— А почему у вас нет иконы?

— Зачем же икона нам?

— Как зачем, в каждом доме у православного должна быть икона.

— У православного может быть, а у нас не зачем ей — мы евреи...

— А как же вы на монастырской земле, кто позволил?

— Еще мой отец тут корчму держал, он и знал кто позволил ему, а мне ничего не сказал — помер себе и не сказал.

Внутри этой хаты пахло тем особенным запахом бедного еврейского жилья, пропитанного чесноком, луком и примесью еще чего-то острого и съедобного.

Старик на минуту вышел и вернулся с сыном. Курчавая голова, с горбиною большой отцовский нос и черные живые глаза.

Молодой одним взглядом оглядел с ног до головы монаха и, не снимая картуза, поклонился ему.

Старик начал снова:

— Это мой сын, Моисей, и дети его, а жена в город уехала.

У Николки сейчас же мелькнула мысль, — вероятно и старец Симеон и чудес не творит здесь, что на монастырской земле неверные живут, нечестивые, и решил выселить из корчмы евреев, чтобы не было православным соблазна. Не докончил хлеб, встал из-за стола и хотел уйти. Молодой — улыбаясь так же как и отец — немного насмешливо спросил монаха:

— А может быть батюшке угодно будет и выпить?!

— Чего выпить?

— Вина может быть?! Казенного?

Николка вскрикнул сердито:

— Какое же вы имеете право водкой торговать, спаивать православных людей, идущих из обители и в обитель поклониться нашему старцу?!

— А разве я должен отвечать каждому монаху?!

— Я игумен.

Старик, молчавший и одобрительно поглядывавший на сына, услышав, что монах этот — игумен, сейчас же начал говорить о том, что водкою не торгуют и богомольцев не спаивают, а если кто из крестьян, возвращаясь из города, зимою останавливается отдохнуть, покормить лошадей и напиться чаю, то не отказывают, если попросят.

— Надо же, господин игумен, отогреться человеку, без этого он и домой не доехал бы, а мы вином не торгуем, у нас если когда какая бутылка найдется — для себя, Мойша вот после работы одну рюмочку выпивает.

Николка думал свое и говорил вслух:

— От этого и старец наш не творит чудес, прогневался из-за того, что на монастырской земле нечестивые проживают, от этого и у монастыря доход уменьшился.

— Старец ваш, батюшка, на бедных евреев не будет гневаться, потому что он знает же, что у них дети есть и им тоже покушать нужно.

— А все-таки вам придется переселиться куда-нибудь, нельзя на монастырской земле оставаться вам. Я не позволю этого...

Не простившись, Гервасий ушел, а за ним через минуту, поговорив с отцом, выбежал и молодой Мойша, нагнал игумена и начал ему говорить:

— Вы сказали вот выселиться, а куда же мы отсюда пойдём? Чем же кормиться нам будет? А мы все будем молить нашего бога, чтобы он послал чудеса старцу вашему.

Николка упрямо твердил, что из-за них может обеднеть

и обитель, и старец еще больше прогневается на иноков и на него — игумена.

— Может быть, он сегодня и привел меня к вам, указал на вас, а я против воли его оставляю вас жить на монастырской земле?!

— А если ваш старец привел по другому случаю...

— По какому?

— А чтобы помочь нам. У обители мало доходов и у нас странников. Вот в других монастырях, где ваши святые есть — и чудес много, и евреи живут. Я знаю, что в Киеве — много евреев, очень даже много, и святых ваших тоже в Киеве много, и святые не гnevаются на бедных евреев и чудеса творят, и евреи даже помогают им чудеса творить.

— Как помогают?

— Ну, помогают, чтобы евреи уверовали и в чудеса ваших святых и вашего бога.

— Что тебе нужно?

— А чтобы господин игумен не выселял бедных евреев из старой корчмы, она давно тут стоит, мой дедушка корчму эту держал и ваш старец не гневался, и странники шли в монастырь, и дедушка мой кормился от странников и старец не гневался, а моего дедушки дедушка тоже корчму держал и старец тоже не гневался, так зачем же он будет гневаться на моего дедушку и на отца моего и на меня? В Киеве же ваши святые не гnevаются на нас!..

Еврей говорил без конца, торопясь высказать и досказать, что его семье тоже надо кормиться и жить, как и всем людям, и что всюду есть и святые и всюду евреи живут и кормятся, и что у каждого народа есть святые свои, и что они тоже творят чудеса, а православный бог ни на кого не гневается, и что у евреев тоже были свои святые — Моисей, Аарон, пророки, и они тоже творили чудеса для еврейского народа, и главное то, что еврейские пророки нарисованы в православных храмах и об их учениях и чудесах в православных храмах читают, и монахи их почитают за святых и пророков.

Николке давно надоело слушать еврея и не хотелось возражать ему, может быть еще и потому, что не знал, как возразить, и, махнув рукою, сказал ему:

— Ладно, живите пока, потом видно будет.

— Спасибо вам, господин игумен... А что чудеса ваш старец будет вторить, это же я хорошо знаю, и на бедных евреев в старой корчме не будет гневаться.

Через несколько дней сходил после трапезы на хутор. Аришу встретил спокойно, и колыбель не смутила. Но в келье ее не остался, вышел во двор и все время говорил о хозяйстве, потом ей сказал:

— Проводи меня, надо говорить один на один.

В лесу передал ей деньги...

— Это ему и тебе тоже. Будут еще — принесу... На хутор редко буду ходить, нельзя, — братия ропщет, могут узнать в городе...

У Ариши вздрогнул голос, и она выронила бумажки, Николка их поднял ей.

— Эх, Коленька, погубил ты меня, а теперь уходишь...

— Не ухожу я, а нельзя мне бывать — братия ропщет.

— Уходишь ты от меня — вот что, и от него, от него уходишь, это он тебе помешал.

— Неправда!

— Я тебе вроде забавы нужна была, а теперь он... Эх, Коленька!

Николка откачнул ногою лежавшую ветку сухую, поморщился и, не прощаясь, сказал еще несколько слов и ушел в лес.

— Не понимаешь ты ничего!

— Все понимаю, все, Коленька...

— Прощай!

— Не придешь, значит, больше, — не нужна стала!

Захрустели под ногами сухие ветки и слился в сумерках с лесом черный подряник.

Молодой вернулся в корчму, отец пугливо спросил его о судьбе — быть корчме или придется по миру идти, уезжать куда-то с насиженного гнезда, разорять свою жизнь. Досадовал на православных святых, на монастырь, на монахов. Молодой долго думал, потом мотнул головой и сказал:

— Старец их сотворит чудо, и я знаю как, из корчмы не уедем мы...

По-прежнему заходили в корчму странники, ночевали во дворе в плетневом сарае или подле корчмы в лесу; заезжали крестьяне поить лошадей, останавливался обоз — привычно скрипел у колодца журавль, опуская на длинном клюве ведро, гремя им в глубине и звонко расплескивая воду; как всегда выбегала жена молодого Сарра навстречу странникам и приезжим, разводила в чулане самовар, резала хлеб, доставала из погреба водку. Молодой уходил иногда в поле, ходил по межам, —

хлеб выколосился и желтел, шелестя переливами. Потом Мойша как-то утром запрет мерина и, никому ничего не сказав, уехал в город и вернулся к вечеру. Через неделю опять уехал и стал дожидать жнивы. А когда на бугры в первый раз вышли крестьяне косить хлеб — в этот день ночью молодой не спал, долго возился в амбаре, сходил на поле, запряг мерина и до рассвета уехал в город.

У дороги под монастырским лесом с угла начинать косить старшему в мужицкой семье. Выехал в поле старик с семьею на целый день, распряг лошадь, стреножил ее и пустил пастись по опушке. Молодайка укрепила к оглоблям небольшую слегу, перевязала веревкою и повесила люльку. Потом старик скинул зипун, распоясался и сказал сыновьям:

— Идем начинать, ребята.

От леса с угла блеснула стариковская коса, а за нею пошли еще две, — взмахнул старик несколько раз и крикнул:

— Стойте! Чудо господне!

Сыновья подбежали с бабами.

— Икона явленная, — старца пустытника!

Во ржи, на пять взмахов мужицкой косы, на земле стояла икона, а подле теплилась толстая восковая свеча.

Бабы от радости заплакали, начали молиться, а потом побежали в поле людей сзывать. Сбежавшиеся крестьяне кланялись до земли, боясь прикладываться, потом начали думать — как быть, что делать с явленной иконой, послали в село за священником и за становыми. Из корчмы на шум прибежал старый еврей и удивлялся вместе с крестьянами.

Первым приехал священник, расспросил, где и как нашли ее, кто первый увидел, потом рассмотрел икону.

— Старая, схимник на ней, — вспомнил про монастырь и добавил, — основатель пустыни на ней, Симеон старец, — надо бы за игуменом съездить. Пошли-ка, Василий Никифорович, своего Василия, — на твоей земле она появилась.

Василий всю дорогу, до самого монастыря гнал мерина, на взмыленном подъехал к святым воротам, бросил его и побежал в монастырь, забыв даже второпях снять шапку и перекреститься. У ворот увидел отца Авраамия, вратаря, и бросился к нему спрашивать:

— Отца игумена увидеть мне! Чудо господне, чудо!

— Какое чудо?

— Икона объявилась чудесная у отца на клину, — старец ваш Симеон. К игумену мне.

Авраамий заковылял с Василием к покоям игуменским, сказал встретившимся монахам о явлении старца, и в один миг по монастырю разнеслась весть о чуде и все потянулись к игумену.

Николка из окна увидел Авраамия с запыхавшимся мужиком и бегущих монахов, испугался, подумал, что случилось недоброе что, и выбежал на крыльцо. Василий подбежал к порожкам, упал на колени и начал:

— Отец игумен, икона вашего старца на клину объявилась у отца, чудо господне — народ меня за тобою послал в монастырь, там и батюшка наш, отец Афанасий, это он посоветовал...

— Что посоветовал?

— За вами съездить, да поскорее.

Николка торжественным и торжествующим голосом обратился к столпившимся монахам и богомольцам:

— Братие, старец наш во славу пустыни совершил чудо явления своего...

В толпе легким ропотом пробежало из уст в уста:

— Чудо, великое чудо, старец наш чудеса являет.

И тем же торжественным голосом игумен обратился к Василию:

— Расскажи перед лицом иноков и всех людей, как было.

Мужик в поспешности забыл даже снять шапку, Авраамий сзади ему сказал:

— Да ты шапку сними!

Василий, опомнившись, снял шапку, махнув ею широко в воздухе, головы слушающих вытянулись в ожидании.

— Ехать надо, отец игумен, староста за станovým послал.

Игумен рассердился и крикнул на Василия:

— Рассказывай!

Торопясь, путаясь, Василий рассказал, как они с отцом и с братом выехали хлеб косить и когда первым пошел, по обычаю, начинать старик, не успели начать и рядов — отец остановился и крикнул — стойте, чудо господне, — а потом сбежался народ и его послали в монастырь.

Николка слушал рассказ и повторял, смотря на монахов:

— Чудо, великое чудо!

Василий кончил и опять обратился к Гервасию:

— Так едемте, отец игумен.

Николка велел монахам ждать у ворот соборне

новоявленную икону старца, приказал запрячь линейку, а на телеге Василия ехать следом кому-нибудь не отставая. Потом вбежал в покои, надел клобук и мантию и позвал с собою Аккиндина и эконома Паисия — свидетелями великого чуда.

Послушник гнал лошадей лесом, линейка подпрыгивала на корнях, цепляясь в других местах за стволы; проезжая мимо корчмы, Николка увидел опять двух черномазых мальчиков, копавшихся у порога, и вспомнил слова еврея, говорившего, что старец будет творить чудеса и еврейская корчма не помешает этому, и подумал, что может быть хорошо даже, что не выселил их с монастырской земли.

Выехали на опушку и увидели собравшихся около иконы. В середине стоял священник и становой.

— А свидетели кто? Кто первый икону увидел?

Старик Василий повторял:

— Я увидел первый, и свечка горит перед нею...

— Все равно нужно показание составить.

Гервасий с монахами подошел к толпе, перед ним расступились, и он ни слова не говоря поклонился иконе до земли три раза вместе с Паисием и Аккиндином, встал и подошел к становому.

— Великое чудо, истинно великие чудеса старец творит Симеон!.. Молебствие отслужить надо на месте явления.

Становой отозвал игумена в сторону вместе со священником и вполголоса забасил:

— Конечно, отец игумен, чудо великое, но только необходимо установить, что икону сюда никто не поставил.

Николка всплеснул руками:

— Но ведь это кощунство же, кто же решится на это?

— Тут недалеко в лесу корчма жидовская, — нужно расследовать.

Игумен запротестовал, что неверный не посмеет этого сделать, иначе нужно бы разрушить и логово его и разогнать его семью.

— Не могу, отец игумен, никак не могу, обязан установить действительность чуда, а до этого данную мне властью не разрешу ее трогать.

Николка вспомнил, что велел инокам ждать его с иконою у святых ворот, и если он не привезет ее сегодня, то в обители будет большое волнение, — и у него даже мелькнула мысль, вспомнил слова еврея — что если бы даже и поставил ее корчмарь, то теперь уже нельзя отказаться от явленной иконы старца во имя чуда, и еще

горячей стал убеждать станового сейчас произвести дознание, спросить старого еврея, сына его, всю семью, но непременно сегодня же увезти икону в обитель.

— Вы иноков лишите великой радости, они ждут ее, ждут и до ночи будут ждать, пока мы не привезем ее.

Становой оставил около иконы стражника, крестьяне разошлись на поля, мужик Василий с сыновьями начал свое поле косить с другого конца, а игумен с монахами, с становым и священником стали расспрашивать старого еврея, не поставил ли он иконы или не знает ли кто поставил. Старик смотрел удивленными глазами и заклинал, что пришел сюда потому только, что услышал шум.

— А где твой сын? — спросил становой.

— Его дома же нет, господин становой!..

— Где он?

— Вчера еще в город уехал и совсем не ночевал даже дома.

— Хорошо, пойдем в корчму, сам посмотрю.

Осмотрел становой корчму, расспросил еврейку — и та поглядела на него удивленными глазами, — все видели, что старый корчмарь ничего не знает.

— Ну, хорошо, отец игумен, берите икону пока в монастырь.

Николка сел на козлы с иконою вместе и возницею, а сзади на линейку сели становой, Паисий и Аккиндин. Ехали осторожно и когда стали к монастырю подъезжать — зазвонили колокола. Николка вздрогнул, обрадовался и глаза его засияли радостью и торжеством.

У святых ворот все время толпились богомольцы, и черною стеною стояли монахи, ожидая с явленною иконою игумена. Высокий, плотный старик иеромонах Рафаил, всегда шумный и многоречивый, настаивал, что явленную икону необходимо встретить торжественно, в облачении и с хоругвями, потому что старец Симеон истинно божий угодник, явно и всенародно творит чудеса и все равно мощи его будут открыты, а по своим чудесам он и теперь святой и преподобный старец. Братия начала волноваться и стихла, когда пришел из скита Акакий. Рафаил стал и ему доказывать то же. Старец склонил голову, помолчал, потом шевельнулась его длинная белая борода полотенчиком, и он, подняв голову, обратился к Рафаилу и инокам:

— Братия, пока не прославлен и не причислен к лику святых Симеон старец православною церковью, дотоле мы

не можем и образ его явленный встречать со служением и молитвами. По моему разумению, ожидать без торжественности, со смирением иноческим и не искушать господа. Воистину, старец великий подвижник, но преступить закон церкви мы не смеем.

Монахи долго еще волновались и решили поступить по совету старца и встречать явленную икону только колокольным звоном.

Николка торжественно пронес образ через святые ворота в новый собор и преклонился перед изображением старца вместе с братией, а потом вместе со становым прошел в покои свои, велев запереть двери храма.

Паисий приказал готовить ужин для станового и отнести к игумену.

К вечеру к монастырю подъехала и вторая телега.

Молодой корчмарь, не заезжая домой, другою дорогой из города поехал в монастырь к игумену.

Пройдя святые ворота, он остановился и стал оглядываться, к нему вышел из келии вратарь Авраамий.

— Что тебе нужно?

Голос у того задрожал, и он обрывисто, полушепотом, спрашивал:

— Надо мне к господину игумену пройти, сейчас же пройти к нему, сейчас же...

Авраамий узнал по внешности, что говоривший еврей, и недружелюбно и недоверчиво ответил:

— Сегодня отцу игумену некогда, — в обители чудо — ему некогда.

Еврей всплеснул руками и зашептал быстро-быстро:

— Чудо, да чудо, со мной тоже было такое чудо, такое чудо, поэтому я хочу самого господина игумена видеть, — такое чудо!

Авраамий удивленно взглянул на него и показал покои:

— Ступай, направо корпус с колоннами, — туда ступай.

Корчмарь вбежал к игумену, увидел его сидящим за столом вместе с Паисием и становым за чаем — на столе была бутылка и урчал довольный голос выпившего станового, — подойдя к столу, он всплеснул руками, сложил их на груди, прижал к ней свой картуз и обратился дрожащим голосом только к игумену:

— Что со мной было, господин игумен, что только со мной было?!

Пришел корчмарь неожиданно, и, вздрогнув, все обернулись к нему. Корчмарь говорил заикаясь, путаясь,

повторяя непрестанно: «господин игумен» и всем своим видом выказывая необыкновенное волнение.

Николка спросил:

— Что случилось?

— Я не знаю, что со мной только было, господин игумен, — ну, купил я в городе что нужно там было, побыл у знакомого одного, он говорит, почему ты, Моисей, печальный такой, может Сарра больна, или еще что, только ты печальный такой и бледный, совсем бледный, — но отчего же мне бледным быть, говорю ему, а он, господин игумен: нет, ты очень даже бледный такой, оставайся ночевать у меня... Остался я ночевать, а у самого сердце так, — стук, стук, — колотится, прямо из меня выпрыгнуть хочет, не спится мне, никак не спится, и чуть стало светло, разбудил я его — поеду, сейчас же поеду, у меня так сердце стучает, не случилось ли дома чего. И что же вы думаете, господин игумен, выехал я за город, еду себе, поднялся на верх, а дальше — я кнутом лошадь свою, я кнутом — не идет, не хочет идти, господин игумен, взглянул я на небо, а из него белый столб опускается и горит что-то в этом столбе — как не ослеп я только, и как бы лошадь пошла, когда я сам испугался так. Встану, хочу ехать, а лошадь стоит и столб этот не двигается, а потом пошел он, и она меня повезла. И что было со мною — я ее ворочаю домой, а она сама по себе везет и сюда привезла... Что только было со мной, господин игумен?!

— Чудо было с тобою, неверный...

— Такое было чудо со мною, господин игумен...

— Это старец тебе указал путь сюда в час появления его образа.

Становой, посмеиваясь на еврея, спросил:

— А ты где был, Мойша?

— В городе, господин становой, я из города ехал — такое чудо было со мною страшное.

— А ты икону не ставил около монастырского леса?

— Я еврей и зачем мне икону ставить, когда меня не было дома, и какую икону только?

Николка прервал станowego, обращаясь к еврею:

— Это тебе великое знамение указал Симеон старец, когда являл образ свой на земле, и ты должен принять православие, это старец смилостивился над тобою и не хочет допустить тебя в лес в корчму твою, а привел в обитель тебя, чтобы ты православие принял и поклонился ему, тогда он и разрешит тебе оставаться на той земле, где

появился. Вот что значит это чудо... И над тобою сотворил чудо, великое...

Еврей долго еще повторял Гервасию это чудо, и снова повторил при Аккиндине, — Николка ему приказал записать, и, когда корчмарь повторил и ему свой рассказ, игумен закончил:

— Пиши, отец Аккиндин, что неверный после сотворенного над ним чуда преподобного старца уверовал в него и перешел в православие.

И, обратившись к становому, закончил:

— А Матвей Иванович будет крестным отцом твоим...
Поезжай домой — наставника тебе пришлю...

И опять монахи заговорили о новом чуде, передавали со всеми подробностями рассказ еврея, добавляя, что старец неверного обратил на путь истинный, ибо он живет на монастырской земле, а там, где ступала нога праведника, не должна ступать нога грешника и неверного.

Шумный Рафаил назвался быть наставником молодому корчмарю, а так как старику трудно было ходить, еврей приходил каждый день после вечерни в старую гостиницу и слушал православное учение от Рафаила.

И в тот день, когда становой сделался крестным отцом корчмаря, с вечерним поездом приехал в пустынь высокий, сухой, черный монах с угольными глазами и, не заходя в гостиницу, прошел через святые ворота, перекрестился в них коротко и направился твердыми, спокойными и уверенными шагами в игуменские покои, узнав их привычным взглядом по внешнему виду и по расположению монастырских зданий.

IV.

Отворил Поликарпу белобрысый Костя, пропустил в приемную.

— Отец игумен сейчас выйдут.

Монах не присел, начал ходить по комнате, потом снял клобук — высокий выпуклый лоб, сдвинутый слегка на глаза, и ровные черные волосы, черные глаза с мелкими ресницами, прямой нос, ровный и даже острый, и быстрый, резкий поворот головы.

Вышел Николка; монах коротко подал руку, коротко пожал и без приглашения сел в кресло.

— Я прислан владыкою, по распоряжению синода.

Николка недоверчиво и с каким-то непонятным себе страхом смотрел на монаха, а когда тот назвал себя — заговорил быстро, размашисто и уверенно, но и в этой уверенности пробежали неожиданно нотки и голос вздрагивал:

— Значит разрешено старца прославить?! Мы все ждем, братия волнуется, неприятностей столько. Только скорее.

Монах сухими длинными пальцами взял академический значок, пристегнутый сбоку на вороте подрясника, и быстро переложил его за подрясник и одновременно начал говорить, и каждое слово его было решительным, не допускающим возражения — повелевающим. Николка сразу почувствовал, что хозяин в пустыни будет не он, а приехавший, и бороться против него он бессилен и слов у него не найдется — ученый монах и жаловаться на него — себя погубить, от Синода прислан и епископ ему может быть по уму равный.

— Я прислан приготовить обитель к восприятию старца. Пустынь должна быть строгая. Об этом потом. Я хотел бы с первого же дня ночевать в обители. Мое имущество позднее придет.

Николка засуетился, крикнул бессловесного Костю и приказал приготовить с отцом Паисием для приезжего комнату.

— Мне нужен послушник будет, верующий, молчаливый и, если возможно, интеллигентный.

Игумен вспомнил про Смолянинова...

— У нас, отец Поликарп, беглый студент в обители в пекарне работает, а других никого — у нас иноки из простого народа больше... Я пошлю за ним!..

— Подождите! Почему беглый? Политический?!

— Из мира бежал от женщины.

— Я должен видеть его, но так, чтобы он не знал, что я хочу его взять в послушники. Понимаете? Он на пекарне у вас, — пусть он хлеба сюда принесет к обеду, я сегодня еще не обедал.

Николка вышел к Косте, велел ему сбегать к Паисию, чтобы тот приготовил ужин монашеский и даже добавил, — смотри, Костя, монашеский, это ученый монах, в обители будет нашей, скажи, тот самый, кого ждали мы из синода, прислан, — потом велел забежать в пекарню и сказать отцу пекарю, чтобы хлеба прислал к столу, — да пусть пошлет Бориса — того, студента беглого, скажи, что

игумен приказал студента, — Костя молча поклонился Гервасию и быстро побежал к трапезной. По дороге встретил его Аккиндин, замахал рукою. Костя не остановился, лавочник пошел вслед и столкнулся с ним, когда послушник выходил из трапезной.

— Кто приехал к отцу игумену? Черный такой, высокий иеромонах?

Костя замотал головою и хотел пройти, Аккиндин стал в дверях и не хотел выпускать, повторяя вопрос. Послушник рванулся вперед и, пробегая мимо лавочника, шепотом, зажмуря глаза, точно он боялся, что все услышат или увидят, что он не выдержал, и ответил отцу Аккиндину, на ходу бросив:

— Поликарп из синода.

И пока Паисий готовил монашеский обед приехавшему, по всем углам, по всем келиям было известно, кто приехал, — Аккиндин сказал, что Костя игуменский на себя не похож — трясся весь и должно быть теперь иные времена настанут, никто только не знал какие. И братия присмирела, даже кудреватые послушники не пошли в лесу погулять с дачницами — рясофорные не пустили. И шепотом в скиту говорил Досифей Памвле, что теперь не сдобровать Николке, новый и игуменом будет в пустыни — обязательно стихнет Предтечин.

Черный монах больше слушал Гервасия, чем говорил, только лоб у него сдвигался на глаза, и они становились молчаливыми и суровыми.

— Старец у нас чудеса творит, отец Поликарп, великие чудеса, — явленную икону Симеону обрели чудесно в поле, — поставлена братией в новом соборе на поклонение.

— Икона старца на поклонение?! Но старец еще не сопричислен к лику праведников...

— Но чудо великое, — неверный уверовал, православие принял — корчмарь, жид, — старец чудо сотворил над ним.

С первого же момента появления Николке больше всего хотелось рассказать Поликарпу о чудесах старца и о появлении иконы его. Монах устался в ковер, не перебивал игумена, изредка вставляя вопросы, и, когда ему стало ясно, что икону, вероятно, поставил еврей ради того, чтобы не идти по миру, продолжал слушать рассказ Гервасия более спокойно, только глаза стали холоднее. Когда Николка сказал, что он хочет, чтобы не только молодой

корчмарь христианином был, но и вся семья приняла православие, Поликарп перебил его:

— Насиловать никого нельзя!

Потом помолчав, так же коротко сказал, поднимаясь с кресла:

— Явленную икону надо убрать из собора, перенести на место успокоения старца и поставить, чтоб незаметна была.

Николка испуганно взглянул на монаха и испуганно начал убеждать его, что перенесение иконы, сейчас же, через несколько дней после ее появления, вызовет ропот и недовольство у братии, а также уменьшится и доход обители, а теперь после ее обретения стали еще больше богомольцы стекаться.

Поликарп тем же спокойным голосом повторил:

— Икону надо убрать, старец еще не святой.

Несколько раз прошелся по горнице, остановился у часов и в такт маятнику начал говорить размерно и спокойно:

— Я имею указание свыше, отец игумен, им вы должны подчиниться, а братия беспрекословно исполнить. Я знаю, что делаю, — иначе быть не может. А доходы обители вашей не нужны — потом сразу покроете, когда мощи открыты будут.

Николка взволнованно потерянным голосом повторял:

— Иноки возропщут, отец Поликарп, — возропщут...

— Иноки должны быть в повиновении у игумена, слово ваше — закон для братии.

Пропела за дверью молитва и, держа в полотенце хлеб, вошел послушник, — худой, изможденный, кожа обтянула лицо и руки, и только глаза от худобы были большие, прозрачные. Вошел, поклонился, увидал Поликарпа, монаха черного, навстречу ему блеснул взгляд пронизывающий, и Борис еще раз поклонился приехавшему, не зная, что делать с хлебом. Поликарп подошел к нему, взял хлеб и благословил, отпуская его. И когда Смолянинов вышел из приемной, приехавший сказал игумену:

— Истинный иннок, просветленный духом.

Имущество Поликарпа привезли на двух возах; освободили нижний этаж каменного корпуса рядом с игуменским — узкий высокий дом, строенный по-старинному — толстые стены, некрашенные тяжелые двери дубовые, обитые войлоком и глухие комнаты с низкими сводами, одна только — большая, четырехугольником с прямыми стенами и с большим двухрамным окном. Ящики с трудом

втягивали трое послушников, потом расставили два книжные шкафа, письменный стол, внесли железную кровать и тюки. И сейчас же Поликарп попросил Гервасия послать ему послушника Бориса.

— Иди, тебя новый иеромонах берет в послушники, — тихоня!

Вещей у Бориса не было — чемодан, привезенный из Петербурга, был уже продранный и помятый, а в нем кроме белья — ничего. Обрадовался и испугался — не знал, как служить рясофорному. Оставил в сенях чемодан и вошел в келью, принял благословение и стал у двери.

— Хочешь мне помогать? Оставайся, твоя — боковая комната. А спать на чем будешь?

— На войлоке...

— Скажи отцу игумену, чтоб кровать для тебя дали.

Николка каждый день ожидал, что Поликарп придет и будет говорить, что теперь надо делать, как готовиться к мощам, или начнет расспрашивать о монахах, но каждый день Поликарп уходил с утра в лес и любопытные даже видели, что в руках у него была книга. Монахи сперва боялись его, а потом — вылезли из келий, а послушники и рясофорные молодые снова понесли в гостиницы богомольцам ложки, а по вечерам бегали к дачам и лазали через ограду. Черный монах — высокий, худой, опустив голову, будто не видя ничего, ходил по лесу, доходил до малинника, слышал, как бабы звали его к себе, молча повертывал обратно, уходил в противоположный конец монастырского леса, садился на берегу озера, в лесной глубине, — казалось, что он даже не смотрит на катающихся на лодке монахов с дачницами, но все видел и слышал, черные глаза светились мраком. Вместе с Борисом разбил ящики и сам, — Бориса отправил на станцию опустить письма в почтовый поезд, — ставил книги в шкафы, — полки были глубокие и книги становились в три ряда — вглубь светские классики и журналы, во второй ряд философские, а в последний — сочинения отцов церкви, и когда Борис возвратился — комната приняла вид спокойствия и суровости: корешки с золотым тиснением, письменный стол — несколько книг, чернильница и бумага, на полу темный ковер — глухой и мягкий, пустые стены, в углу большая икона Спасителя — моление о чаше — и на тумбочке красный лампад; на стенах пусто, над кроватью черные карманные часы и на окнах темные шторы.

В высокой комнате большой вечером вместо лампы] горит [колеблющаяся свеча красноватым пламенем.

По вечерам, когда Авраамий замыкал святые ворота, возвращался Поликарп в келию, Борис подавал чай в стакане — густой, черный — и уходил в боковую комнату — пустую, холодную и тоскливую. Черный монах заглянул и в нее.

— Сделай из ящиков себе стол, попроси табурет и лампаду повесь — в темноте молитва не радостна — не успокоит душу.

В келье у Поликарпа Борис успокоился, тишина не пришла, но думать мог часами, опустившись на колена перед иконою. Не молился, а думал, старался осознать что-то, вспомнить и не мог — не было мыслей. Задумывался и неожиданно набегала дремота, ронял голову, вздрагивал и снова силился осмыслить себя. В тишине слышал, как звенел замок в книжном шкафу, открывалась дверь, а потом двигался высокий стул с плоским сиденьем и высокой прямой спинкой, и надолго наступало молчание и тишина. Борис ложился одновременно с Поликарпом, когда слышал, как он отодвигал стул и шел к постели. Прислушивался, молится он или нет, и, не дождавшись, засыпал тяжелым томительным сном. Утром вскакивал, боясь не проспал ли, бежал к колодцу с ведром и готовлял умываться в прихожей, потом раздувал самовар и ждал, когда спокойный голос спросит его:

— Встал уже?

— Я рано встаю, всегда рано.

— Чаю давай.

Приносил чай и две просфоры свежих, наливал себе и, кусая сахар, пил вприкуску с ржаным хлебом...

Через две недели призвал Поликарп игумена и, не глядя на него, сказал:

— Иноки должны быть дома после заката солнца и прошу запретить ходить в гостиницы к приезжающим, да чтоб послушники не гуляли с дачницами до полуночи и не лазили через ограду, — должно быть исполнено сегодня же! Там, где пустынь и где основатель ее схимонах, — должна быть строгость. Природу созерцать в уединении должны, да прикажите прочистить лес, а главное — малинник вырубить.

Подглядывать и подслушивать за монахами не посылал Поликарп никого — всюду сам и всегда неожиданно

появлялся, а если замечал кого, подходил, отзывал, узнавал имя и передавал Гервасию. Игумен вызывал непокорного и налагал епитимию. Медленно нарастало недовольствие и черным монахом и Николкою, — шептались по вечерам в келиях:

— Как сам гулял — ему ничего, и монашку завел, а теперь шагу ступить нельзя, с живым человеком слова не смей сказать.

— Это черный все, — Поликарп.

— И на него можно жаловаться.

— Ну, на него, отец, не пожалуешься, — недаром академию кончил — уставы знает не хуже начетчика.

Замолкли в лесу песни послушников, дачники заскучили без них, купчихи досадовали — виделись редко, тайком, а потом, когда одному монаху наложена была епитимья, — сорок дней поста и молитвы и по сту поклонов в день — тайные встречи окончились. Новому гостинику, отцу Мисаилу, принявшему рясофор, приказано было строго следить, чтобы приезжие больше трех дней в гостинице не засиживались, потому что в обители люди молиться должны, а не разгуливать по лесам, только говельщикам разрешалось оставаться неделю. К каждому поезду с линейкой должен был ездить помощник гостиника, встречать приезжающих, рассаживать в линейке, заранее отбирая публику, кого в новую, кого в старую, но так, чтобы никому не заметно было. Гостиницу запирали в девять и ни кого не впускали; если кто запоздает с прогулки, спрашивали, в каком номере поселился, и на следующий день входил Мисаил.

— У нас нельзя свои порядки вводить, не нравится — можете уезжать, а гулять попоздней — в городах есть сады на это... Отец игумен велел сказать, что не благословляет больше в обители оставаться.

Монахи, как сонные мухи, бродили в лесу одиночками — разрешалось ягоду собирать, грибы и наедине быть с природою. Молодые не выходили из келий — в лесу делать нечего стало, старики бродили с кошелками. Полпенским бабам и девкам запрещено было ходить в монастырский лес по ягоды и продавать их приезжим около гостиницы.

Поликарп сказал игумену:

— Женщина — соблазн иноку, нужно от соблазна спасти, — и запретил разговаривать даже с приезжими, избегать соблазняющих встреч.

Бабы стали ягоды выносить на станцию к проходящим поездам, через казенный лес.

Богомольцев из простого народа заставляли работать:

— Потрудись господу, — душу и тело очисти — молитвою и трудами.

Говельщики и говельщицы косили луга, работали на огороде, мыли и чистили людские бараки, подметали двор. И с каждым днем из монастырской трапезной меньше и меньше приносили в бадьях на обед щей и каши, квас разбавляли водой и не звенел в гостинице медный корец квасной, — выдавалась только к обеду, а днем квасные бадьи пустовали. Богомольцы недовольные разъезжались раньше трех дней и говельщиков почти не было. Братия роптала, но знала, что жаловаться теперь некому. В скитском храме служили каждый день среднюю и все, на кого наложена была епитимья, должны были жить в скиту безвыходно, а женщинам в скит входить воспретили.

Осенью Поликарп начал и в келии заходить, беседовать, каждого о прошлом расспрашивал, а вечером в своей келье, чтоб не забыть — записывал и через месяц знал всех по имени.

Когда в скиту зашел к Досифею — старик не вытерпел, зашамкал про Николку, думая, что Поликарп донесет на него куда нужно и Гервасия расстригут и сошлют в Соловки на покаяние до самой смерти.

— Игумен наш, — шами его выбирали, — шами, — обитель от грабителей шишилистов шпаш, шпаш обитель, шами выбрали, на швою голову, — ох, ишкусение — игумен братию ишкусал и братия погрешала ш приезжими, шогрешала братия по игумену... Женщина шоблажни-ла его, игумена шоблажни-ла... На хуторе она у него, на хуторе, коровницею и ребенок у ней от игумена... Братия по игумену шогрешала — ишкусалашь приезжими... Примеру иноку не было, — ешли игумен шам, то што ж иноки?!

У Поликарпа сдвинулся лоб, нахмурился, глаза мраком покрылись, встал и сразу обрезал старого горбуна:

— Старцу вразумить надо было инока, искушаемого грехом и плотью, а не доносить на него — он игумен в пустыни, сами выбрали...

Досифей растерянно замигал глазками вслед ушедшему Поликарпу.

Через несколько дней у себя в келии, выслав послушника Бориса, сказал игумену, прямо и строго смотря ему в глаза:

— Мне известно, что у вас есть ребенок и женщина, — вы с нею живете?

Николка сказал правду, сказал и то, что он раскаялся, почувствовав свой грех в рождении неповинного, добавив, что теперь он не живет и на хуторе никогда не бывает.

— Соблазнился я красотою плотскою и принял муку свою, — даже искренняя нотка прозвучала в голосе и, вспомнив, что Аришу могут выселить неизвестно куда и деньги его пропадут, — в этот момент только о своей судьбе думал и о деньгах, а выходило искренне, казалось, что жалеет Аришу, — с ребенком она, безродная — погибнут они — да будет милосердие ваше над ними...

Поликарп прошелся по комнате и, остановившись у лампы, стал поправлять поплавок, говорил Гервасию глухим голосом:

— Я, отец игумен, человек и знаю, что и иноки согрешают, ваше спасение — в покаянии. Я не сужу, и старцу сказал должное. Совесть над ними судья. Неповинные жизни губить нельзя. Пусть трудится, а вы...

Хотел сказать, чтобы больше не ходил на хутор, чтобы был примером для братии, но закончил неожиданно и для Николки и для себя:

Скажите ей, что это ее сирота, племянник, — на воспитание взят.

Потом сейчас же начал говорить о пустыни и о хозяйстве и вернулся к столу.

Весною в гостиницу и в людские не стали пускать задаром, вывесили цены при входе в старой и новой гостинице, а с деревенских богомольцев брали пятак за ночлег и за обед столько же. За каждую услугу — обед, самовар, свеча — по таксе; завели белье деревенского полотна — за смену положенное по табличке. Дачникам отказали — и опустел монастырь. В этот год еще по старой памяти приезжали в гостиницы богомольцы, приходили крестьяне, но летом коридорные и послушники слонялись без дела в пустых гостиницах, не звенел непрерывно в самоварный звонок и не кипели по утрам самовары. Гостиник Мисаил от скуки ездил на станцию сам, возвращался без богомольцев и рано с вечера ложился спать.

Зато из монахов же на гостинице был повар, придумавший, по приказанию игумена, особенную уху, какой ни в одном еще монастыре не умели варить, и все монахи говорили об этой ухе:

— В Калужской пустыни щи варят, а такой ухи ни в одной обители нет!..

— В Задонской славятся караси, а ухи такой и во сне не видели.

За обед поварской — плата, как и в городских гостиницах, а за уху особенную — полтинник.

К ухе прибавился квас — варили его тоже особенно: густой, на хмелю, из муки: пшеничной, ячменной, ржаной, с солодом и душистой мятой, заправленный коринкою, изюмом и медом — бутылка пятнадцать копеек.

— В Сергиевской лавре хлеб славится, а такого квасу никто и в России-то варить не умеет, только у нас отец Фармуфий знает секрет его, — с Афона привез — особенный квас, целебный.

И медленным ручейком потекла слава пустыни Белобережской — и квас и уха и старец творит чудеса. О чудесах же сказано было молчать, — Гервасий передал братии со слов Поликарпа:

— Дабы не уменьшить славы и чудес Симеона старца в день открытия мощей преподобного, лучше, братия, теперь помолчать о них.

Весною же, когда уже папоротник развернул над землею широкие лапы и зацвели луга гвоздиками и ромашками — Поликарп призвал к себе в келию старца Акакия.

— Мы не можем в пустыни иметь старцев, — основатель ее был схимонахом.

Не досказал, остановился, взглянул на Акакия, старец молчал, спокойно смотря в глаза Поликарпу, — ученый монах нахмурился и закончил:

— Оптиная пустынь старцами по всей России прославлена, если хотите нести свой подвиг — переведитесь в нее, я помогу вам.

Акакий поник головой и, смотря в пол, сказал вполголоса:

— Я здесь давно, — полюбил обитель и братию — мне уходить некуда — я здесь помереть хочу.

Поликарп взглянул на Акакия и медленно, слово за словом, настойчиво начал:

— Наш старец, Белобережский пустынный, Симеон, основатель обители сей, претерпев и найдя правду, принял перед кончиною своей схиму — не меньший совершил подвиг, чем подвиг старчества, и прославил свою обитель... И вам подвиг схимника не меньший, чем подвиг старца или

затворника, — во имя его и во славу его надлежит принять схиму.

Акакий еще ниже опустил голову, так что его борода полотенчиком почти касалась ковра, и он еще тише ответил Поликарпу:

— Схима — страшный обет, великий, — а я и в старости недостойн принять ее, я грешный человек, грехом немощен — не могу на себя схиму принять. Жизнь созерцать — радостно, я люблю ее — утешаюсь в лесу всякой тварью живой, и согрешаю изобилием плодов земных — медом, ягодою, грибом, и радуюсь славословием птиц лесных...

Поликарп еще медленней и еще настойчивей повторил, перейдя на ты:

— Во имя прославления схимонаха Симеона и обители нашей прими схиму... Облик благообразный у тебя, старец, облик схимника...

Акакий не возражал на слова Поликарпа, но продолжал недоконченное:

— ...Заживо не могу себя погребсти, на это сил у меня не хватит... Недостойн я этого подвига... Подвиг смерти налагает молчание...

Поликарп встал, сдвинул лоб и бесстрастным, стальным голосом сказал Акакию, сверкая глазами:

— Именем схимонаха Симеона тебя заклинаю принять схиму!

За Поликарпом встал и Акакий и, услышав эти слова, побледнел — лицо восковым стало, прозрачным, только глаза сделались на один миг яркими и непроницаемыми — и он, с трудом опустившись на колени, поклонился Поликарпу, прошептал еле слышно:

— Да будет по слову твоему, — аминь!

Поликарп поднял старца с колен, поцеловал его и проводил до скита, говоря дорогою:

— Возлюбившему жизнь смирением — простится многое... Все простится, и схима не наложит печали смертной.

Акакий не ответил ему ни на одно слово, у келии своей принял благословение и молча ушел, неслышно закрыв за собой дверь.

Васька встретил Акакия радостно и начал говорить, старец прервал его и тихо сказал:

— Молчи, Васенька, молчи, милый!

V.

В боковой комнате до последнего слова были слышны слова Акакия и Поликарпа, Борис прислушивался к ним и не мог понять, чего хотел академик от старца, и когда Поликарп возвысил голос, заклиная Акакия, повелевающе и настойчиво, — от испуга затаил дыхание. Бесшумно закрыл за ушедшими дверь, вошел к Поликарпу в комнату заправить лампад и, взглянув на книжные шкафы, — золоченные корешки смутили, подумал про наставника своего, что он сегодня что-то сказал старцу страшное и непонятное, страшное для его веры.

Поликарп вернулся спокойный, увидел Бориса у шкафа...

— Если хочешь читать — бери, праздное одиночество растлевает душу и разум.

Потом взглянул на послушника, заметил смятенный, испуганный взгляд его, избегавший встречаться с его глазами, понял растерянность его и сказал:

— Что с тобою?.. Слышал мой разговор с Акакием?! Не можешь понять?

Борис опустил голову.

Поликарп подошел к Борису, положил ему на плечо руку, и точно груз легла она на Бориса, он весь как-то поник, поблек и показался себе ничтожным, ненужным, маленьким, а голос наставника зазвучал громче, уверенней:

— Если ты любишь жизнь, уходи из города мертвых, иди в жизнь! Почему ты здесь? Зачем ты пришел сюда?! Спаси себя от соблазна?! Но если ты не видишь его, как же ты можешь спастись! Не соблазняемый не спасется! Не мог же ты устоять, когда был в гостинице... Правду скажи, — не мог!

Черные глаза касались души испытующе, — пересилив себя, почувствовал, как горячо облилось сердце кровью, ответил вполголоса:

— Мне она говорила, что я погибаю здесь, — хотела увести меня из обители, испугала меня слезами — утешить хотел, помочь...

— И не смог устоять перед жизнью, — не вкусил от нее, не мог вместить невместимого...

— Нет, я устоял, — это принудить хотели, я вырывался и устоял, меня не соблазнит жизнь, я одного человека любил — до смерти.

С трудом выдавливая слова, рассказал об умершей, о том, что ждал ее, заболел ожиданием и был обманут —

глаза покраснели, влажными стали, от волнения голос вздрагивал, прерывался, а когда не хватило сил говорить, Поликарп прорвал эту тяжесть и громко, — голос его зазвенел, черные глаза острием пронизывали.

— Убить в себе жизнь нельзя. Жизнь — мистерия, а не мистика. Сказано, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты хочешь в живом мертвеца видеть, в городе мертвых — умереть заживо, — хочешь и не можешь, потому что ты жив, потому что душа не умрет в тебе, а ты — душу насилуешь.

Послушник удивленно смотрел на монаха и не мог понять, боялся подумать, что он, сам монах, отказавшийся от жизни, говорит о ней и называет монастырь городом мертвых и мертвецов. Удивленное смущение Поликарп уловил и продолжал говорить:

— Я тоже в городе мертвых, но смерть только там, где тление, а если дышит человек, чувствует, мыслит — жизнь. Нужно и среди живых мертвецов творить жизнь, чтобы и это кладбище принесло плод свой...

Если в тебе ничего нет, чем ты будешь жить после? Жизнь — материя. Жизнь излучает — запахи, звуки, свет, идеи излучаются так же, как и материя. А что твоё существо излучит — пустоту и мрак! И чем ты будешь жить потом, когда невесомое отделится от тебя, чтобы жить в вечной жизни? ! Оно будет в пустоте и мраке. Жизнь будущего и есть жизнь невесомого, освобожденная от физического, обостренная и напряженная, и чем больше ты пережил здесь, тем ярче она вспыхнет осознанная и преломленная в сознании невесомого, и вся твоя жизнь, как на экране, снова перед тобою пройдет, пока не завершится твой круг. Перед тобою будет — пустота и мрак, может быть, в этом самое невообразимое мучение. От жизни нельзя уйти, и если ты здесь не создашь ее для себя реально и, отрехшись от физической жизни, не создашь духовной, то чем ты будешь жить там? Кто не со мною, тот против меня! Против жизни! Слепые вожди слепых! И каждый из нас пришел для жизни. Если же ты не принимаешь ее физически, прими духовно и живи на земле ради грядущего царствования.

Потом Поликарп успокоился, достал ключи, подал Борису:

— Бери и читай, наполняй жизнь!

В боковой комнате настало спокойствие, только шелест

листов прерывал тишину. Без Поликарпа брал книги, читал подряд и, вынимая из первого ряда, видел надписи во втором и был поражен третьим рядом, где нашел неожиданное. Поликарп, возвращаясь в келию, заглядывал в шкаф и видел, что послушник берет книги из третьего ряда, — по лицу пробегала улыбка.

До Поликарпа во время службы весною и летом в монастырском соборе молились только старцы или рясофорные, а теперь церковь была полна монахами. Появилось три схимника, не выходявших из храма во время дневной службы. Аккиндину было приказано написать синодик об упокоении всех, кто был записан на поминовение в монастырских книгах, написать разборчиво, чтобы схимникам было легко читать. И целые дни у правой колонны у аналая стоял схимник, не поднимая головы от псалтыря, читая его и днем и вечером и во время службы полупрошептом, отрываясь после каждого псалма к синодику мертвых.

Богомольцы с трепетом смотрели на схимников в черных остроконечных шапочках с нашитыми из белого полотна костями и черепом и боялись к ним подходить, когда они возвращались в скит. Один все время стоял в храме и читал, пока его не сменит другой. От неподвижности уставали ноги и, крестясь, старик произвольно покачивался, отдыхал только кладя земные поклоны.

У могилы основателя пустыни шли беспрерывные панихиды с утра и до вечера и мантийные старики читали псалтырь. В темном подвальном храме теплились лампы, и послушник, постоянно стоявший у кануна, поправлял свечи, лампы, разводил кадило и вместе с двумя другими тянул утомленным голосом, — вечная память... Один раз в неделю в этом подвальном приделе к старому собору служили обедню, а после нее — торжественную панихиду. С утра в обеденный день садился у входа, в притворе монах и надписывал гусиным пером дубовыми чернилами просфоры богомольцам о здравии и упокоении, так же как и в новом соборе — у задней стены сзади свечной конторки.

Осенью и зимой, когда не было богомольцев, панихиды служились только после обедни и торжественная, соборная, после недельной обедни в приделе старца.

Монастырская жизнь растворилась в кельи, куда мирянам проникать было трудно, и откуда не бросалась она в глаза каждому.

В начале зимы Поликарпу уехал к епископу и не жил в монастыре до весны, поручив Гервасию строго следить за порядками и послушников наказывать своей властью, налагая епитимию со всей строгостью.

Аришина жизнь успокоилась. Вечером, тайно, на одну минуту, раза два забегал к ней Николка — обрадовалась ему, встретила ласково и не говорила, что он ее погубил.

Уходя, спросил ее:

— А деньги у тебя целы? Хорошо спрятала?

— Куда же мне девать их, — для него берегу и сама для него живу.

— Смотри, береги их, — там тысячи!..

И постепенно в строгой обители Великим постом начали появляться говельщики, разнося о строгости игумена и мантийных, о бесконечных уставных службах. Монахи, после повести, выползали из келий и черною полосой становились у стен; звонким голосом молодой канонарх читал ирмосы, и поочередно оба клира ему отвечали протяжным пением и, вырвавшись из храма, монахи отлеживались, а вечером после трапезы шли к приятелям, — по-прежнему начали проносить водку, но так, что никому из богомольцев и в голову не могло придти, что в строгой обители грех живет, а у иноков под глазами круги от молитвы полуночной. Недовольные глухо роптали, про себя, не доверяя и другу близкому, потому что друзья — наушники, с заднего крыльца заходили к Гервасию и доносили ему, что тот-то и тот-то не доволен.

Все ожидали возвращения Поликарпа, говорили, что он вовсе и не к епископу Иоасафу поехал, а прямо в Питер в синод, а некоторые уверяли, что и не в синод, а прямо к царю на доклад вызван, после этого и ожидать нужно прославления старца — не иначе как за этим и вызван ученый монах.

Поликарп неожиданно возвратился, все стали ждать, что скажет, но он заперся в келии и несколько дней не показывался.

За обедом Борис ходил на трапезную и для Поликарпа и для себя; по возвращении академика Паисий начал расспрашивать послушника, — сам игумен ему ничего не мог сказать, и его научил расспросить студента, задобрить его, подкормить.

— Ну, да ты сам знаешь, отец Паисий, тебе виднее...

Самому спросить, — боюсь я его, он никогда ничего со мной не говорит, только приказывает.

Паисий сам отпускал Борису обед не в очередь, боялся Поликарпа и спешил поскорее налить горячее и до прихода его никому не давал обеда, говоря, что не был еще Борис, послушник академика. И в бадейку послушника старался налить погуще, вылавливая белые куски рыбные, а кашу маслил жирно, помня, что Гервасий ему велел задобрить и подкормить. Ласково провожал Бориса до крыльца и, простодушно улыбаясь в бороду, справлялся о здоровье академика.

— Долго он, долго не был в пустыни, ну да у него... дела... обитель готовит, теперь скоро должно быть... теперь скоро...

Борис уходил молча, а Паисий, встречая Николку, шептал ему перед трапезой, что у послушника ничего не выпытаешь...

Николка махал рукою.

— Значит, знает, только не велено говорить.

Через несколько дней вызвал Гервасия узнать, кто не был послушным, нарушил монастырский устав.

— Всех провинившихся нужно будет переводить в иные обители, отец игумен, обитель наша в скором времени будет штатною и слишком много иноков не должно быть, — только достойнейшие...

Неугодных, недовольных, сварливых, кто сгоряча осуждал Гервасия или Поликарпа — в соседние монастыри перевели втихомолку, особенно послушников. С котомкою, с узлом уходили, озираясь на пустынь зло с насиженных мест, из келий молча на станцию шли, оставшиеся боялись встречаться друг с другом, чтобы не проговориться случайно, не сболтнуть лишнего и друг на друга смотрели волками.

В конце лета начали белить колокольню, расписывать трапезную, красить церковные крыши, и братия, работая на лесах, шепталась:

Теперь скоро, значит, — велел готовиться...

— Хоть бы сподобил господь, — пора уж.

Поликарп осматривал монастырь с Гервасием, игумен боялся спросить о мощах, но видел, внешний вид обители в благолепный вид приводится — недолго ждать. Около старого собора остановился Поликарп и расспросил

игумена, когда строен, когда ремонт делали, и, взглядываясь в угол, под которым в подвальном приделе покоился Симеон, с неожиданною тревогой сказал Гервасию, что ему кажется — этот угол у фундамента покосился.

Не дай бог несчастья, — обвалиться может, тогда...
Надо поправить, теперь же.

Николка тоже начал взглядываться в ребро угла и ему тоже показалось, что оно покосилось, — сколько лет прожил в пустыни — не замечал, а в эту минуту смотрел испуганно, хотел отойти, чтоб не рухнуло на него.

— Как же это я не видел?! Под этим углом ведь старец Симеон положен...

— Мне кажется, что стена дала внутри трещину, это опасней всего. Раньше у вас не служили в этом приделе...

— Недавно начали, третий год всего... Ах, беда-то, беда!

— Стены от тепла отошли и дали трещины.

Разбирали угол нанятые каменщики и монахи с послушниками. Временно панихиды и службы у могилы старца прекращены были. Когда разобрали снаружи, появился Поликарп и стал следить за работою.

Тяжелые, большие кирпичи старинной кладки бережно выносили из глубины и складывали рядами, врывались все глубже и, по приказанию Поликарпа, начали идти внутрь. Монахи знали, что в этом месте старец лежит, и лопаты осторожно и настойчиво вдавливались уже в песчаный грунт, белые комья выбрасывались облегченно, и на солнце они рассыпались песком. Каждому хотелось найти гроб старца, никто об этом не говорил другому, но у каждого это жило внутри. Поликарп внимательно взглядывался в песок, следя за каждой лопатой. Гервасий стоял рядом и тоже ждал, обращался с опасениями к Поликарпу, тот молчал и взглядывался. И неожиданно, в один и тот же момент ударил к трапезе колокол и чья-то лопата обсыпала край дубового гроба, звякнув слегка железом. Монах испуганно отступил и молча в каком-то ужасе взглянул на Поликарпа — не хватило сил крикнуть, зашелся дух. Поликарп понял без слов, быстро спустился вниз и крикнул:

— Стойте, — гроб старца!

Работы были прекращены, за трапезой были все до последнего и шепотом неслось от одного к другому:

— Гроб старца нашли; все видели, — ученый на него указал; нетленные, гроб не тронут — сколько веков в земле; чудо господне; преподобный старец...

И все с благоговейным ужасом глядели на черного

монаха, сидевшего рядом с игуменом. У Николки от радости сияли глаза, прерывался голос — хотелось выбежать из трапезной и на весь монастырь, на весь лес крикнуть, — мощи нетленные, — может быть, тогда бы и легче стало и голос бы вернулся и дышать бы смог.

В конце трапезы черный монах наклонился к игумену и начал что-то шептать ему — все затаили дыхание и смотрели на них. И сразу у игумена засияли глаза, нервно звякнул серебряный колокольчик, и все замолкло.

— Братие, сегодня, когда монастырский колокол оповестил к трапезе — увидели мы гроб старца нашего, основателя пустыни, иерохиарха Симеона, — увидали...

Николке казалось, что он кричит об этом, а все вытянули к нему головы, боялись дышать, чтоб не проронить игуменского полусшепота.

Потом братия заволновалась, заговорила, спешила окончить обед, наскоро пропела благодарственную молитву; со всех сторон шептали и говорили, — молебен, панихиду служить, — зазвонил раскатисто большой колокол, мерно и гулко — серебряным эхом по лесу, зажглись в новом соборе восковые свечи — красные и зеленые, и попарно вышли из алтаря иеромонахи, и кольцом окружил их правый и левый клирос.

К могиле старца не подпускали никого, чтобы не осыпать в разобранный угол песок и щебень, но до позднего вечера и монахи, и богомольцы заглядывали в темноту и многие говорили, что видят его, видят...

Черный монах послал игумена в город к епископу Иоасафу сказать только несколько слов:

— При исправлении старого храма соборного обнаружен гроб старца.

Не беглым монахом за Феничкой, а игуменом, во втором классе — торжественный и сияющий ехал Николка в город, каждому хотелось сказать свою радость, что он, Предтечин, когда-то исполатчик архиерейского хора, выгнанный духовник — мощи откроет в пустыни, прославит имя свое. И станции вспомнил — в слободу ехал через нее на извозчике — и даже показалось, что увидел тот домик, где останавливался с Афонькою, но сейчас же вспомнил, что прежде всего надо к ключарю ехать, и заторопил извозчика.

К приезду Николки наспех был снова заделан угол и залит цементом — клали только камень и кирпичи,

а наваленный бугром песок и щебень, чтобы не потревожить гроб, тачками развезли послушники на речку.

И снова затеплились в подвальном приделе лампы и свечи, слышалось непрерывно — вечная память, вечная память!..

Игумен передал от владыки Поликарпу письмо, рассказал о свидании и торжественный ушел в свои покои.

При Поликарпе Николка молчать выучился, недоступным стал, старался подражать ему, и только один бессловесный Костя слышал, как по вечерам игумен шагал и говорил сам с собою.

Осенью, когда заплескались вокруг монастырских стен туманы и в лесу пахло гнилым и острым, было приказано приготовить большую гостиницу к приезду иерархов церкви. Послушники скребли, мыли, расстилали по коридору белые половики, топили печи, на кухне чадило рыбу.

На станцию выехали встречать игумен и Поликарп.

Первым приехал Иоасаф.

Благословляя Николку, сказал:

— Великое счастье выпало на вашу долю, отец Гервасий!

— Неопишное, владыко...

В соборе, покачиваясь от усталости, в черном, с нашитыми белыми костями и черепами, с длинной бородой полотенчиком, стоял Акакий, не отрываясь от псалтыря и синодика. Голос ослаб и читал он шепотом. Монахи черными тенями стояли у стен, молча, не шевелясь, выходили, на место их появлялись новые. В куполе отзывался шепот Акакия. У царских врат горела тускло лампада и у чудотворной иконы неугасимая и несколько свеч красноватым отблеском сгущали полумрак молчания. Было молчаливое и напряженное ожидание особенного, таинственного и жуткого. Иоасаф взошел, молча поклонился иконе и вышел, за ним большою черною тенью молча шел Поликарп. С утренним и обеденным поездами ожидали еще четырех епископов.

В старом соборе у старца скитские монахи молча разбирали при свечах чугунные плиты. Потом, скрипя, начало врезываться в сырой песок железо лопат. Входил Поликарп. Песок снимали тонкими пластами — медленно и торжественно. На ночь запирали храм сам Поликарп и, звякая старинными тяжелыми ключами, шел в гостиницу. Вместе с архиереями приехало три монаха; плотный, широкий с вьющимися волосами молодой архимандрит,

академик Смарагд, с епископом Иринеем и двое: незаметный, худой, молчаливый Корнилий и другой — среднего роста, самый обычный, рыжеватый блондин в золотых очках, с радостною и сияющею улыбкой на лице, появляющейся, когда он начинал говорить мягким, почти беззвучным тенором, живым и ласковым, — казалось, что улыбается и все лицо и сам он готов засмеяться радушно и весело с русским чистосердечием и искренностью, а если приглядется к глазам — стальные, почти бесцветные, холодные и молчаливые, и когда начинало улыбаться лицо, глаза останавливались и застывали, веки суживались и улыбались только золотые ободки очков и стекла и все лицо вокруг них, — а глаз вероятно совсем не было, их даже никто не замечал, потому что иеромонах Ксенофонт начинал, вместе с улыбкою, оживленно говорить и двигаться, позволяя даже шутить, но и в шутке было необычайное простодушие и доброта, говорившая каждому, — не могу, господа, без этого, такой уж родился, не переделаете, весь я тут перед вами — русский, душа параспашку, всего себя перед вами выверну.

Встретив Поликарпа, Ксенофонт необычайно обрадовался, называл его на ты и мирским именем, прибавляя — милый мой друг, милый.

— Вот и опять мы встретились, милый мой друг, опять вместе, мой милый... Хорошо живешь?!

Поликарп отвечал сухо и нехотя, хотя и был ему товарищем по академии.

— Как всегда!

— Не ласковый ты, милый мой! Может быть, сердись-ся?.. Я опять надолго к тебе, как и прошлый раз... Люблю тебя, милый друг...

Братия ждала с напряжением великого часа, думала, что великое таинство лицезреть будут все, но когда настали сумерки, велено было соблюдать спокойствие и тишину, не выходить из келий, дабы не помешать и не тревожить приехавших иерархов...

Поликарп вместе с Гервасием открыл старый собор и остался ждать, академик пошел навстречу приехавшим. За вошедшими скрипя закрылись тяжелые железные двери старинные и в подвальном приделе зажглись тусклые свечи и черные тени зашевелились, сгибаясь и разгибаясь над могилою старца.

По монастырю двигались тоже черные тени у келий и черный морозящий вечер прятал их, следивших издали за

великим таинством, — подойти близко боялись, говорили шепотом и не узнавали друг друга, а когда осветились окна в верхнем храме старого собора и там снова заколыхались черные тени — в обители пронесся глубокий и облегченный вздох, точно вздохнули не черные прятавшиеся тени у келий, а келии, монастырские стены и черный лес.

Потом неожиданно заскрипели двери в старом соборе и во мраке зазвенел тенор — высокий, горячий, негодующий:

— Я не могу, не могу признать нетления!

Тихий голос высокого черного монаха шептал резко, отчетливо:

— Вернитесь, владыко! Не нарушайте гармонии таинства.

И снова скрипнул высокий тенор:

— Там никаких признаков нетленности — клочок волос и несколько полуистлевших костей!..

— Православная церковь, владыко, не нуждается в доказательствах! Она, владыко, на вере зиждется!

Потом темные фигуры остановились и к ним подошла третья — архимандрит Смарагд.

Поликарп снова сказал:

— Вернитесь, владыко!

И в темноте, вероятно, еще ярче, еще испытующе взглянули глаза Ириней в лицо Поликарпа, сказавшего почти вполголоса:

— А вы, Лазарев, что же — все еще это делаете ради грядущего царствования?

Голос звучал гневно, угрожающе и сурово и сразу всплеснул выкриком:

— Вы что же думаете, что мы слепые вожди слепых?!

И снова зазвенел высоко тенором:

— Довольно того, что снова открыли Анну Кашинскую! Хотите повторить Серафима Саровского?! Нет, здесь я не буду канонизировать и так позору. Уйдите от меня, идите творите свое грядущие царствие!

У святых ворот в последний раз Поликарп сказал:

— Вернитесь, владыко!..

Высокий голос тенор Ириней оборвал и неслышно, одними губами прошептал он:

— Ради грядущего царствия?!

Сухо, спокойно — стальным спокойствием повторил Поликарп те же слова:

— Да, ради грядущего царствования!

Молча вошли в гостиницу. Не простившись, Ириней ушел со Смарагдом в номер, а Поликарп позвал гостиника Мисаила и приказал:

— Завтра к первому поезду преосвященному Иринею подать лошадей.

У святых ворот молча поклонилась Поликарпу черная монашеская фигура вратаря Авраамия, Поликарп оглянулся и пошел молча.

Заскрипели железные старинные двери в старом соборе и загремел замок.

Братия — негодующая, смятенная, растерянная — разбежалась по келиям, и только Васька, подняв над собой руки, с безумными от напряжения и ожидания глазами, бормотал что-то про себя, спрятавшись за колонну игуменских покоев, вглядываясь в двигающиеся черные тени в освещенных окнах собора.

И вечер, черный как ночь, не шептался уже боязливими монашескими голосами, — за монастырскою оградой шумел черный, угрюмый лес и шел мелкий, холодный осенний дождь.

VI.

С весны закопошился монастырь к открытию; братия жила ожиданием торжества. Аккиндин не выходил из монастырской лавки, разбирал товар, наполнял ящики нательными серебряными и медными кружками иконок — на каждой чеканка пустыни и схимника Симеона, резвешивал пояски с молитвою, картинки — общий вид обители — наверху два ангела, спускающие на руках икону чудотворную, и старец Симеон; малые клал стопкой на прилавок и выставлял цены. Послушники разливали в пузырьки масло и каждый пузырек — от пяточка до пятачкынного — со старцем, — рядами на полки ставили.

Братия после отъезда иерархов успокоилась, после ухода Иринея со Смарагдом монахи снова напоззли в темноту и слышали, как выходили, потрудясь, из собора иерархи — веселые и говорливые, окончив канонизацию старца, — австрийского производства, — а на следующий день игумен возвестил братии, что епископа Иринея наказал господь, ослепив его ум гордынею и покарал его, — сослал на покаяние в монастырь в Сибирь, — и что старец воистину положен и облечен в нетлении в том же гробу, в каком схоронен был несколько веков тому назад.

После этого братия принялась ложкарить неусыпно с утра до вечера — долбили стамесками и послушники, и мантийные, каждому побольше заработать хотелось. — сказано было, что все примут в монастырскую лавку и цена для всех одинакова. Весною начали приносить Аккиндину дюжинами, друг перед другом спешили, — монах привычно осматривал, отбрасывал в корзину, развязывал кожаный мешок, звенел серебром, отсчитывал, — торговаться некогда было — брал подряд.

В лавке пахло ладаном росным, кипарисовым деревом, — нижегородские богомазы целую зиму писали старца, — иконы были разных размеров, слегка продолговатые, весело блестящие свежим просохшим лаком — деревянные келии, церкви, кругом лес сосновый и посреди старец в схиме с высоким загнутым посохом, — от двадцати копеек. Тут же лежали длинные снизки, стеклянные, — прозрачные и матовые на конце с крестиком, в виде четок, связками — штука три копейки и пятачок. На широком лотке книжечки — сокращенное житие старца, — копейка и копеечные иконки бумажные. Историческое описание пустыни и житие преподобного старца с видом обители и изображение Симеона и его чудеса — пятиалтынный, печатана в синодальной типографии, и скромно — гордость лавочника, — составлена иноком Аккиндином; — писал ее вечерами Поликарп по записям Аккиндина и весною обрадовал монаха, когда издание пришло в тюках со станции. Гордость Аккиндина — смирение, стыдливо опускал глаза и говорил:

— Не мудрствовал я, — по преданию.

В длинном ящике на прилавке — бархатные: черные, синие и темнобордовые шапочки — в виде скуфейки класть в раку к мощам и освященные одевать болящим и скудоумным — с нашитым из золотого и серебряного позумента крестиком. И тут же — ладонки сердечком с молитвой зашитою, — талисман от сердечной болезни. Кипарисовые кресты умирающим в руку — резные, афонские и сергиевских кустарей. Сердоликовые и из мастики — красные, желтые, синие крестики, а в середине глазок с видом обители и с Симеоном старцем. Фаянсовые чашки с надписями, — благословение святой пустыни старца Симеона Белобережского, — и с рисунками — те же виды, и на каждом монах рясофорный, благословляющий странника, — божественный товар монастырский, каждому на всякую цену.

Монастырская лавка внизу в старом соборе, дверь в дверь с приделом старца, где он покоился, — длинная, по обе стороны прилавки и за ними расторопные послушники. К открытию — стечение молящихся, — приказано построить лабаз в монастыре у ворот и вынести товар помощнику Аккиндина, самому же быть в главной лавке.

На пустыньке старца у колодца — ковши новые и не старый журавль, а бадья на веревке, и тут же сидение для монаха с тарелкой и пузырьками с изображением Симеона старца.

В хибарке Акакия белые сосновые брусья и два рубанка — стружку строгать и подавать в оконце верующих, — золотая душистая стружка, — оставшаяся еще от времен построения пустыни Симеоном старцем и около оконца зеленая кружка для меди — по усердию класть каждому, — выдающий поставлен следить, чтоб клали, и понуждать смиренно.

Муравейник кишел с утра до вечера, — спешили, готовились, устанавливали серебряную многопудовую раку для положения старца слева в приделе нового собора, — звенели молотки, шипел паяльник и два слесаря над ракою вделывали стальные жгуты для лампад.

Богомольцы съезжались заранее и неделю ждали открытия, — и дачные постройки и старая гостиница гудели людьми.

Деревенские ночевали в лесу, под открытым небом.

Сперва говорили, что приедет сам царь, но в последнюю неделю стало известно — не царь, а князь, иноки приуныли, но про неизвестного князя молчали.

Съехались иерархи.

Николка метался по монастырю, забегал к Поликарпу узнать — что, как, когда, кого куда посылать...

Гостиник Мисаил с коридорным замаялись, стали пускать в номера сколько войдет, — по таксе.

— Батюшка, я с больным, — не под открытым же небом нам оставаться.

— Ищите сами, может кто в номер пустит к себе.

На кухне дымило рыбой, чадили непрерывные самовары, наливавшиеся из огромного чана, и поминутно звонил коридорный звонок.

Хлопали квасные бутылки и звенели карманы у послушников от денег, за все брали сейчас же, чтоб в сутолоке потом не забыть.

Шныряли воры и сыщики.

— Батюшки, обокрали!.. К преподобному шла, берегла...

— Смотрела бы! А то уши развесила, — тут всякий народ толкается.

— Да как же, все грех-то тому!..

— Деньги всякого в грех вводят — тут не зевай!

Еще до открытия мощей торговали иконками, ложками, монастырскими видами; городской народ покупал открытки, — монастырская новинка, — вид озера: мельница, монах с удочкой на плотине; на озере старый пень и на пне слева — чудо господне — и около пня лодка и монах с удочкой, пустынька старца и опять монах, лесной колодец и общий вид пустыни — и всюду монахи.

Звенела медь, серебро, холщовые мешки с доходом относили Аккиндину в старый собор и в боковой комнате два послушника с почерневшими от серебра и меди руками на широком столе откладывали кучками пяточки, гривенники, пятиалтынные, двугривенные и укладывали в бумагу, подписывая — пять рублей, десять. Таскали в лабаз тюки с товарами.

У просфорни стояла очередь — широким ножом кроил послушник просфоры, выдавал Епафрас, — запасались заранее.

— Сколько тебе?

— Куму, свекору, тетке, отцу с матерью... Пять штук, батюшка!

— Каких тебе?

— Больших, батюшка, — с преподобным старцем.

— Плати двугривенный.

Баба развязывала где-то на груди потайной узелок, доставала деньги, отсчитывала и подавала мелочь.

Епафрас кричал на нее, поправляя очки:

— Да ты поскорей, милая, посмотри сколько еще дождаются.

Сзади ее торопили:

— Что ты, ай на базаре, прости господи!

В собор шли надписывать, — пять рясофорных монахов сидело у стены за столом и скребли гусиными перьями о здравии и за упокой.

— Кого писать, — говори!

— Пиши, батюшка, за упокой Евстигнея, о здравии Акулины, Ермолая, за упокой Мавру...

— Говори по порядку, кого за упокой?!

— Евстигнея, батюшка, Евстигнея...

— Ну еще — рабу Акулину, Ермолая...

— Акулину-то с Ермолаем о здравии...

— Ну да все равно, написано, — господь знает кто помер, кто жив, — дальше, тебе кого писать, говори!

Тут же на столе стоял круглый поднос и звенела медь, рыжий, толстый монах ссыпал их в мешок и клал сбоку — поднос снова наполнялся копейками, семитками, пятаками.

Деньги лились потоком, журча своим звоном и веселя иноков.

Николка только теперь понял, что недаром и лес продали, одна неделя все расходы окупит, а сколько этих недель впереди — не счесть, — и на пустыньке, и у колодца лесного, и на каждом шагу в монастыре слышал он этот звон радостный; иногда улыбался, завидев несущего холщовый мешок послушника, и спрашивал:

— Откуда?

— Из гостиницы, отец игумен...

— Много?

— Не считаны, отец игумен...

— Ну, неси.

Потом останавливал снова его:

— Не знаешь, сколько народу?..

— Тысячи, отец игумен, — тысячи!.. Народу не счесть!

Шел и думал, что если от каждого обитель получит гривенник, то миллионы соберутся в монастырской казне.

Верхний этаж новой гостиницы снова наполнился духовенством. С архиереями приехали соборный причт, рипидчики пронесли утварь в старый храм, иподиакона разбирали облачения — Иоасафу монастырь в подарок новое приготовил — из нового золота с золотыми филигранными бубенчиками-застежками. Послушники чистили мелом дикирии и трикирии и в притворе храма шла суета и спешка.

Богомольцы толпились всюду, стараясь проникнуть, услышать, глазком глянуть и на каждом шагу находили святость и монаха с кружкою — развязывали узелки, доставали гаманы, звеня медяками.

Перед схимниками, проходившими из собора в скит, расступались молча и боязливо. В скиту в старом деревянном храме с каменной подвальной церковью непрерывно шла служба, — гнусавили старики молебны и панихиды и собирали полные тарелки денег.

Из скита — может быть, Досифей шамкал, — между иноками пронесся слух, слышали многие, как бормотал Васька:

— Колокол, колокол... упадет на головы нечестивых... когда вынесут из старого собора мощи в новый... Зазвонит и упадет, сорвется и великое множество погибнет молящихся... но будет великое чудо, великое...

И этот слух — шепотком, тайно — проник в кельи, и монахи, проходя мимо колокольной, невольно закидывали головы и смотрели на колокол.

Васенька, в том же старом, заплатанном подряснике, с трясущейся бородкой, бродил по монастырю и тоже останавливался около колокольной, безумными глазами вглядывался вверх и шептал:

— Великий гнев, великий... тысячи погибнут от него, тысячи!..

Богомольцы оборачивались на блаженного и шептали:

— Васенька, — блаженный, юродивый...

— Устами блаженных господь глаголет.

И, не понимая слов его, смотрели на колокольную, собирая вокруг себя любопытных, пока не подходил монах и не уговаривал разойтись, — оглядывался, искал глазами виновника и не находил, — Васенька исчезал и бормотал уже в другом конце пустыни.

Вечером вызвал к себе Поликарп игумена и спросил:

— Вы слышали?..

— Что, отец иеромонах?

— Кто-то слух распустил про колокол — иноки беспокойны.

Николка побледнел и ответил шепотом:

— Слышал, да, слышал. Мне говорили, что двух каких-то поймала полиция, — говорят, бунтовщики этот слух пустили, чтобы помешать великому торжеству.

Поликарп хмурился, глаза сверкали исподлобья и он говорил, не смотря на Николку:

— Это свои, отец игумен, надо найти, — злобствует кто-то!

Но найти и дознаться кто первый сказал — нельзя было, каждый сваливал на другого, другой на третьего, и откуда исходил этот слух — никто не знал.

Братия целую ночь не спала, ожидая торжества открытия.

Ложась, Поликарп приказал Борису:

— Завтра из келии никуда не отлучайся!

Борис растерянно взглянул на него и молча пошел в свою боковую комнату.

Поликарп выходил из келии редко, но все знал и все

видел. Монахи смотрели на него со страхом и при встрече кланялись ниже, чем самому игумену, стараясь не глядеть на него — боялись взгляда жгучего и сурового, каждый знал, что слово его весильно, — взгляд — всевидящ и Гервасий — ничто.

Стечение народа было великое — и у монастыря, и в лесу, и у старой корчмы еврейской.

Монахи в лес уходили подальше от глаз Поликарпа, в сторону казенного за полотно железной дороги и у выкреста находили водку, а на опушке по вечерам солдатики взвизгивали, заливаясь хохотом, и корчмарь зажил спокойнее, и у него от монастырских строгостей доход прибавился — иноки ночевали в лесу и приходили к нему поесть, а после трапезы на другой день возвращались в келии. Про явленную икону старца было велено замолчать, но у лесной дороги появился крест и печатное изображение Симеона — молодой корчмарь приходившим рассказывал о великом чуде, а иноки таинственным шепотом в монастыре подтверждали его, и потянулись богомольцы поклониться святому месту, останавливались у корчмы поесть и воды выпить, — хозяйство в корчме увеличилось — сбоку две сосновых избы и сарай поставили для проезжих и богомольцев. У молодого — дружба с монахами повелась и через послушника Аккиндина купил он иконок, крестиков, бус и перед открытием торговал бойко.

Около корчмы толпился народ, — в монастыре полно, голову преклонить негде; в избах остановились из города, — переночевав, на заре идти в монастырь на открытие, — без сутолоки, отдохнувши и не торопясь.

К вечеру подъехала барская коляска к корчме, остановились напоить лошадей. Потом, узнав о людском стечении у богомольцев и о том, что в гостинице переполнено, — кучер говорил барыне:

— Тут бы нам ночевать, барыня, а то в монастыре с лошадьми беда будет...

Вера Алексеевна вышла из коляски с тонким худым человеком во фраке.

Гарманский брезгливо осмотрел корчму, — выбежал Матвей, — при крещении имя такое дали Мойше, чтоб и старое напоминало всегда, а звать стали — Мотькою.

Есть у вас где переночевать?

— Не знаю, как услужить — все занято, все занято, вот

если не побрегуте в старом доме, а мы уж со всеми, на улице.

И сейчас добавил, заметив брезгливую улыбку на лице у приехавшего:

— В монастыре же столько народу, столько народу — живому человеку в гостиницу не войти, а у меня чисто, совсем чисто...

Барманский пожал плечами и обратился к Костицыной:

— Что же, Вера Алексеевна, — мы остаемся?!

— Надо же где-нибудь ночевать, Валентин Викторович, — не оставаться же в лесу под открытым небом?! И потом некуда деть лошадей...

— Что же, я должен повиноваться вам — княжна приказала... Нет, вы подумайте, как поэтично, — в лесу, в старой корчме!.. И с вами... вдвоем!..

Костицына сверкнула глазами, хотела сказать — оставьте, — но Барманский будто не заметил.

Корчмарь внес вечером самовар, две чашки и чайник с синенькими ободками.

Вера Алексеевна вспомнила, что ничего не взяла с собою в надежде, что в монастыре их накормят не хуже прошлого раза, когда гостила там с губернаторской дочерью, и обратилась к корчмарю:

— Нет ли у вас к чаю чего-нибудь, — хлеба?..

— Хлеба, — розанки есть и чайная колбаса...

Барманский что-то хотел спросить, — Костицына не дала ему говорить, обратилась к Матвею:

— Принесите и колбасы, и хлеба и, если есть, сахару.

В открытое окно тянуло паленой хвоей, — напротив в лесу у костра сидели богомольцы и ужинали. Звенели комары, налетая на свет, доносилось ржание лошадей и смутный, неясный звук голосов.

Барманский положив фалды фрака своего на колени, вытянулся под столом, худой, длинный, с тщательно зачесанной плешью, и, наклонив голову, брезгливо, но с досадным аппетитом пил чай с хлебом и с колбасою. Выпил две чашки и снова начал:

— Ну, разве не поэтично, Вера Алексеевна?! А вы сердитесь на меня, — чем же я виноват, что судьба нас привела в эту корчму?! Вы не хотите понять, не верите, что человек до сих пор жаждет любви, поэзии, а вы — оттолкнули меня...

Корчмарь вошел убрать посуду, и Барманский обратился к нему:

— А у вас, вероятно, тоже не хуже монастырских доходы, — а?!

— Какие у нас доходы, — кормимся, едим хлеб — и все доходы...

— Ну, а преподобный старец не помогает разве, не творит чудес?..

— Все же святые в монастырях творят чудеса, — нет таких, которые бы чудес не творили...

— С вами тоже старец сотворил чудо.

Корчмарь почувствовал, что приезжий хочет поиздеваться над ним, и отвечал коротко, односложно, нехотя:

— Отчего же ему не творить чудес, — это же ему полагается...

— А вы чудеса видели, — исцеляет он, действительно помогает многим?!

Еврей рассердился, покраснел, не дал гостю окончить и, собирая со стола посуду, сказал медленно, точно с презрением:

— Очень даже помогает Симеон старец, — сам я не видел и не знаю, кто видел, но помогает, — многим — не знаю этого, — а только — многим не многим, но кое-кому очень даже старец помог!..

И вслед ушедшему корчмарю захохотал Барманский.

— Нет, вы слышали, Вера Алексеевна, — мне это очень нравится! По-ра-зительно! Очевидно, старец ему очень помог...

Смеясь, Барманский достал портсигар и хотел прикурить. Костицына, кусая губы, слушала разговор с корчмарем, видела, как он волнуется, и когда чиркнула спичка — вздрогнула и сказала:

— Валентин Викторович, идите курить на улицу...

Барманский опять съязвил:

— Турецкий дюбек не нравится — привыкли к английскому.

Костицына переделалась и в капоте легла на постель, возмущенная разговором Барманского с корчмарем и намеком на инженера Дракина.

Барманский вышел во двор, остановил проходившего еврея и, не сдерживаясь, начал снова:

— А зачем вы переменили религию? И вы верите в Христа?

— Почему же не верить в него, если он мне ничего плохого не сделал, верю же я богу...

— Своему?

— И вашему тоже, вы же взяли его у нас, а говорите, что он ваш был; и пророки, и Моисей и другие — они наши, а вы же их взяли у нас и верите им, — они все были от нашего бога, а вы и пророков и его взяли себе — и верите, почему же я не могу верить богу, если он наш и ваш?..

С улицы позвали Мотьку приехавшие, он побежал к ним, Барманский докуривал папироску, загасил окурочок и пошел в корчму, подумав, — этот корчмарь не хуже иезуита польского.

Вошел на цыпочках — носки лакированных полуботинок поскрипывали, Костицына встала...

— Я не сплю, можете не беспокоиться...

Потушили свечу, Вера Алексеевна снова легла, Барманский снял фрак, полуботинки и тоже заскрипел постелью, — полежал, вздохнул раза два...

— Вас, Вера Алексеевна, не беспокоит мое присутствие?

Ответила просто, — думала о Дракине, о Зине, о своей жизни и на минуту ее охватила тревога за свою жизнь — пустынную, выжженную обманом нелюбимому мужу и неприкаянную пустоту лживости.

— Нет, Валентин Викторович, я устала сегодня — хочется отдохнуть...

— Но вы вообразите, мы здесь одни, вдвоем в одной комнате — эта необычность вас не волнует?.. Влюбленный и отвергнутый поклонник вдвоем с тою женщиной, которой он поклоняется...

— Оставьте, Валентин Викторович, — мы едем на большое торжество — я ни о чем ином и не думаю, мне сейчас всё равно, кто бы здесь ни был.

Старалась говорить как можно спокойнее, но слова Барманского испугали, подумала, что такой, как он, способен на все, — может подойти к спящей, поцеловать, или... передернулась от брезгливости, и мысль эта стала навязчивой, решила не спать до утра, — если б случилось что — против его силы сонная не смогла бы бороться, кричать бы себе не позволила. Барманский долго ворочался, вздыхал и захрапел. Вздвигивающий храп раздражал — долгий, закатистый и противный, — встала, открыла окно, но оставаться в комнате не могла — вышла во двор.

Против крыльца в плетеном сарае кто-то говорил, и сквозь шелки ворот тускло взблескивал огонек. За сараем неслышно шумели сосны хмурою чернотой ночи,

пахло смолой и смолянистой лесной прохладой. Потом, может быть, показалось только, ухнула глухо сова, и снова смолкла, через минуту этот звук повторился острее и сделался непрерывным, плачущим, напряженно прислушалась, — показалось, кто-то беспомощно плачет там, в плетеном сарае. Сжалась вся и пошла к деревянной двери.

На земле подле толстого стеаринового огарка сидел в лохмотьях черный мужик, налились кровью глаза под шапкою черных волос, впились в мальчика, привязанного к старому изрубленному пню, другой — урод, с вывихнутой рукой, худой и такой же оборванный нагревал на свечке железный прут и жег мальчику обнаженный локоть, тот только мычал — рот был заткнут тряпкою и по щекам текли слезы из глаз, — один глаз был, только перед этим, когда в первый раз сова ухнула, вывернут черным нищим, и слезы у мальчика текли из-под красных неморгавших кровавых век, белок выпирал пересеченный кровавыми нитями тонких жилок; от прикосновения раскаленного прута к телу мальчик вздрагивал и мычал, черный мужик бил его по затылку, коротко взмахивая ладонью, и удар был сухим, коротким.

— Молчи ты, щенок, задаром, что ли, взяли тебя, — нахлебник нашелся, — а ты в жилы ему вдавливай, — боишься, что ль?! Подавать будут больше, — молчи, щенок!

Костицына подошла и стала глядеть в щель, сперва ничего не погла понять, но, когда застонал мальчик, сразу увидала его всего и слезящийся, точно кровью, глаз и на маленьком, тонком локте красные пятна ожогов, — потом — черного мужика и худого калеку с железным прутом.

Дикий крик резанул нищих.

— А-ах!..

Грузно упало около ворот скрипнувших.

Черный мужик подбежал, глянул в щель...

— Митька, отвязывай! Поймают!

Не знала, сколько пролежала одна у плетневого сарая, ничего на помнила — побледневшее небо позолотило стволы сосен — встала, взглянула в открытую дверь сарая и закрыла лицо руками, снова показалось, что кто-то там стонет, и сейчас вспомнила, — облилась потом холодного ужаса и побежала в корчму. Нищие ушли в лес.

Барманский, заложив руки за голову, раскинув длинные

ноги, храпел и от храпа вздрагивал и вертел головой — над нею звенели болотные комары.

Села у окна и, не двигаясь, сидела с закрытыми глазами, пока не начали напротив просыпаться богомольцы и не подошел к корчме кучер, — увидел барыню и подошел к ней.

— Надо лошадей напоить, да собираться будем, — народ уж пошел.

Ничего не ответила. Кучер повторил снова, — непонимающим взглядом посмотрела на него и опять ничего не ответила, тот подумал, что не в себе барыня, повернулся и, ухмыляясь, пошел к лошадям.

Комары разбудили Барманского, широко раскрыл глаза, спросонья ничего не видя, провел рукою по накусанному лицу и вскочил с постели, удивленно взглянул на Костицыну.

— Это в окно они налетели.

Вера Алексеевна обернулась, взглянула на него и не ответила.

— У меня все лицо распухло, — какой ужас!

Костицына не пошевелилась.

— Безбожница вы, как я теперь поеду?!

— Поедьте домой, отвезите меня...

Занятый собою, рассматривал себя в кривое зеркало и продолжал:

— Княжна приказала вас привезти и потом князь... свита великого князя, может быть, встречу друзей и, о ужас, — искусанный, вы посмотрите — и руки тоже — волдыри, прямо, — обезображен, — безбожная вы...

Выбежал во двор умываться. Костицына преодолела себя, собрала последние силы, закрыла дверь на крючок и начала одевать белое платье. От падения болела голова, затылок давила двойная боль — ушиба и пережитого ужаса, из глаз не уходил стонущий мальчик, вспомнился рассказ жены ключаря и ужас еще сильнее ее охватил. С трудом застегивала крючки — ослабевшие руки не находили петель. Причесываясь, увидела себя в зеркало, — кривизна его еще больше искажала измученное, обескровленное лицо с провалившимися глазами. Потом вернулся Барманский...

— Знаете, я все время умывался там у колодца, целые пятнадцать минут, может быть, будет не так заметно.

Ничего ему не ответила, — слова залетали и не доходили

до сознания, все время слышался голос черного мужика, «подавать будут больше».

Далеко загудел колокол лесным серебром и медью — вспыхнула золотом кора сосен и вошел кучер.

— Барыня, ударили уж — давно подано.

Нагоняли богомольцев, нищих, и Вера Алексеевна, думая все время о стонавшем мальчике, все время обертывалась, точно хотела узнать его среди идущих к монастырю на его раскатистый звон.

Целую ночь у монастыря горели костры богомольцев, то вспыхивая, то затухая, и сизый дым полотнищами тянулся к лесной дороге и расползался в просеки; не смолкал мутный говор; в гостинице вспыхивали окна, перемигиваясь с окнами. От святых ворот и до гостиницы стояли колымаги калек и нищих, и когда начал подыматься туман — и белесая полоса скользнула на востоке первым горячим лучом — потухли костры, заволновалось людское море — в кичках, паневах и сарафанах, в кубовых юбках и красных плахтах, замелькали посконные рубахи, свиты и яркие головные бабьи платки, и заголосили нищие и слепцы, выставляя свое убожество, — мычали немые широко открытыми буззубыми ртами, выставляли искаленные оголенные руки и ноги с красными и синеватобурыми отеками и ожогами, гнусавили нищие и высовывались из колымаг идиоты с дикими и бессмысленными выкриками, к утру пришли из лесу новые — с вывороченными глазами, на костылях, привезли на тачке безногого и поставили, ругаясь матерно из-за места, около святых ворот, где сидели слепцы с гуслиями и пели гнусаво стихи о грешной душе мужицкой:

— С малешеньку дитя свое проклинывала, во белых во грудях его засыпывала, в утробе младенца запорчивала, — еще душа богу согрешила; мужа с женой я поразваживала, золотые венцы поразлучивала; не по-праведну землю разделивала, я между через между перекадывала, с чужой нивы земли укладывала, не по-праведну покосы разделивала, вешну за вешну позатыркивала, чужую полосу позакашивала, — в этих во грехах богу не каялася...

Заколыхалось море голов мужицких, сердобольные бабы раздавали слепцам баранки о погибшей душе — может, отыщется такая, сама выкликнет.

Заунывно тянули нищие:

— Без-род-но-о-о-му по-дай-те ко-пе-е-е-чку...

— Ка-леке убогому, не-ви-ду-у-ше-му...

— Слепым подайте Христа ради, да не оставит вас господь...

Звенели медяки в протянутые костлявыми руками деревянные чашки, а когда монета падала между двумя нищими, оба сразу кидались к ней, подползая и ругаясь шепотом, отталкивая один другого, пока кто-нибудь не схватит первым.

Потом начали выходить из гостиниц городские — появились монахи и юродивые, и толпа стала гуще и суетливее — хлынула в святые ворота и через конный двор и сзади через те, что у речки, и выехали конные жандармы и казаки.

Из новой гостиницы, не смотря на калек и нищих, прошло духовенство — торжественное и степенное, и когда к станции подошел экстренный царский поезд и по лесу впереди едущего великого князя пронеслись конные — зазвонили колокола у святых ворот, торжественно встретили губернские власти и духовенство и двинулись в старый собор.

Всю дорогу Костицына оглядывалась на богомольцев и нищих — испуганно вглядываясь в мутные лица слепцов и калек, и все время чувствовала, что это ее вина — и слепые, и нищие, и калеки, — и когда подъехала к монастырю и проходила сквозь стонущий ряд с протянутыми руками, — видела только руки, скрюченные пальцы, изломанные, вывихнутые руки, сожженные каленым железом, красные, кровяные, слезящиеся веки и вывернутые, может быть, и проткнутые глаза стариков и детей — шла и бросала серебро, не в чашки, а прямо на землю и видела, как эти руки и тела бросались к блестящим точкам и, толкая друг друга, вырывали у более беспомощных серебро. Боялась взглянуть и увидеть мальчика и черного косматого мужика.

Потом быстро обернулась к Барманскому и, может быть, не ему сказала:

— Господи, и это православная церковь!.. Неужели вы не чувствуете этот ужас!

И, повернув голову, у самого входа в святые ворота, там, где сидели ноющие слепцы, увидела мальчика, слабый, вздрагивающий, плачущий голосок без конца повторял заученное:

— Подайте безродному калеке невидущему.

Сзади него сидел черный мужик и басом гудел вслед за мальчиком.

На один момент ей, показалось, что она не выдержит и упадет в обморок; рванула из серебряной сумочки горсть монет, зацепила обручальным кольцом за нее и, не заметив, вместе с золотым ободком бросила деньги.

С другой стороны запела старуха нищая:

— Сохрани тебя царица небесная, преподобный старец...

В монастыре у ворот заметила лабаз с иконками, крестиками, пузырьками, чашками и торгующих монахов — рвавших у баб из рук деньги за людскую святыню — отвернулась и, стараясь отвлечь свой взгляд хоть чем-нибудь, увидела у собора толпу и в ней — узкий коридор из людей с блестящими пуговицами и бляхами. У входа стоял, загораживая руками проход, полицмейстер; увидев Барманского и Костицыну, он разулыбался и, опустя руки, мигнул околоточному проводить вошедших. В этот момент она увидела высокого, черного монаха, опередившего ее и взглянувшего из-под нависшего лба своими черными, жесткими глазами, и сразу вспомнилось что-то далекое, позабытое, колыхнулось испуганно сердце и забилося тоскою и горечью тяжело и глухо. Вся ощутила, что ее кто-то несет на руках, потом вспомнила вечера, когда смеялась над неуклюжей любовью угрюмого человека, и еще ярче — клобук и опущенные черные глаза, застывшие и суровые — и все это мелькнуло в одно мгновение и пронеслось, — он, Андрей Лазарев, — и сердце еще глуше падало отчаяньем в темноту. Искалеченный мальчик, черный монах, бессонная ночь и стон нищих — стонала душа ее и слабо тело. Вошла в храм, хотела идти за расталкивающим полицейским, но в этот момент — толпа колыхнулась, пронесся шепот, — несут, — и ее отделили от Барманского и околоточного — затерли в бок, давя со всех сторон.

Не было сил двигаться и говорить, чувствовала, что ее несут и несет он, Андрей, из вертепа, — отдалась этому чувству и двигалась куда-то, сама не зная.

Братия не спала почти всю ночь, ожидая торжественного часа, когда понесут мощи основателя пустыни в новый собор. С восходом солнца слились с богомольцами, и шепотом передавали о том, что когда понесут, когда вынесут только из старого собора — упадет колокол. Тревога росла вместе с приближением этого момента. Васька бродил среди монахов и богомольцем и тихо бормотал о том же, о чем шептались монахи, и начали перешептываться богомольцы, с тревогою поглядывая на

колокольную. Потом иноки вошли в храм, за ними хлынули богомольцы и в собор никого не впускали больше, оставив место для великого князя, титулованных гостей и своих и приезжих. Вместе с наступлением великой минуты, когда подымут гроб старца и запоют в первый раз тропарь преподобному, — должно наступить самое страшное — обрушится колокол, — теперь даже уже говорили, за что покарает обитель господень гнев — за блудную жизнь инока, настоятеля обители, игумена и архимандрита Гервасия, одевшего сегодня в первый раз золотую митру с драгоценными камнями, по особой грамоте из синода. Правда, об этом говорили не все, но о том, что случится несчастье великое — знал каждый и ждал гнева господня с трепетом, как неизбежного. И в то же время у каждого было чувство, что должно случиться великое чудо Симеона-старца — колокол будет звонить, но господь покарает великого грешника, — кое-кто из монахов знал, что игумена.

И когда стали выносить мощи и по лестнице медленно заколыхался дубовый, тяжелый гроб, окруженный вычищенными рипидами и свечами ипподиаконских дикириев и трикириев и золотом митр, облачения и мундиров, когда первые вышли уже из храма и ударил серебряный звон большого колокола, а за ним на разные голоса подголоски, заливаясь вперебой смехом и радостью, — не выдержал кто-то из иноков давившего целый день напряжения, крикнул, сходя с порожков соборных: — «Звонит, звонит», — и сейчас же за этим понеслась сперва шепотом, а потом все громче и громче: — Чудо, великое чудо! — и волна хлынула увидеть великое чудо Симеона-старца и того, кого покарал господь, надавила на идущих впереди и понесла в своем потоке тех, кто ослабел от духоты и усталости. И в этот же момент Костицына почувствовала, что у ней нет больше сил стоять на ногах — ее выносила куда-то толпа, ноги беспомощно задевают за что-то, спотыкаясь, и когда на лестнице уже, не видя порожков, она оступилась, сердце упало еще сильнее и глуше, и она поняла, в один и тот же момент, что действительно совершилось чудо — она снова нашла Андрея, и что она куда-то падает. В этот же момент она вскрикнула, стоявшие за нею на мгновение отшатнулись и дали ей упасть, а задние, услышав крик, подумали, что совершилось чудо — старец покарал великого грешника, и колокол велегласно звонит, — сдавили передних и переступали

через бьющуюся в белом женщину, окровавленную уже и стонущую.

Толпа схлынула; около полураздавленной женщины собралось несколько монахов, и она, открыв на одну минуту глаза, встретила большие, черные, в смертельной тоске зрачков, холодных, замкнутых и молчаливых, — потом ей стало так хорошо и легко, на одну минуту она почувствовала, что он с нею, и даже промелькнула молнией мысль, что он и теперь спасет ее — второй раз от смерти, а тогда настанет большое счастье и новая жизнь, потом снова наступила бессознательность, и она только чувствовала, что ее кто-то несет. Не было сил открыть глаза и взглянуть, но во всей была уверенность, что это он несет ее на руках к себе.

Черный монах еще больше сдвинул лоб, черные волосы из-под клобука свисали змеями от склонившейся головы, и он стал сутулым, мрачным.

Женщину понесли за трапезу и позади келий внесли к Поликарпу.

Очнулась она на минуту, вечером, когда торжество окончилось, но по-прежнему еще гудел народ в монастырских стенах и стонали нищие. Увидела над собою черные большие глаза, и ей казалось, что крикнула, но Поликарп наклонился над ней еще ниже, чтобы расслышать шепот.

— Спаси меня, — ты можешь, спаси, Андрей!

Потом еще тише и медленней:

— Я всю жизнь искала тебя, ждала, — спаси.

И неслышно почти, одними губами:

— Одного тебя любила — всю жизнь.

Монах закаменел и впился в нее глазами. Ждал, что она еще что-нибудь скажет, и не дождался. Встал, взглянул на стоявшего у двери Бориса и сказал, рванув из нутра, два слова:

— Кончено. Умерла.

О случившемся старались молчать, все знали, что случилось несчастье, кого-то задавили, но кого — не знали, и только, когда она умерла, сообщили княжне Рясной, перенесли в гостиницу и дали телеграмму мужу, провожавшему с губернатором великого князя, и инженеру Дракину.

Утром около гостиницы затарахтел автомобиль, бритый, высокий человек в английском пальто и кепке с каменным застывшим лицом вынес на руках женщину, бережно

положил ее, вскочил к рулю, рывкнул рожком и скрылся за гостиницей, ускоряя ход.

VII.

И снова начались монастырские будни — монахи ходили теперь в положенный день к казначею за жалованьем, по установленной очереди в новый собор, к службе, в лавке Аккиндин торговал иконками, бусами, ложками, рассказывая о чудесах старца и всовывая каждому, кому мог, житие старца. Снова появились купчихи, только монахи научились прятать грехи свои, и в келии приводили для духовной беседы и не гнушались молодыми огурчиками, виноградом, дынями, завели себе шелковые рясы, мантии и не выходили в монастырь в скуфейках. Игуменом разрешено даже было, кто по усердию из богомолков пожелает послужить обители, допускать в келии мыть полы, но чтобы иноки не выносили на показ пригрешения. Следил за всем Поликарп и приятель его, оставшийся в монастыре. Николка блаженствовал, появляясь в митре в сослужении с иеромонахами у мощей старца. Один раз был и на хуторе — навестить Аришу, благословил ее и, будто никогда между ними не было ничего, говорил спокойно и деловито, расспрашивал о хозяйстве и только уходя спросил о деньгах:

— Целы они у тебя? Хорошо спрятаны?.. Смотри, береги!

О ребенке ни слова не спросил, не заметил даже. Арише горько стало, обида серою пеленой легла на глаза, закутав печалью туманною, подумала, — чужой теперь стал и ребенок не приласкал своего, взглянул только, боится за деньги свои, — целый вечер говорила мальчику сказки и думала, — лучше бы взял эти деньги свои, и без них проживу — с ребенком не пропаду, — и не вышла его проводить. Николка возвращался степенно и ходил теперь не в подряснике и скуфейке, а всегда носил мантию и клобук. Зашел на мельницу, деловито осмотрел монастырские сети, заметил, что не починены, и начал выговаривать старому мельнику:

— У тебя, отец Маврикий, непорядки пошли, — ты бы приказал послушникам починить, да просушивали бы на солнце — загниют они у тебя.

В белом мучном подряснике, в скуфейке с подвернутыми в нее волосами, бородатый, сильный и изворотливый, ладивший с полпенскими мужиками и выпивавший с ними

по-дружески, монах покосился на игумена и обрезал его, но так, будто кается в своей нерадивости:

— Порядки наши известные, отец игумен, — не доглядеть одному за всеми — намедни целую неделю работали не покладая рук — стало просачивать, загатили заново, — не доглядеть одному за всем, раньше бывало и вы почаще наведывались, с хутора идете бывало, — нет, нет и заглянете.

В монастыре зазвонили к вечерне и Николка заспешил в монастырь.

— Сам знаешь, отец Маврикий, сколько теперь у меня забот, на то ты и поставлен тут, — сам хозяин и сам должен блюсти достояние нашей обители, — теперь другие времена, а не нравится — просись в обитель. Догляди за послушниками, да прикажи им!..

Маврикий поежился и не ответил игумену, — больше двадцати лет он мельницу вел, еще при Савве игумене пришел работать сюда из той же Полпенки, после смерти жены. Маврикий помнил Николку послушником, катающим по озеру дачниц, когда еще первые годы на мельнице был помощником, считал его, как и всех, погубителем и искусителем, — в монастырь он пошел из-за выгоды и добился ее у Николки же молчанием своим, когда у игумена завелась на хуторе монашенка, выгораживая и защищая от монахов, блюдя свою выгоду — не допускал Николку в хозяйство мельничное и теперь в первый раз от него услышал наставление. Хотел и большее сказать, да вспомнил, что теперь он в почете и может в самое неудобное время помешать его ребятам обзаводиться своим хозяйством — из монастырского лесу рубить избы. Проводил игумена и отплюнулся, крикнув послушникам, чтоб развесили просушить сети.

Когда увозил инженер Костицыну из монастыря, Поликарп не вышел из кельи, заперся и Борису разрешил делать что хочет — два дня не ходил за трапезу, ничего не ел, пока к нему не зашел Ксенофонт, — Борис ему не решился отказать, открывая дверь.

Ксенофонт вбежал, изумленно посмотрел на товарища, лежавшего на диване с неподвижными черными глазами, ушедшими еще глубже от поста и бессонницы и, всплеснув руками, начал его поднимать:

— Что с тобою случилось?! Что, милый друг?! Видишь, вот и у тебя нервы не выдержали... Нехорошо распускаться — никогда не унываю. Царствие божие внутри нас, а ты

все ждешь его и творишь?! Неужели смерть женщины поколебала тебя?.. Ты ведь сильнее жизни.

И нельзя было понять — смеется Ксенофонт над Поликарпом или это только вечная несходящая улыбка доброты на его лице. Он тоже запомнил умершую девушкой, приходившую в лавру и спросившую у него о студенте Лазареве, — так хорошо запомнил, что сразу узнал ее, когда Костицыну несли к Поликарпу в келию, но в ту минуту не подошел к нему, а только улыбнулся, а теперь пришел навестить товарища и главное посмотреть, как принял он эту смерть. У него даже шевельнулось где-то, что это он ее и убил, виновником смерти был, поэтому и уколол его, сказав, что сильнее жизни. Но ни одним звуком не выдал себя, что узнал ее, приходившую в лавру к Лазареву. А вопрос — неужели тебя смерть женщины поколебала, тоже звучал уколom товарищу, который в своей замкнутости и одиночестве, с теорией грядущего царствия, казалось, мог устоять перед чем угодно, а, может быть, и до жестокости дойти христианской. Ксенофонт хорошо помнил, когда Поликарп, защищая степень свою, говорил: грядущее царство Христа для верующих, для его учеников и последователей — безмятежная радость добра и непротивления, любовь к ближнему, как к самому себе, но ближний только тот, кто принял учение о грядущем царствии, а все остальные враги его, — плевелы, — которые надо вырвать с корнем и сжечь огнем. И когда Поликарп после получения степени принял монашество и сделался яростным церковником, чуть ли не подвижником и аскетом, как про него говорили. Ксенофонт отказался понимать его и старался только о том, чтобы быть ближе к нему и выяснить для своих особых целей — зачем это делается, что общего между церковным фанатизмом и его грядущим царствием.

Поликарп быстро поднялся, отстранил объятия.

— Смерть всегда налагает свою печать, против нее смертному трудно пройти спокойно... Она всегда заставляет задуматься о своем конце.

— Да, да-а, мне вот некогда о себе подумать... Ты, милый друг, счастливый, у тебя есть время на это, а я...

— Тебе кто-нибудь мешает?

— Ты счастливый, а я должен сочинять проповеди, печататься в церковных журналах, спорить до пены у рта, до потери сознания с сектантами, — тебе хорошо — ты только делаешь, а говорить, писать — страшно ответ-

ственно. Ты один раз написал, поразил отцов церкви и приступил к делу, а мне, милый друг, писать, говорить, без конца спорить...

— Я не умею говорить и не люблю. Многословие не есть спасение...

— Знаешь, зачем я пришел к тебе? Хочу в лес и одному неловко идти, пойдем, посмотрим, как они называют это: «Шапка Мономаха», «Царственная Елка»... в каждой обители есть своя красота и святость... А ты, вероятно, и не был еще...

— Был и все знаю!

— Прости, милый друг, прости, я позабыл, запомнил...

Поликарп вместе с Ксенофонтом прошел через пустыньку старца, где томились богомольцы, — длинная очередь стояла за стружками, — монах выдавал в конце хибарки, а два послушника строгали их от бруска, — потные, красные, отхлебывая холодный квас из стоявшего подле них кувшина.

— Батюшка, а мне-то, мне — сделай милость, дай еще...

— Становись в очередь.

Баба шла и терпеливо ждала, пока длинная вереница не сокращалась и она снова не получала золотое смолистое кольцо стружки.

— Истинно чудо господне — нетленные...

Из-под корней выгребали песок пригоршнями и завязывали в узелки от головной боли, от всякой немочи.

Ксенофонт умилялся вере, — простой, наивной — и говорил Поликарпу:

— Видишь, милый друг, это все ты, все ты, — ради грядущего царствования делаешь, а моя участь — говорить, спорить, доказывать.

Поликарп всю дорогу молчал, иногда бросал односложные фразы и, насупившись, шел к царственной елке, — перед глазами стояла умирающая и шепчущая последние слова о своей любви, и закаменевшее сердце не приняло слов, только душа унеслась к прошлому, к собственной муке. И еще — хорошо запомнился презрительный взгляд приехавшего в автомобиле высокого, сухого человека с бритым лицом, быть может, по-своему, такого же сурового, как и сам Поликарп.

И до осени ходил навещать Поликарпа Ксенофонт — ласковый, многоречивый, только не было в словах его искренности. Ходил по лесу молча — не верил товарищу

Поликарп, хранил от всех мечту свою о грядущем царствии, на все вопросы Ксенофонта отвечал, — ты знаешь.

— А может быть, милый друг, мы вдвоем бы искали этот путь грядущего, а ты не веришь мне, думаешь, что я подослан следить за тобою. Ты скажи, самое главное мне скажи, и я уверую. Мне дар слова дан от господя, ты не знаешь, что могли бы мы вдвоем сделать, за нами бы и другие пошли — уверовали...

Ходили всегда к мельнице. Поликарп молча стоял на плотине и подолгу смотрел на отражающиеся сосны и ели, на затоны белых мелей с золотыми бусами кувшинок и постоянно слышал восхищение Ксенофонта и безумолчный голос его со вздохами.

Возвращались к вечеру в монастырь ужинать.

И в этот раз пришли, когда ударили повесть к трапезной.

Около гостиницы суетились деревенские богомолки, плача от какого-то неожиданного и большого горя. Около подъездов стояли линейки, монахи растерянно смотрели на уходивших, игумен что-то говорил гостинику, широко размахивая руками и показывая на прилепленное объявление у дверей гостиницы. Многие бабы плакали, причитая:

— Не увижу я соколика моего ясного, без меня уйдет...

— И как же это, случилось-то как!..

Мужики торопили баб:

— Скорее ты, — потом помолишься, на чугунок-то не поспеешь, гляди народу-то сколько...

Ксенофонт подбежал к игумену и начал читать розовое объявление, с трудом разбирая напечатанное. Потом подбежал к Поликарпу — взволнованный и тоже растерянный.

— Что случилось?

— Мобилизация, милый друг, объявлена, а мы тут сидим, ничего не знаем... я тоже должен ехать, я приписан к полку, — покину тебя, милый друг, — собираться пойду... Но мы встретимся... я найду тебя, обязательно!

Поликарп проводил Ксенофонта до кельи эконома, где тот остановился, и, войдя в келию, сказал Борису:

— Восстанут народ на народ и царство на царство, и будут глады и смятения, и во всех народах прежде должно быть проповедано евангелие. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за

имя мое. Горе беременным и питающим сосцами в те дни! И если бы господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых он избрал, сократил те дни. И тогда он соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. А что вам говорю всем: бодрствуйте!

Послушник удивленно посмотрел на своего учителя.

— Ты ничего не знаешь?

— Ничего, учитель!

— Объявлена мобилизация и будет война, — всеевропейская.

— Господи!..

— Не плакать, а радоваться должно, ибо приблизится грядущее царствие.

VIII.

Послушники, строгавшие золотую стружку, запасные солдаты, ушли на войну; увели с конюшни жеребцов, числившихся в ремонтной комиссии, снова опустел монастырь и приуныли без богомольцев монахи. Одиноко стояла в левом приделе нового собора серебряная рака преподобного старца и глухим шепотом читали схимники бесконечные, заученные наизусть псалмы. Николка ходил опущенный, — мечтал, что монастырские доходы потекут вместе со славою о чудесах и о его игуменстве. Потом приехал исправник и пошел прямо в игуменские покои, — послушники испуганно зашептались, боясь призыва в армию. Костя молча открыл дверь и впустил начальство, остался в прихожей и слышал, как исправник говорил игумену:

— Ничего не могу сделать, отец игумен, — распоряжение губернатора, нельзя же людей оставлять без крова!

— Но ведь это же великий соблазн братии, наш монастырь строгий!..

— Приказано вас уведомить. Я сам небольшое лицо и обязан исполнять распоряжения...

— Но куда же их разместить?

— В дачи, у вас дачи пустуют, а потом в людские бараки... Завтра придет первый поезд, пусть иноки помогут несчастным людям!..

— А кто же их кормить будет? У нас монастырь бедный, братия питается скудно...

Исправнику надоело слушать и уговаривать, и он приказал:

— Вышлите линейки на станцию и разместите в дачах, — теперь все подчиняются распоряжениям военных властей и никуда никакие просьбы не могут помочь.

Растерянный Николка прибежал к Поликарпу, рассказал ему...

— Вы говорите, беженцы?

— Братии великое искушение... Составьте просьбу в синод, спасите обитель нашу. Объедят они нас, обидят...

— Мы должны подчиниться!..

Рано утром на запасном пути остановился товарный поезд и люди начали выгружать из вагонов корзинки, кульки, свертки, оглядываясь на лес и платформу. Поезд ушел, и все остались дожидаться, приставая к станционному монаху, обычно бегавшему около вагонов пассажирских поездов и собиравшему даяние на обитель, позванивая колокольчиком.

Люди сидели на тюках, семьями, развязывали корзинки и ели, запивая водой из чайников; на платформе появились очистки, какие-то бумажки. Мимо проходили воинские поезда, начальник станции метался, выбегая с путевыми и снова исчезал в телеграфной комнате, постукивая аппаратом.

— Вышел воинский номер 269.

С соседней станции снова его вызывал телеграф, и он кричал сторожу:

— С Мылинки на запасный принять эшелоны.

Беженцы толкались по станции, ловили начальника:

— Когда же нас повезут?

— Ничего не знаю. Некогда мне. Не мое дело.

— К кому же нам обратиться, мы уже целую неделю в вагонах, у нас дети.

Белокурая девушка звонким, слегка поющим с акцентом голосом спрашивала, кокетливо играя глазами:

— Какой вы невнимательный!.. Скажите, куда нас повезут? Где монастырь этот?

От семафора раздавался свисток, и начальник станции, отчаянно махая руками, бежал на станцию.

Монах испуганно смотрел на приехавших и не знал, что делать.

— Отцом игуменом ничего не было сказано... Ничего не знаю.

— Не можем же мы оставаться здесь!

— А монастырь ваш далеко?

Монах мотал головой, широко расставляя руки.

— Далекo, очень далеко... Монастырь далеко!

— Мы бы пошли...

— Болота у нас... утопнете... Не зная дороги, в лесу заблудитесь.

На запасном пути остановился эшелон, солдаты высыпали из вагонов, бежали за кипятком с манерками. Начальник эшелона воинственно-торжественный подходил к начальнику станции, — оба козыряли: один — коротко, по-военному, а другой растопыривая пальцы и смешно выворачивая руку.

Вместе шли на станцию в телеграф, снова стучал аппарат, потом офицер торопливо шел к поезду, махал рукою, — горнист выкрикивал пронзительно на рожке — са-дись! — по всему лесу долго перекидывалось, звеня эхо, и после свистка паровоза эшелон трогался. Солдаты выглядывали из вагонов на беженцев, кричали «ура» и начинали петь.

Станционный монах послал в монастырь послушника и ждал, что приедет сам игумен и скажет, что монастырь не может принять столько людей.

Послушник прибежал в монастырь запыхавшись.

Вратарь Авраамий остановил его:

— Ты что? Чего ты?

— Приехали!

— Кто приехал?

— Беженцы эти, полна платформа — девать некуда.

И по монастырю шептали по келиям с любопытством.

Николка не ждал, что так скоро, и побежал к Поликарпу.

— Что же нам делать, — приехали?!

— Посылайте линейки на станцию.

Игумен побежал на конюшню и на ходу приказал Паисию приготовить обед.

— Голодные, должно быть, — от немцев бежали — накормить надо.

На станцию выслал монахов на трех линейках и Мисаила гостиника.

Седая дама, в шляпе и завитая, приставала к монаху и обиженным голосом, с польским акцентом, говорила — сразу и дочери и Мисаилу:

— Подожди, Зося, — нам батюшка сам поможет.

На две линейки нагрузили багаж, на третью посадили стариков и тронулись, молодые шли пешком около.

Карчевская всю дорогу жаловалась, что она устала и не может идти, острые каблуки туфель вязли в песке, и он насыпался в них, она ежеминутно останавливалась, опиралась о сосну, высыпала песок и кричала визгливо дочери:

— Зося, Зося, подожди меня, подожди, я не могу, не могу больше.

Девушка улыбалась, махала рукой и отвечала капризным рлосом:

— Я с багажом, мама, — а вы разуйтесь.

Снова раздавался визгливый голос матери:

— Господи, боска матка, я помру... я не дойду, — Зося!

Девушка не отвечала и капризно подергивала плечами, продолжая идти около багажа.

Николка встретил беженцев и начал размещать приехавших. В крайней даче, в угловой комнате, окнами в лес, поместил Карчевскую с дочерью и приказал Мисаилу о них позаботиться.

Светлые голубые глаза, белокурые волосы, задорно вздернутый носик и капризный, раздражающий голос девушки поманул Гервасия. Взглядывая на нее, он думал, что это вот настоящая барышня, но сейчас же вспоминал, что он игумен и что ему не пристойно теперь думать и говорить с Зосею, и отходил от нее к приехавшим.

Беженцы надоедали монахам, плакались на свою судьбу, что раньше жили они спокойно и хорошо, а теперь ютятся в одной комнате, одной семьей и что выдаваемый казною паек на жизнь не хватает. Монахи отмахивались от непрошенных гостей, Николка ходил по монастырю злой, видя, что приехавшие стараются проникнуть к монахам в келии из любопытства и нарушают монастырский устав; он привык к внешней строгости монастырской и считал, что все сделано им — Поликарп только говорил, а делать-то приходилось ему и все неприятности выносить с братией. Говорил досадливо Мисаилу:

Заперся в келии и сидит с этим беглым студентом, а ты бегай целый день, ни минуты покоя нет, помолиться некогда.

И каждый день бегал на дачи — взглянуть, устроились ли беженцы, мирно ли живут, и будто нечаянно заходил в угловую комнату.

Мать ноющим и плаксивым голосом говорила ему:

— Вы не знаете, как тяжело, как трудно, — Зося, подай стул батюшке.

Девушка вздергивала капризно плечами и подавала стул, улыбаясь задорно.

— Разрешите нам молочка, батюшка?

— Я скажу скотнице, — молока можно...

— Мне для дочери, Зося не может ничего есть, она слабая очень, больная...

Зося кривила губы за спиной монаха и лицо становилось злым, презрительным. Целые дни она ругалась с матерью, ничего не хотела делать и требовала, чтобы мать подавала ей, убирала за ней, мыла белье.

— Не могли меня выдать замуж, а теперь хотите из меня кухарку сделать.

— Ты хоть, Зосенька, за собою прибери...

— Не забывайте, что я барышня и дворянка, за мною ухаживал пан Гебун, — это вы виноваты, что я не вышла замуж, а теперь хотите, чтобы я работала на вас, — не буду и не хочу.

— Твоему пану Станиславу деньги были нужны, а ты знаешь, что у нас нет денег...

— Как же другие имеют приданное! Из-за вас пан Станислав ушел от меня.

— Сама виновата, удержать не сумела в руках мужчину.

— Чем же я могла удержать его?

— Польская девушка знает, чем удержать любимого, а ты — горе мое — за русского вышла, и в тебе кровь эта поганая, я вот умела держать мужчин, знала чем.

— Я ему и так отдалась... Вы же меня научили.

— Не умела держать его, ты не умела, ты!

Целые дни Зося сидела у окна и пилила мать, потом начинался обычный разговор и ссора, доходившая до истерики. Зося плакала, билась головой о стол и готова была броситься на мать, но та замолкала и вечно растрепанная, в старом капоте, безмолвно двигалась по комнате и не разговаривала с дочерью. В комнате был вечный беспорядок, платья разбросаны, убиралось все наспех — лишь бы на глазах не лежало, поскорее заткнуть и отделаться от работы. Зося валялась до полдня в постели, мечтая о мужчинах, о тех днях, когда ее целовал пан Станислав, а она капризничала с ним и все-таки отдавалась. С заспанными глазами, утомленными и ленивыми, она долго потягивалась, снова дремала, когда начинал мучить голод, кривила лицо и кричала матери:

— Что же вы не дадите мне кофе?

— Да ты встань, оденься!

— С голоду меня умерить хотите, сами давно напились, вам бы только пасьянсы раскидывать.

— Я целый день на ногах, с утра раннего, только присела...

— Дадите мне, наконец, кофе или нет?

Вскакивала с постели и в одной рубашке садилась за стол.

Мать подавала ей кофе. Зося отхлебывала, кривила рот и шумно отставляла обратно чашку.

— Опять холодный — сами напились горячего, а мне подаете бурду! Не буду пить, и есть ничего не буду, лучше умру с голоду.

Снова начинались слезы и ругань. Мать зажигала копящий примус, подогревала кофе и подавала дочери, уткнувшейся в подушку и всхлипывающей.

— Иди пей, а то снова остынет, больше подогревать не стану.

Зося, зло поглядывая на мать, пила кофе. Рубашка соскальзывала с плеча, обнажая круглую грудь, как у женщины, волосы расплескивались вместе с кофе через плечо на стол, путались. Зося откидывала их назад, подходила, не поправляя рубашку, к окну и лениво смотрела на лес, заплетенный паутиною осеннего дождя.

Мать снова кричала ей:

— Бесстыдница, голая показываешься монахам.

— Никого там нет, — ни души, в берлогу заткнули нас! А хоть бы и видели, — разве вы ксендзу Завиховскому не показывались?..

Карчевская багровела, и снова начинался скандал:

— Не смей говорить, подлая, — пан ксендз Казимир святой человек, святой!

— То-то он для святости приглашал по вечерам на исповедь, — разве не знаю я про него.

— Тебя же от него спасала, а ты смеешь мне говорить.

— А вас кто просил об этом. После пана Станислава мне все равно было, — была бы экономкою у пана ксендза Завиховского и счастливее была бы. А теперь не смей смеяться, — что я девушка, что ли!

Мать убирала со стола, наспех растыкивала по углам лежавшие на стульях вещи, Зося завивалась, пудрилась, подводила глаза, брови и подмазывала губы кармином, одевала открытую блузку, с глубоким вырезом и садилась

скучать у окна, ожидая, не зайдет ли красивый монах — игумен. Мать раскладывала бесконечный пасьянс, бережно беря с колоды засаленные карты. Сидели молча.

Перед Николкой рано состарившаяся полька была любящей матерью, рассказывала ему о несуществовавшем богатстве с польским гонором, об успехах дочери и о том, что ее Зосенька имела богатого жениха, пана Станислава, и если бы не война, могла бы жить королевою, но эта война — эти швабы, всю жизнь ее искалечили.

Николка поглядывал на Зосю и краснел, глаза его опускались невольно в вырез блузы, когда девушка наклонялась и груди вздрагивали у ней, колыхаясь мягко, вздыхал, переводил взгляд на мать и говорил, растягивая слова бархатно:

— Великое испытание послал людям господь, великое!.. Не предавайтесь унынию. Господь милостлив — великое счастье послал вам сохранить дочь единственную от врага лютого...

Подолгу не решался Николка засиживаться у беженцев и заходил по очереди ко всем, навещать, оставаясь на несколько минут в угловой комнате.

Вечером мать продолжала раскладывать пасьянс, а Зося раздевалась и укладывалась в постель — перед сном поваляться и помечтать. Мирно беседовала с матерью. Карчевская намекнула дочери на взгляды игуменские и сказала:

— Русские монахи богатые, Зося!

Девушка кусала губы и злилась...

— То-то вы заглядываетесь на игумена. И тут не можете позабыть пана ксендза.

— Как тебе не стыдно, — нельзя же девушке сразу бросаться на шею мужчине, хоть он и богат, и красив, ты не знаешь монахов русских...

— Монахи все одинаковы!

Николка уходил в монастырь и вспоминал бирюзу Зосиных глаз, локоны и завитки, темные брови подведенные, холеные руки в дешевых перстнях, задорные взгляды и вздрагивающие розоватые ноздри. Чувствовал запах каких-то острых духов, исходивший от тела девушки, и зажмуривал глаза, видя глубокий вырез груди.

Монастырь еще держался устава — по-прежнему запирали спозаранка святые ворота, по-старому в полупустом соборе служили обедни и первое время ходили беженцы, а потом опустел храм, обволакивая стены черными

неподвижными мантиями, — все еще боялись черного иеромонаха Поликарпа, редко выходившего из своей келии, и только в келии стали чаще заходить беженки, из корысти наживаться монашеским, пока иноки не раскусили хитрости, а потом — вместо беженок лстивых и плачущих — начали забегать молодые солдатки с Полпенки лишний раз полы вымыть в келии...

И к весне, когда потянулись из болот и лесов туманы, приехала в монастырь комиссия — осмотреть гостиницы пустовавшие. Военные вошли к Гервасию и объявили ему:

— Приготовьте гостиницы для лазарета.

Николка покорно смотрел на приехавших и спросил нерешительно:

— А что же братия?

— Санитарами будут, милосердными братьями.

И в первый раз за все время первый пришел Поликарп к игумену в клобуке и в рясе, с серебряным академическим значком у ворота. Коротко благословил военных, снова выслушал и спокойно, уверенный в каждом слове своем — предложил:

— Разрешите братии послужить и полезными быть во имя человеколюбия.

Старший врач повторил, что монахи будут санитарами, и спросил:

— Что же еще?

— Я думаю, что монастырь должен взять на себя доставку со станции, — мы организуем, с вашего разрешения, это своими силами, — у нас лошадей достаточно.

Полковник отозвался первый:

— Великолепная мысль, батюшка, не нужно будет лишних расходов. А кто же возьмется за это?

— Я и отец игумен.

Николка кивнул головой и пропел бархатом:

— Для родины братия охотно трудиться будет.

Полковник перебил игумена, обращаясь к Поликарпу:

— Может быть, монастырь возьмется и хлеб печь для раненых и персонала?

— И хлеб, и варку пищи. При монастыре живут беженцы — многие женщины сиделками могут быть...

И, осматривая гостиницы, Поликарп вместе с комиссией распределял уже помещения для госпиталя и персонала, Гервасий ходил за ним молча, поддакивая и соглашаясь

с каждым словом его, думая, что опять черный монах будет в монастыре хозяином.

А когда вечером Поликарп вызвал к себе Гервасия — говорил ему:

— Труд спасет иноков от искушения, а если и согрешит кто — трудом искупит.

— Вы сами знаете, — доходов нет у монастыря и дела нет и мы должны трудиться. Помощников я найду. С хутора все хозяйство переведите к монастырю на скотный двор. Мать Арефия стара стала для хозяйства. Для раненых потребуются молочные продукты, монастырь их будет продавать лазарету. Учет будет вести хуторская хозяйка.

Николка вздрогнул, но Поликарп не упомянул имя Ариши и кончил:

— Лошадей будет казна кормить; хлебный припек должен получить монастырь за труды — половина братии будет сыта. Призывных послушников монастырь сохранит у себя, как санитаров, — но они, по желанию, могут теперь же принять рясофор.

Николка вышел от Поликарпа молча, подумал только: «Сатана, истинный сатана, прости господи, обвел вокруг пальца эту комиссию, — хозяин не я тут, а он».

А послушник Борис, закрыв за игуменом дверь, вошел к Поликарпу и земно ему поклонился.

— Что ты?

— Благословите принять рясофор.

Поликарп посмотрел долго и внимательно на Бориса и сказал каким-то глубоким, особенным голосом:

— Только помни всегда — ты для жизни и жизнь для тебя!

Потом встал и обычным суровым голосом кончил:

— Принимай, — будешь моим помощником.

И со следующего дня потянулись послушники за благословением в рясофор не к игумену, а к монаху ученому, но он каждого посылал к Гервасию:

— Игумен благословлять должен, ступай к игумену.

На всю жизнь запомнился Борису день рясофора, когда его — в белой длинной рубахе, с расчесанными волосами, омытого банею водною и чистотой — окружили черными крыльями смерти мантии рясофорных монахов и повели его к алтарю с пением о непорочности и об отречении от земли и от жизни, шепчущего восторженно:

— Иду к тебе, навсегда иду!

Имя произнести боялся, но чувствовал его дыханием, мыслью и каждым мускулом.

IX.

Из белой комнаты — по-монашески: белые стены монастырские и заунывный колокол панихидный протяжно по лесу, через лес к станции, к городу, к заводам дымящимся — перекличкою орудийных выстрелов с полигона от арсенала, что еще при Петре на Десне заложен, и каждый день в сосновом гробу искалеченный, израненный труп солдата на монастырское кладбище у ограды скитской. И черные, как мертвецы, монахи, протяжно под колокол, — вечная память, вечная память. Сырая земля в могилу комьями, гулко и мерно с лопат монастырских и могилы рядами — на смотр небесный.

Белая комната, белый стол, железная кровать и корзина с вещами и все чужое и сама девушка, как чужая, в белой косынке — мохнатые глаза еще больше и ярче, углубленнее и сосредоточеннее.

С раннего утра голос старшей сестры:

— Сестра Белопольская, выпишите слабым молока!

С записной книжкой — из палаты в палату, в передельной под лазарет новой гостинице, и на скотный двор к матушке Арише.

Певучим голосом встречала Зину:

— Здравствуйте, сестрица, милая...

В нижнем этаже, где в номерах врачи, сестры — около самоварной белая келья Бориса-Евтихия, около постели телефон со станции и в полночь, на заре утром, — «подайте лошадей, эшелон раненых».

Евтихий бежал на конный двор, торопил монахов и вместе с послушниками и санитарями, с дежурным врачом — принимать раненых. Помогал выносить из вагонов, заставлял в погожие дни на носилках нести через лес в госпиталь, вечером приходила в келию сестра Белопольская с записной книжкой — хлеба на тысячу пятьсот человек, слабым — просфоры, на кухню расчет.

Не поднимая глаз на сестру, заносил в ведомость, а мохнатые глаза девушки вглядывались в Евтихия, вспоминая Бориса-послушника, и не выдержала сестра, спросила:

— Вы Смолянинов Борис, — я помню вас...

Монах вздрагивал, — пощечина Барманского оживала и его слезы и слезы девушки.

Не отвечал, еще ниже склоняя голову.

Неожиданно появлялся черный монах, сухой, пронизывающий обоих взглядом, от которого они вздрагивали, как пойманные. Зина вставала быстро и собиралась уходить. Поликарп говорил:

— Я на минуту — мешать не буду вам. Лошадям надо овса выписать.

Внимательно смотрел на Евтихия и уходил молча.

Борис не знал, от чего краснел, и мучился, думая, что учитель начал сомневаться в нем. Зина, уходя, говорила ему:

— Я боюсь его взгляда, он думает...

В белой комнате, окнами на монастырские стены-саваны, беспрестанно ходила из угла в угол, вспоминала письмо Петровского и перечитывала.

«Я не стану доказывать и уверять вас в том, что Гракиной я был близок. Мы совершенно чужие, мы, просто, товарищи, она и Кирилл Кириллович спасли меня. Ребенок не от меня. Его отец — студент Смолянинов, бежавший от нее в монастырь...»

Снова просыпалась мысль увести его из монастыря, вернуть к жизни, — письму Никодима верила.

В нижнем этаже раздавался звонок, — быстро поправляла косынку, пряча под нее выбившиеся волосы, и, сжимаясь вся, шла в столовую.

Место ее рядом со старшим врачом, — любезным, ласковым, назойливо ухаживающим за Белопольскою. Напротив Карчевская Зося — подведенные губы, глаза, из-под косынки белокурые завитки кокетливо и беззастенчивый смех всякой шутке врачей.

Вечером, когда в дежурной комнате полумрак и настороженный слух — старший врач навестить приходит сестру Белопольскую; сверкают белки глаз и придушенный голос шепчет, обволакивая противным и липким:

— Зинаида Николаевна, Зиночка, ну, скажите мне — да, скажите! И я уйду от вас. Мне только нужно одно это слово.

Девушка испуганно жметя в угол, — вырваться от надоедливых слов; обрывает его горячо:

— Доктор, вы не уважаете служения ближнему, — я сестра милосердия.

Обиженный язвит, обливая сплетнею, как помоями:

— К отцу Евтихию пойдете — поэтично, монах — соблазнить инока...

— Уйдите отсюда или я брошу все и уйду!

Доктор хлопает дверью и, уходя, думает: «Не верю, не верю ей, представляется недотрогою! Кривляка противная», и, засыпая, мечтает о ней, докуривая папироску. Окурок шлепается в умывальник, и начинается храп.

Темная лестница с коптящей ночной лампочкой, запах камфары, карболки и внизу, у лестницы, в темноте, черный, спрятавшийся, силуэт гостиника. Цепкие руки хватают сзади, трясутся и волокут в ночной тишине в сумраке:

— Сестрица, избавьте от искушения, от искушения сатанинского... Я курочку вам пришлю, вкусную, белую... спасите инока...

Глаза плавают от лампадного масла жирными пятнами, лицо обдает запахом лука и прогорклой каши.

Вырывается, дыша гневом, отталкивает руками, а вслед шепот:

— К Евтихию можно ходить, к паскуднику.

Со слезами прячется в своей комнате, а за стеной, рядом, через тонкую переборку раскатистый смех Карчевской, потом осторожный скрип двери и шлепанье лазаретных туфель, удаляющихся в офицерскую палату.

Наутро у дежурной сестры, и каждый день у Карчевской — провалившиеся в черноту глаза.

Выздоровливающих солдат водили к мощам прикладываться, монахи служили молебны и говорили раненым:

— Невидимо старец творит чудеса, невидимо, — скольким послал исцеление, от смерти избавил, молитесь ему, молитесь.

Николка забегал в гостиницы и просил разрешить христоробивых воинов понуждать к церковной службе:

— У нас там скамеечки есть у стен, — кто немощен и слаб, посидеть может, господь простит по болезни своим воинам...

В палатах, когда раздавался звон колокола и старшая сестра собирала желающих помолиться — наставительно и приказывающе, солдаты бурчали:

— Что мы, монахи, что лы! Помолился раз и довольно с тебя, а то каждый день! Делать им нечего.

— Небось на фронте в окопах не молятся и про бога забывают, а тут поклоны бухать.

Уходя из собора, солдаты перешептывались:

— Потрогать бы руками его, а может там чего зря положено.

— Что-то из простого звания не бывают святые, а все князья да архиереи да вот монахи еще, а разве простой человек не трудится, — может, еще больше.

О неверии узнали монахи и жаловались игумену. Гервасий за советом пошел к Поликарпу. Черный монах сидел за столом и разбирался в счетах, откидывая на счетах цифры. Выслушал молча и начал говорить о пекаре и о мельнике:

— Вы лучше, чем братию тревожить, следили бы за хозяйством: у отца Маврикия при размоле просыпка.

Николка вспыхнул, покраснел и в первый раз осмелился возразить:

— Что же он — крадет?.. Больше десяти лет он на мельнице.

— Проверьте его. Хлеб выпекается плохо, пекарь недопеченный выдает в госпиталь.

Николка знал все и видел, но боялся слово сказать братии — зерно и овес закупал подставной купец — молодой корчмарь, а главное — видел его черный монах в госпитале в Зосиной комнате и ничего не сказал, только брови угрюмо сдвинул.

Мать осталась в дачах с беженцами, а дочь сестрою устроилась, — найти жениха — офицера раненого, и при госпитале комнату себе у старшего врача выпросила.

Заходил изредка на минутку к ней.

Слизывая языком помаду губную вместе с конфетами, привезенными из отпуска женихами из офицерской палаты, говорила Гервасию:

— Попробуйте, батюшка, — шоколадные.

Николка смиренно отказывался:

— Они, сестрица, скромные, — не вкушаем мы теперь.

— Молоко разрешается вам...

Брала конфету, подносила к губам его, подходя вплотную, так, что чувствовал грудь ее, и надушенной рукой клала в рот — пальцы обжигали губы ему — половел, вздрагивая.

Зося отбегала от него и смеялась.

— Правда, ведь очень вкусные! Хотите еще? Только меня не съешьте — я скромная...

Николка пытел, вспоминал, что он игумен, боялся, не вошел бы нечаянно кто, и отказывался, чувствуя, что не

выдержит, думая, — может, ей поиграть только, еще закричит.

Вопросы Поликарпа о муке и хлебе за живое задели, подумал, что донесли ему, может быть, тихоня, помощник его — Евтихий и снова спросил:

— Сомневаются в святости и нетленности преподобного.

Поликарп не отрываясь от счетов, взглянул искоса, ответил Гервасию:

— Вы игумен, вы сами должны знать, что делать.

— Пелену открою.

Черный монах сверкнул глазами и лицо стало еще угрюмее...

— Вы игумен.

Сомневающимся и неверующим при старцах и сестрах милосердия открыли после молебна пелену и сквозь черную мантию с нашитыми черепами чувствовалось тяжелое, неуклюжее, — Белопольская отшатнулась и несколько дней снились ей мощи — в черной мантии белый скелет и ноги как палки негнущиеся, на которых качалось костлявое туловище с черным черепом. И в каждом монахе ей чудился этот скелет с черною дырою рта. Идя к Евтихию, останавливалась около келии и часто видела сквозь маленькое незанавешенное оконце в дверь молящимся, с прозрачными, устремленными куда-то глазами, клавшего земные поклоны. Видела, как вздрагивал, когда стучала в дверь, быстро обертывался, одевал скуфейку и сразу казался ей мертвецом с черным черепом.

Мохнатые глаза вглядывались в монаха, подходила к нему, брала за руку и, не задерживая свою мысль, порывисто говорила:

— Зачем вы здесь? Хотите быть живым мертвецом...

Спокойно отстранял ее руки и ровным, беззвучным голосом спрашивал:

— Сколько сегодня выписывать?

Зина рылась в записной книжке, смотрела на монаха, вспоминая о смерти Костицыной, и спрашивала:

— Вы были послушником у Поликарпа?..

Борис отвечал беззвучно:

— Да, был!

— Вы видели ее? Видели, как она умирала? Это я виновата, — не поехала с ней, при мне бы этого не случилось... Как она умерла?

— Тихо!..

— О чем она говорила? Или она была без памяти?

Монах молчал, хмурился, смотрел поверх белой косынки куда-то неподвижным тяжелым взглядом.

— Вы детей любите?

Встретила недоуменный взгляд Евтихия, большие глаза его стали еще прозрачней.

— А если бы к вам привели ребенка...

И неожиданно вырвалось у ней:

— ...вашего?!

— Монах что-то вспомнил и весь затрясся, ноги подогнулись и, закрыв руками лицо, прислонился головою к столу, потом, по-прежнему трясась от ужаса и волнения, с безумными глазами — выкрикнул:

— Оставьте меня! Уйдите отсюда! Не мучайте!

И потом целую ночь молился, — красноватое пламя свечи колебало своим острием душу и лицо покрывалось сероватым отблеском ужаса.

— Господи, да минет меня чаша сия! Раскрой мне правду твою, владыко! Неповинен я ни в жизни, ни в смерти невинного. Ты видишь, ты знаешь все — покарай меня гневом твоим и судом праведным!

Колебалась свеча и без ответа в сумраке звучала молитва горечи и обиды. Попытался воскресить в себе образ умершей девушки, бросался к столу, доставал карточку ее окутанную пепельными волосами, и беспомощно плакал, не находя больше в душе своей отзвука — фотография показалась мертвою, и волосы пахли пыльною паутиною, безжизненные, свалявшиеся в комок. Снова бросился к аналою, опираясь о его край горячей головой.

— Ты, только ты! Навсегда к тебе!

И не находил отзвука этим словам в душе, жгла одна мысль о неизвестном ребенке, — боялся подумать, что мог быть от него и другой, той, от кого бежал, о ком позабыл думать.

Серое утрохватило морозным узором стекла — широки-ми завитками павлиньих перьев, и в чистый край стекла было видно, как идет мелкий и колкий снег. Узор на окне показался крыльями ангелов, а снег — сиянием.

Вспомнил, что не взял вчера выписку от сестры Белопольской и почти выгнал ее, пошел к ней в номер.

У двери пропел ослабевшим голосом:

— Молитвами святых отец наших, господи Иисусе Христе, помилуй нас!

— Войдите!

Повязывала косынку и, увидев пожелтевшее лицо мертвеца, вскрикнула, подбежала к нему:

— Простите мне, Боря, простите. Я сама не знала, что вчера говорила вам! Простите!

Мертвым голосом попросил у ней расчет и, не взглянув на нее, ушел.

Сухой и морозный день отрезвил заботами. Встретил у гостиницы Аришу-скотницу и ответил на ее поклон.

— А я, сестрица, красавочка вы моя, не дождалась вас, взяла да и сама к вам пришла, — начала Ариша, входя к Белопольской. Взглянула на нее, обвела глазами комнату и оцепенела, схватилась рукою за грудь, — над кроватью увидела коврик свой, — на коне богатырь у камня.

— Что с вами, матушка?!

С трудом себя пересиливая, начала певуче:

— Забегалась я, измоталась, — должно быть, от этого плохо мне, — сразу вот стало, как в сердце ударило что...

Переводила глаза с коврика на сестру, а в голове горело, — должно быть, невеста его, невесте своей подарил работу мою, — слезами ее, ласкою вышивала, своей любовью, в каждой шерстинке сердце мое, — хоть буду знать, кого выбрал Володичка, кого полюбил милый.

И чем дольше смотрела на Зину, тем ласковей голос был; думала, что должно быть целовал ее, эту барышню, и захотелось самой поцеловать ее, от любви своей к незабвенному поцеловать избранницу его и любить ее.

— Я уж сама, сестрица, пришла к вам, — сколько молока выписано, давайте листочек, чего вам беспокоить себя понапрасну, бегать на скотный двор?

— А мальчик здоров?

Сразу отшатнуло Аришу от прошлого к монастырскому и сразу почувствовала себя брошенной и ненужною, « вопрос о ребенке ее не обрадовал, ответила как заученное:

— Спасибо, сестрица, — бегаешь, играет с салазками.

И, уходя от Белопольской, говорила ей, взглядывая на коврик:

— А вы не трудитесь, сестрица, сами ходить на скотный. Мне добежать ничего не стоит. Морозы стоят лютые — не дай бог, простудитесь!.. Когда вам удобней, чтоб я приходила за выпиской, — может, с вечера?!

— Зачем же вам приходиться, Ариша? Это моя обязанность!

— Да разве мне трудно, сестрица милая, — вы только

скажите когда, — я с радостью прибегу, погляжу на вас, а то там и слова сказать некогда, мытарят меня, да и вам тоже...

— Если хотите, Ариша, — вечером! Только напрасно вы!

И, не дав ей окончить, подбежала к ней и поцеловала в плечо.

— Что вы, Ариша, что вы!

— Сестрица милая, — люблю я вас, ласковая вы, приветливая.

— Это вы ласковая, Ариша...

Ответила ей поцелуем в губы. Ариша покраснела и заторопилась уходить, говоря:

— Так я вечером прибегу, сестрица! Спасибо вам, милая, — счастье-то мне какое!.. Душу свою отведу с вами!

В свободные дни любила сидеть в сумерках, снимала косынку белую, чтоб не давили тугие завязки голову — локоны разбегались струями и мысли становились спокойными. Зажигала свечу, опускала штору и доставала Никодимовы письма — чувствовать его, близко, в своей душе. Бралась за перо написать, душу очистить и не было слов, рвала и снова перечитывала его письма — широкий размашистый почерк, прямой, ровный, грубоватый в нажиме и простые слова.

Вспомнила об Евтихье, боль ему причинила, в душу вошло смятение, и не знала, чем искупить правду свою горчей полыни.

Может быть, это спасет его... возвратит к жизни!

За стеною Зосин смех и певучий баритон монашеский.

Искала жениха среди раненых офицеров, водила в лес на прогулку и вечером возвращалась в госпиталь возбужденная и ослабевшая; уехал — писала письма ему на фронт, как женщины пишут, вспоминая ласки и маня ими снова в разлуке, — не дождалась ответа и снова начала Николку манить, зазывая вечером.

Достал из подрысника бутылку вина, смиренно на стол поставил:

— Чтоб конфеты были вкуснее, сестра!

— Наконец-то решились, — снимайте шапку свою — угошу шоколадом.

Неловко поставил клубок на пустой стул, расчесал кудри. Дал из кофейной чашки коньяк и чокался с Зоєю, — дразнили глаза, брови, красные пятна губ от вина у ней сочные, точно ягоды.

Ломал шоколад — дрожали руки.

— Вы не умеете, батюшка, — не умеете.

Вопросительно посмотрел.

— Я сама угощу вас...

Взяла в рот длинный ломтик...

— Берите!

Николка не понял.

— Руками нельзя, — кусайте!

За тонкою переборкой у Зины, прислушиваясь к баритону сочному, жалостный голос скотницы.

— Полюбились вы мне, сестрица милая... С первого раза, как увидела вас...

Смотрела на Зину, на стенной коврик и раскаленными молотками за стеною слова Николкины, — это он, его голос — погубитель мой, — мучение заглушить словами.

— Можно мне Зиною вас называть, милая барышня, потому я вся перед вами, сестрица, душу свою отвести пришла. Да какая же вы чистая, точно ангел небесный — непорочная, а я-то, моя душа.

Быстро схватила Зинину руку и начала ее целовать.

— Разрешите мне барышня... разрешите мне! Я хуже грешницы нераскаянной, — не знаете вы меня... я не достойна поцеловать и руки-то вашей, а вы меня давеча целовали в губы.

— Что вы, Ариша, что с вами?

— Я барышня, ведь потерянная, вы думаете, вы думаете, что мальчик-то этот племянник мой?! Я его родила — невинного, жизнь свою погубила, а вы чистая, как невеста, вас и любить надо каждому, молиться на вас, Зиночка, голубчик вы мой, барышня. Монастырь меня довел до греха. А только я сама знала, что делала, сама знала на что иду, — от любви не могла отказаться — сама пошла. Любовь-то один раз к человеку приходит...

— Один раз, Ариша!

Рыже-золотые волосы выбились из платка у Ариши, теплая шаль упала на плечи. Зина не отняла у Ариши руку, но целовать ее не позволила больше. Ариша прижала ее к глазам и, прислушиваясь к баритону сочному, заглушенному, зажмурившись, сдерживая слезы, исповедывалась Белопольской:

— А любила-то я, любила — от счастья себя позабыла, и вы, барышня, тоже любить будете, — ведь меня за любовь... не расскажешь вот...

За стеною голос пропел глухо:

— Хочу еще шоколаду!

Снова подошла к нему с шоколадом во рту...

— Берите!..

Загремел стул; держал ее и клонил, целуя, — смеялась, отталкивая и шепча:

— Что вы, батюшка, что вы... оставьте меня, пустите.

Потом голос замолк, и снова что-то загремело, падая.

Ариша быстро встала и сказала:

— Лучше я в другой раз приду, милая барышня, а то на дворе-то метель — не дай господи, ничего не видно...

Николка схватил клубок, одел, выбежал в коридор, хлопнув дверью, и в ту же минуту увидел Аришу, выходящую из Зининой комнаты.

Вздрогнул, — дрожащим голосом, не отдышавшимся, весь багровый, с налитыми кровью глазами, прошипел Арише:

— Ты зачем тут?

Ариша, онемевшая, испуганная, прислонилась к стене, хватаясь вытянутыми руками за нее, чтоб не упасть, смотрела на Николку с ужасом.

— Подслушивать?! За мною подглядывать?!

Вырвалось шепотом у Ариши:

— Мучитель ты!

Николка озверел и в полутемном коридоре бросился к ней и, ничего не говоря, начал толкать ее, приговаривая:

— Выгоню, из монастыря выгоню...

Ариша остановилась, быстро обернулась к нему и сказала шепотом гневным:

— Завтра ребенка к тебе приведу и сама отсюда уйду, — все знают, что твой.

Николка на мгновение остолбенел, потом всплеснул руками, замахал ими и, убегая от Ариши, надрывался шепотом:

— Не смей, не смей!

С другого конца коридора вышел из келии Евтихий и, постучав к старшей сестре, сказал в дверь приоткрытую:

— Сестра, приготовьте постели — на станцию пришел эшелон с ранеными.

Х.

Целый день Евтихий ходил потерянный, не мог позабыть сказанного — нарастали слова о ребенке и тихая мысль об умершей — ушла, умерла, хотел воскресить в себе ее образ

и вместо Лины — зима, мутные улицы Питера, болезнь и кошмар белой ночи. Хотел зайти к Поликарпу, — взойти, поклониться ему и сказать: «Учитель, спаси», но знал, что глаза его будут суровы и слова коротки, — звучало в ушах — ты для жизни и жизнь для тебя. Но жизнь — это ужас...

Забурчал телефон — испуганно взял трубку, чей-то голос журчал, заикаясь: «Эшелон, подавайте лошадей».

Заметался по келии, надел ватный подрясник и сразу стало тревожно и жутко. Торопил запрягать линейки и повозки, позабыл, что ничего не ел.

Санитары-монахи просили поговорить со станцией, — нельзя ли до утра — непогода. Пошел к старшему врачу, — госпиталь был на ногах, готовили перевязочную и операционную. Во дворе стучало динамо.

— Звонили опять, батюшка, — нельзя — метель, кажется, утихает.

В коридоре встретил торопившуюся Белопольскую — и опустил глаза — стало еще тревожнее.

Ехали с фонарями, наощупь. Лошади ступали осторожно и тяжело, уныло позванивая бубенцами. На станции ждали, пока уляжется хоть немного метель, и когда снег начал хлопьями падать — расчистили тропинку к поезду, окна его горели теплом, но когда начали выносить раненых — слышались стоны и свет из вагонов казался из преисподней.

Евтихий в поспехах позабыл одеть валенки — ноги в сапогах мерзли, каляли. Двигался, как заведенный, и когда линейки и повозки наполнились, сказал, — что готово.

Остался ожидать на станции второй очереди. Сестры из поезда звали обогреться и выпить чаю, отказался и пошел в келью к станционному монаху, в душную и натопленную комнату, и, не раздеваясь, сидел, прислушиваясь, не занюют ли обратные бубенцы. Ноги отошли, стало жарко. Вышел на платформу. Под навесом, пронизывая, свистел ветер, обдавая лицо снегом.

Снова нагрузил приехавших.

— Готово!

Тронулись, бубенцы заныли.

Из вагона вырвался звонкий голос и на ветру погас: '

— Подождите, еще один, — тяжелый.

Подошли и не знали, что делать.

— Возьмите на носилках с кем-нибудь. Ему нужна операция!

Уговорили станционного монаха нести следом, пока бубенцы слышны.

Накинул лямку на шею и по взрыхленному лошадыми снегом понес с монахом.

Раненый, закутанный в шинель, покрытый полушубком, глухо стонал.

На ручку носилок повесил фонарь — красный полукруглый зрачок света ложился на снегу кровавым пятном. Еле слышно издали звякали бубенцы и пропадали снова. Была одна только мысль — лишь бы горел фонарь и слышать бы ехавших.

Пятно на снегу вздрагивало и качалось, из просеки рванул ветер и фонарь погас.

— Отец Евтихий, есть спички?..

— Нету.

— Подожди, я погляжу у себя...

Носилки утонули в снегу, пока монах шарил в карманах.

— Нету! Пропадать нам теперь.

— Донесем...

Подняли. Раненый застонал, качнувшись.

— А где мы теперь?

— Просеку прошли, поворот скоро.

По памяти повернули — ни бубенцов, ни огня госпиталя. Закоченели руки, одеревеневшие ноги еле двигались, потеряли счет времени.

В госпитале старший врач, проверяя списки, не досчитался тяжелого, начал опрашивать:

— Поручика Белопольского нет, Владимира. Оперативный!..

Зина услышала фамилию брата, — чужие, — а кровь и страдание связывают.

— Доктор, ради бога, пошлите за ним...

— Это ваш брат?

— Это все равно, пошлите за ним.

Сестры переполошились, вызвались ехать.

В одноколке выехали с фонарями. На станции дежурный сторож сказал:

— Понесли его, на носилках, приказали из поезда. Старший понес.

Обратно, шаг за шагом с фонарями по следам — красные пятна и черные тени монахов и Зина — брат и Евтихий, близкие оба, в эту минуту ближе всех.

Следы заметало, — будто кто полз и падал.

— Скорее, скорее! Замерзнут они.

Почти у самого монастыря, сзади гостиниц — на стон вышли, — носилки в снегу, монах и Евтихий, обессилив, остановились отдохнуть, присели на снег — занесло хлопьями, облепило.

— Несите его, несите.

Качнулись фонари, носилки, и снова стон:

— Несите его... Двуколку сюда!..

Бабьим плачем скрипели на морозе колеса — лошади снег по горло.

Тонкие пальцы отдирали от тела примерзшее полотно, вспотевшее и закаляневшее, и спиртом растирали ладони горячо, пока не полуоткрылись глаза и не вернулось сознание. Вздригнул, полилась горячо кровь толчками, розовым стало тело.

Из-под белой косынки выбился завиток и упал на лоб, повиснув над глазами — мохнатыми, горячими и самоотверженными.

Увидел ее и — стыд смятенный.

Откуда-то голос монаха черного:

— Лежи! Идите, сестра.

Была только мысль, — спасти, к жизни вернуть, — ею горели глаза и не видели ни Евтихия, ни Бориса, — жизнь за жизнь, может быть, даже о брате не думала так, как об иноке.

Поликарп помогал одеваться, затопил печку, велел принести вина и чаю.

Ночью стучали во сне зубы, не мог согреться, кутался и до утра, одна только мысль — стыд и отчаяние, потом заснул и во сне метался, бредил, приходил в себя и снова томил жар. Издалека всплыло бредом прошлое, дремавшее где-то в мозгу, кольнув остриями:

— Сына привести, сына... она приведет... к волхву мудрому! Не побивайте камнями душу грешную... причастицу... умерла она, умерла!..

Поликарп слушал и взглядывал на Зину, позвал ее сам к больному.

Прожег глубину взглядом, спросил девушку:

— Кто это? Вы?

Не поняла вопроса, переспросила шепотом:

— Кем он бредит?..

Точно камень занес над душою, шепотом содрогнулась, сложив умоляюще руки:

— Не я, не я... у меня жених... Сами спросите его! Он скажет потом. Надо спасти, спасти надо.

— Позовите доктора! Жизнь берегите его.

Лежал в келии; несколько дней в забытьи, — лицо обтянулось, глаза стали громадными — прозрачный лежал, беспомощный. Днем приходил Поликарп, сменяла Зина. Почти не спала — от брата шла к иноку, оставляя в палате сестру Карчевскую. Успокоилась, когда сказали, что Владимиру не нужно будет отнимать ноги, и посвятила себя больному Евтихию.

Очнулся после долгого бреда, пошевелил пересмяклыми запекшимися губами, — подняла голову, напоила — жизнью глаза блеснули, еще в полусне спросил:

— Это вы, Феня?!

И снова полузакрылись глаза, — долгий и крепкий сон к жизни.

Утром узнал Поликарпа, протянул руку...

— Учитель...

Благословил его, не давая поцеловать руки.

— Жизнь для тебя, и ты для жизни!

На скотный двор со списком пришла Карчевская.

— Сестрица, милая, скажите, правда, что у сестры Зины несчастье случилось?

— У Белопольской?! Брата привезли раненого, чуть в лесу не замерз... Владимира.

Ноги ослабли, спросила шепотом:

— Белопольская? Она — Белопольская?! Так это брат их?..

— А вы разве не знали?..

И снова ноющим голосом, точно не ее коснулось:

— Вас тут много, сестрица, все вы беленькие, одна на другую похожи, — знаю, что по хозяйству Зиночка, а фамилии — каждой я говорю — сестрица...

Каждый день на огне, — спросить бы, узнать, один раз взглянуть на него и ночи без сна, — ребенок — мука, и шалости его, и смех, и улыбка — Николенькины, — не смотрела бы. Старуха Арефия упрекает Аришу:

— Ты бы смотрела за ним... Совсем бросила!.. Младенец-то ведь невинный.

— А он разве смотрит?! Придет когда?..

— Он — игумен, монах... Прельстила его сатанинским образом...

— Мука моя... мучище!..

— Сама виновата, сама...

Заохает старуха, уйдет и мальчика к себе уведет в келию.

Весенняя ростепель белые шапки посбила с сосен, на солнце ручьи, проталины; и мох курчавый крошится. С утра туманы, а к полудню подымутся облака, из лесу белыми стаями. Солнце землю томит испариной, золотит сосну, смолой дышит.

На порожки гостиниц выползают костыли, облепляют шинели серые, и в скуфейке монах греется и звон по умершим для живых песнею. На скамейках, у стен, погоны блестят офицерские — плавают золотом сердце сестры Карчевской и подруг ее.

Вывели на солнце Евтихия, и черный монах пришел.

А к вечеру в лазарете дышится веселей и без старшей сестры в офицерской палате из-под косынок кудряшки задорные, — белокурые, подле Владимира, а может быть, еще и жених Зосе?!

Евтихий беспомощно шепчет учителю в келии:

— Возьмите меня в свою келию...

— От жизни бежишь?

— Господь меня покарал!

— Путь тебе указывает!

— Хочу подвига!.. Молитвы хочу... покаяться...

— Без земного врача не исцелит небесный! И не примет подвига. Выздоровливай!

По вечерам приходила Зина — наведать, молчал покорно.

Снова ходила на скотный двор к Арише.

Скотница похудела, веснушки у глаз — сияние из темноты и рыжее золото под платком — лучи солнечные.

Зазвала в келию к себе и заплакала.

— Ариша, что с вами?

— Несчастье у вас, сестрица, — я слышала, знаю...

Привезли раненого.

— Чего же вы плачете?

— Полюбила я вас, Зиночка, как родную, мне ваше горе больней своего, и он-то мне ближе родного, лучше б я за него мучилась...

Хотела выплакать любовь свою, боялась, не знала как, целовала плача руки и глаза сияли радостью.

— Повидать бы его... какой он...

— Приходите, Ариша, вечером!.. Только мы с братом разные и чужие...

— Что вы, сестрица, — вы сами не знаете, что он вам родной... А только мне приходится не велено, запретил игумен в гостиницу.

— Вечером сама за вами приду...

— Сестрица, барышня, да неужто увижу его?!

Зина подумала, что не только, как говорят, она странная, но вот и Ариша, может быть, и другие тоже есть — странные, оттого что искренне. Может быть и Карчевская — тоже искренняя, оттого, что несчастная — ищет любви своей, себя не жалеет, обманывается и, может быть, несчастнее всех — заманивать должна свое счастье, перед людьми унижаться; только за это унижение перед каждым и не любила она Карчевскую.

Карчевская выводила на солнце поручика, болтала без умолку, играя глазами, нежно его касалась — от кармина губы горели маком, дразнили каждого.

Забегала к Зине, обнимала ее, говоря:

— Какой у вас брат интересный, вы простите мне, Зиночка, но я в него влюблена!

Зина отмалчивалась.

Весною Владимир начал без костылей ходить, — вечера у Зэси, через тонкую переборку смех, поцелуи, возня, — Зине бежать — к Евтихию в келью и молча смотреть на молитвенное лицо больного.

Зеленоватое небо матовое дыхнуло смолистой хвоей, месячный рог зацепился за сосны и повис беспомощно.

Мычали коровы, звенели молочные ведра, пахло парным молоком и навозом.

— Пойдемте, Ариша, пойдемте. Вы идите ко мне... Повела за руку...

Точно на монастырское кладбище шла Ариша, — к нему, к Владимиру. Тем же душа теплилась, — увидеть его, только бы увидеть — теперь ничего не нужно иного. И оттого, что увидит его — беспомощная была, безвольная, не знала как взглянет в глаза ему, — лишь бы не подумал, что упрекнуть его хочет, — сама знала зачем и тогда и теперь идет — душу свою оживить прежним счастьем, освободиться хоть на минуту от всего, что было с нею потом. Казалось, что стоит только взглянуть на него, и на всю жизнь останется чувство радости, благодарное к прошлому, — лишь бы не подумал, что пришла укорять — взглянуть на него, последний раз в жизни взглянуть, навсегда запомнить.

И коврик — живое, прошло, в каждой шерстинке душа девичья.

Взглянула на него — глаза занялись радостью, не выдержала.

— И коврик мой цел!.. Я ж думала, что жених его вам подарил.. Радовалась — не только я вас люблю, сестрица, и он, для кого вышивала его...

— Это вы для него вышивали, вы?!

— Я, Зиночка, я... учила его, а потом кончила...

Вспомнила Зина далекое, была девочкой, — слышала как мать укоряла брата, стыдила его, уговаривала не губить своею любовью девушки.

Вспыхнула вся, — мохнатые глаза загорелись.

— Ребенок тоже его?

Горечью, полынем обожгло Аришу — подруга, кровавые сгустки, плач и потом долгая скука, — заплакала. За стеною Зосин смех и мужской голос.

— Не его, не его, барышня... Того унесли, мертвенький был, всего минутку слышала слезы его безвинные... Этого я тут родила, — а тот в девичьем... похоронен... маленький...

Подбежала к стене и с отчаянием застучала, выкрикнув...

— Владимир, пойди сюда!

Смех оборвался, недовольный голос казал: — Фантазии!

— Что тебе?

— Ты знаешь кто это?

В памяти мелькнуло лицо и расплылось, сжал брови, и снова тот же недовольный голос:

— Что тебе от меня нужно, сестра?

— Ты не знаешь ее? Кто коврик тебе вышивал? Не знаешь?! Где твой ребенок, спроси ее?! Ариша, где он?!

— Барышня, сестрица, не мучайте вы себя, мне только взглянуть — я знала сама на что иду, сама своего счастья хотела, мне теперь от них ничего не нужно — только взглянуть хотела.

Голос плакал и умолял. Всего один раз взглянула на него и опустила голову.

— У них барышня есть, молоденькая — невестою будет им, — Зосенька...

— Гм, не ожидал встретиться в мужском монастыре с монашкой...

— Я тебе не сестра, — вон, вон!

— Фантазии, Зиночка!

За переборкою шепот шелестом: «Сумасшедшая, она всегда такая была, вдолбит себе в голову и верит глупости...»

— Барышня, да не плачьте же вы, я виновата всему, бестолковая...

— Для него человек — насекомое и сердце его — червивое... Зачем его сюда привезли?!

— Из-за меня вам мучение, глазки свои пожалейте бархатные — красоту свою ясную... И я-то пошла, бесстыдница, поглядеть захотелось... Простите вы меня...

Уговаривала, утешала, дождалась пока успокоится, заставила лечь спать и ушла на скотный. Мисаил, закрывая дверь, прошипел:

— Все игумену расскажу, до капельки!

Долго не выходила Зина из номера, по вечерам не слышала больше смеха, возни и шепота. С того дня, когда привезли Владимира и заболел Евтихий — жизнь ушла куда-то. Не знала, что март звенел в лесу тяжелыми каплями душистой смолы, не заметила, что монахи в монастыре притихли, попрятались в кельи.

Длинные письма Никодима стали короткими, писал, что в училище, и нет времени написать все что хочется, потом и письма его перестала получать. Машинально работала в перевязочной, не замечала солдатских лиц и не знала, что в госпитале солдатский комитет и монахи реже и реже отзванивают погребальное.

Через несколько дней Карчевская принесла от брата записку с заплаканными глазами.

«Можешь радоваться и сходить с ума — уезжаю в отпуск в имение. Социалисты твои устроили революцию, скоро будешь у ней поломойкою».

Не поняла письма, обиженная, измученная, спросила Зою:

— Правда, уехал — не будет мучить?!

Ухаживали за Зиной старшая сестра и Карчевская. Доктор все время говорил:

— Как можно больше на воздухе быть Белопольской.

Зоя водила гулять по лесу, терпеливо ходила с нею и не знала о чем говорить.

Монахи шептали:

— Сумасшедшая!

— В беглого студента влюбилась, — в паскудника!

— Брата родного выгнала из-за скотницы... Все они такие-то, все такие...

— Из-за них и царь отказался от престола — и его довели...

— А все это студенты, — не хуже беглого. Прижился у черного...

— К мощам его посадили, — слова не смей сказать. Святошей сидит, — растерзать его мало, прости господи!

Из города перевезли тяжелых — на долгое время, чтобы лечить спокойнее.

Газеты в госпиталь запаздывали — перехватывали монахи на станции и прятали, думали, что все временно и что царь временно отказался, чтобы восстать гневом на отступников и покарать судом праведным.

Поликарп молчал и зорко следил за хозяйством, объяснял Гервасию:

— Мы ничего не знаем, — не знаем ни часа, ни дня, когда придет сын человеческий, — должны ко всему готовы быть, как благоразумные девы, и братия должна о себе заботиться.

— Что же будет теперь?

— Братия должна своими силами засадить огород. Больше всего берегите хозяйство. Вы хозяин, на мне заботы по госпиталю.

Монастырские ворота с вечера запирались рано, и черные муравьи кишели за каменными стенами. Снова начали служить по-уставному и старики не выходили до полночи из собора. За обеднями поминали по-старому царя Николая, и только когда комитет госпитальный вместе со старшим врачом предупредили игумена — на ектении стали растягивать, — державу Российскую.

Майские зори тихим, теплым, лесным, убаюкивающим шумом успокоили девушку, — снова начала помогать старшей сестре.

Письмо, — последнее, — от Владимира не показали Зине.

«Радуйся, — мужики разгромили нас, — можешь искать себе место — полемойки».

Вспомнила о Борисе, спросила Зосю:

— Где Евтихий? Здоров он, — что с ним?!

— У черного монаха живет...

Кто-то добавил:

— Днем около мощей в соборе сидит.

Средний колокол звал на трапезу. Зина зашла в монастырь, — взглянуть на Евтихия, — хотела войти в собор — с порожков спускался схимник, высокий монах, звякая

связкой ключей, запирали чугунные двери, монахи гуськом тянулись из келий к трапезной, вратарь Авраамий сурово глядел на белую косынку сестры и, когда она входила в святые ворота, пробурчал сердито:

— До полночи ходят тут!

Вышла из святых ворот, — порожки монастырских гостиниц облепили солдаты.

Пели песню. По лесу перекатывалось раздольное эхо, сосны баюкали его и шумели верхушками.

Глубоко вздохнула и сказала шепотом:

— Зачем он здесь?!

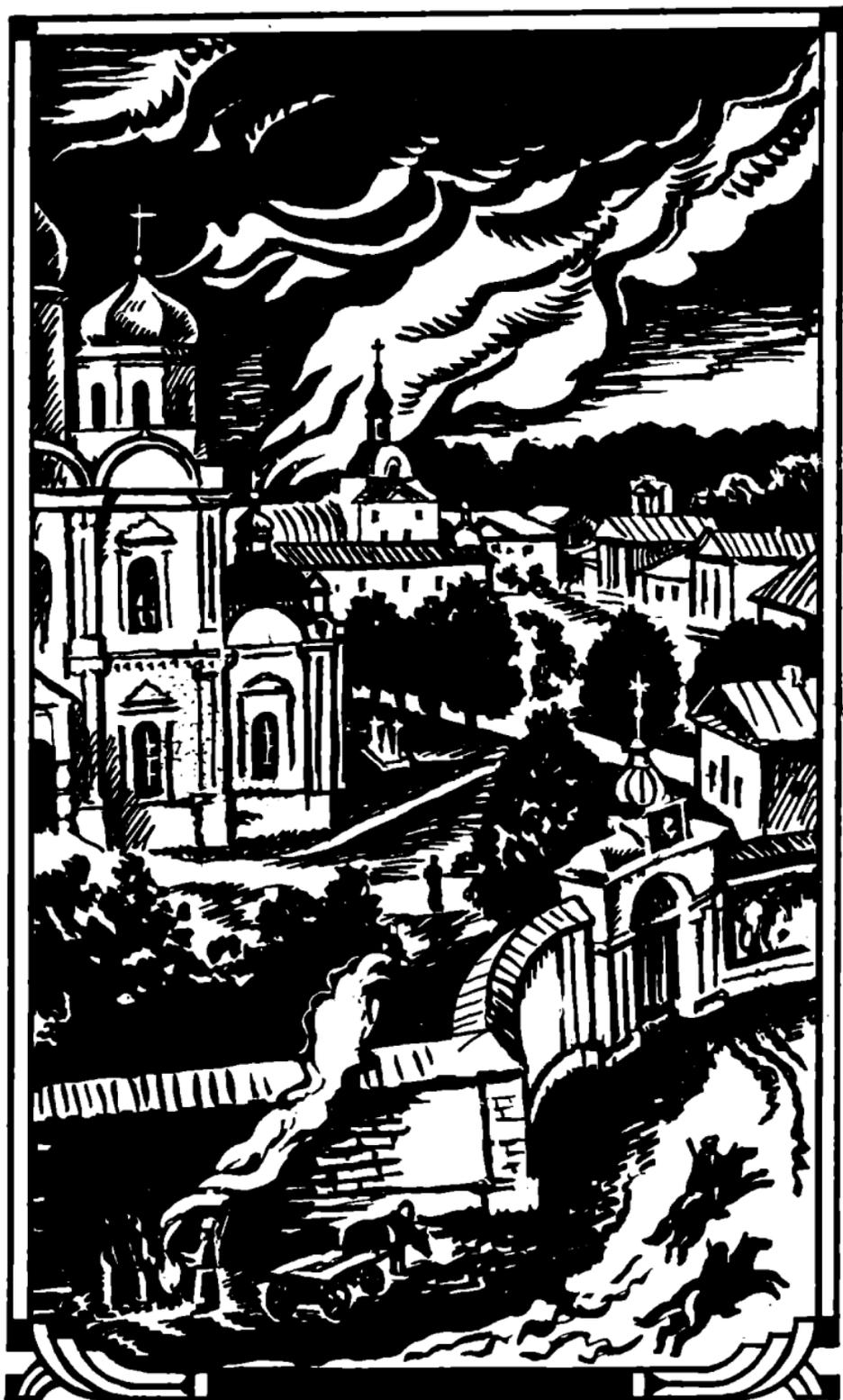
МОЩИ



ТОМ IV

Текст печатается по изданию «Пещь огненная» («Мощи», т. 4), Петрополис, Берлин, 1930).

Экземпляр четвертого тома, по которому публикуется данное издание, является собственностью Государственного литературного музея И. С. Тургенева (г. Орел).



ПЕЩЬ ОГНЕННАЯ

I



Ц из квартиры Петровской выходил затемно; комнату снимал в городе; первые трамвай, раскачиваясь, летели из парка шальные, заспанные; вагоновожатый отплясывал на площадке в валенках; парковые рабочие расчищали путь, — белую россыпь сухого снега сдувал ветер, обдавая лицо, усы, бороду, от дыхания налипали сосульки и волосы покрывались инеем.

Садился в трамвай и ехал в полковые бараки за город, — вагон наполнялся прапорщиками. Прислушивался к разговорам, — война была еще где-то далеко и неизвестна — бездомная жизнь и сегодняшний день заполняли заботою.

В семинарии лазарет — калеки с перевязанными руками, на костылях, и белые косынки сестер с завитками волос; висков, а в слободке мещанской по комнатам прапорщики запасных полков, по вечерам парочки и горячий смех, заглушаемый поцелуями, — сегодняшний день прапорщика и сестры, а завтра окопы и смерть — слезы молодой жены, невесты, возлюбленной.

За семинарией у девичьего монастыря останавливался трамвай, — конечный пункт, и прапорщики высыпали из вагона, — через перекидной мост железнодорожного полотна в бараки.

— Ну, как Галина твоя?

— В маршевую роту назначен, — с другим утешится!

Нищенски плакал монастырский колокол и из келий ползли мыши — молиться о победоносном воинстве, чтоб вечером прятать лазивших из лазарета выздоравливающих защитников.

Тугой снег хрупко скрипел под ногами, — около версты до барачков морозным утром. Прислушиваясь, широко шагал полем, надвинув на уши барашковую папаху.

— Это безобразие, господа, что мы полицейские что ли ловить солдат!

— Комендант с ума сходит.

Петровский шел один, не привык к новым товарищам, — не гулял с сестрами, с гимназистками, не лазил к монашкам через ограду, не ходил на нижние улицы у реки к девочкам, — соратники чуждались его и молчали.

В комнатухе прапорщики ожидали ротного.

— Неужели и сегодня выгонят людей на мороз?

Никодим вставлял отдельные слова, фразы.

— В лаптях!

Застрявший в тылу штабс-капитан, потирая руки, выходил, отдавая честь, и приказывал повзводно выводить на учение.

Бородатые мужики и безусые ребята восемнадцати лет строились у барака. Старший унтер-офицер выкрикивал:

— Станови-и-ись!..

И бросал коротко бесконечно толкавшейся ленте людей:

— Равняйся! Смирно!

Петровский выходил из барака, завязывая шнурки наушников папахи, и здоровался. Отвечали вразброд, толчеей. Никодим махал рукою, взводный командовал:

— Напра-а-а-во! Ряды-ы... вздвой!

Кончал Никодим:

— Равнение направо-о... шаго-о-ом арш!

По белому полю мужики и ребята — в сапогах, в валенках, в лаптях бегали, извивающейся ломаной линией шагали взад и вперед. Унтер надрывался до хрипоты:

— Равнение где, — равнение, — точно бараны.

Никодим с досадою и безразличием смотрел на учение, принимался командовать сам, запоминая слова унтера, — в училище командовать не пришлось, по строю с трудом курс той поставил семерку ввиду остальных двенадцати.

Прапорщики поглядывали на часы, уводили на нестрое-

вые занятия — непременно с песнями — по приказу командира полка.

Петровский замечал утомление ходивших и бегавших мужиков и вскрикивал:

— Оправиться, можно курить.

Бессмысленные лица солдат, старавшихся уловить команду, вовремя повернуться, вздвоить ряды, сомкнуться и разомкнуться — оживали; заскорузлые, замерзшие пальцы крутили махорку и пролетал смутный говорок. Никодим подходил к солдатам:

— Ну, Карасев, получил письмо?

— Никак нет, ваше благородие!.. Самому бы глянуть поехать... беда с бабою, без мужиков отбились от рук...

Солдаты смеялись угрюмому земляку:

— Ты бы на привязи что ли держал ее!

— Удержишь их!

Лица женатых становились тревожными и задумчивыми — и тянуло домой, в деревню.

К прапорщику подходили другие:

— Ваше благородие, надесь мне обещались домой отписать.

— Завтра я дежурный по роте, — нужно кому — напишу.

Снова начиналось учение, — мужики старались идти в ногу, не сбивать товарищей, вовремя исполнять команду. Прапорщика своего любили и вечером на нарах говорили про него:

— Кабы все были такие, как наш, может быть и немца бы одолели давно.

Начальство начало коситься на Петровского и ротный делал ему при всех замечания:

— Вы, прапорщик Петровский, распускаете солдат, они с вами за панибрата, — роняете честь офицера русской армии. Если так будет продолжаться, я принужден буду о вас доложить командиру полка.

Никодим вспыхивал и краснел и, с трудом сдерживаясь, отвечал:

— Я, господин капитан, стараюсь входить в жизнь и нужды моих подчиненных, это не противоречит уставу.

— Вместо словесности у вас разговоры с солдатами, это недопустимо.

Время для себя не было. С утра до пяти в роте, вечером — офицерские собеседования и тактические задачи в собрании с ротным и батальонными, — скука

и бестолковщина по обязанности. Раз в неделю дежурство по трамвайной линии — ловить без отпусков солдат, сгонять с площадок и раз в неделю дежурство по роте. Ночью, по распоряжению гарнизонного, приезжал ротный проверять людей; в полутемных, холодных бараках ходили с фонарем дежурный, ротный, фельдфебель; заспанные люди копошились, выкрикивали — здесь, и снова падали, как убитые. В дежурство Петровского было больше всего беглецов.

— Науменко, запиши!

Фельдфебель ковырял огрызком карандаша фамилии. По приказанию ротного беглецам — арест, пять-тридцать, в штрафные, а при выходе из барака прапорщику замечание:

— В ваше дежурство, прапорщик Петровский, больше всего беглецов, — назначаю не в очередь на трамвайную линию.

В свободные дни, в праздники Никодим одевал старое студенческое пальто, фуражку, поднимал воротник и, засовывая руки в карманы, шел на Пеньи к инженеру Дракину.

Никто не услышал выстрела, всплеска воды в канале Невы, но шепотом, отзвуком разнеслось, — давно пора было убить, без него Россия вздохнет. Донеслось в города, вздрогнули они, улыбнулись и замерли, только строже стало начальство в казармах и запретили мужикам отпуска в деревню.

Никодим, уходя от Кирилла Кирилловича, говорил возбужденно и радостно:

— Первая пуля достигла цели, за нею другие будут — очистит воздух.

Инженер крепко жал руку Петровскому, бритое лицо вздрагивало, трубка переезжала в другой конец рта и он говорил:

— Это необходимо. С таким правительством мы не выиграем!.. Мы собственно уже проиграли войну и нам нужен мир!

После смерти Костициной инженер жил аскетом, лицо стало еще суше и глаза не расцветали улыбкой — сдергивались на бритых щеках мускулы и редко прыгала во рту трубка.

Машина-завод почти стоял, работали по военным приказам в одну смену и Дракин ждал момента, когда снова забурлят люди, заснует бичева, канаты, и выстрел в столице его обрадовал.

Беглецы вместо себя закутывали в шинели тюфяки, подушки и командир приказал в начале поверки будить и выстраивать людей у нар — всю наличность проверять по спискам. Укладываясь, солдаты хмуро ворчали:

— И ночью-то не дают покою.

— Людей на привязи не удержишь.

В феврале прапорщик Петровский за отступления в дисциплине был под домашним арестом и назначен на пополнение в маршевую роту.

Домашнему аресту Петровский обрадовался — вспомнил о письме к Зине, перечитал его, начал писать заново. По вечерам приходил с завода Игнат — похрамывая и постукивая суковатой палкой.

— Плохо вот, Никодим Александрович, что вам придется на фронт ехать.

— Все равно я воевать не буду. На фронте своя работа, многие ее давно уже начали! В Москве группа студентов дежурит в музеях и в картинных галереях и, объясняя солдатам картины, ведет агитацию против войны.

Мела метель, заносила окраины губернского города, стояли поезда, на пути командами высылали расчищать солдат; гудели, взвизгивая, телеграфные провода — неизвестно кем посланная телеграмма из Петрограда наматывалась на катушку змеей и с метелью от проводов слух по городу, неизвестно от кого и когда — ночью, — Государственная Дума не разошлась, рабочие вышли на улицу, правительство арестовано, войска переходят на сторону революции.

Хромая в сугробах, постукивая суковатой палкой, за полночь прибежал Игнат к Петровскому, долго гремел дверью. Испуганная хозяйка проводила солдатскую шинель до комнаты прапорщика.

Холод принес, снег и бодрость. Будил, возбужденный, Петровского:

— Никодим Александрович! Никодим Александрович!

Увидев солдатскую шинель, не сразу понял кто и зачем.

— Вставайте скорее что ль!.. Революция!

И в ту же ночь, ныряя в снег, бежал в слободу жандармский ротмистр, переодетый в штатское — к председателю союза Михаила Архангела, частному поверенному Ивану Матвеевичу Лосеву, в собственный его пятиоконный деревянный дом. Долго гремел ставнями, разбудив в подворотнях залихватый лай. В щелке промелькнул свет, зашлепали торопливые туфли девушки, испуганно сорвался голос.

— Кто тут?!

— К Ивану Матвеевичу нужно, сейчас же.

Девушка убежала будить, потом заскрипел сонный голос недовольно и зло:

— Кто тут?

На знакомый окрик открылась дверь. Девушка куталась в шубку, одною рукою держала свечу, другою все время запахивала грудь, черные глаза с выкатом потупились — подусники ротмистра слегка дернулись, но он вспомнил зачем пришел:

— Несчастье стряслось — революция! В столице восстали солдаты!..

Лосев замигал глазками и растерялся, но сейчас же спохватился и, ерзая калошами, начал говорить ротмистру:

— Защитники-с отечества и престола не допустят этого.. обсудить-с, немедленно обсудить-с, Иван Карлович...

В темном кабинете, при свече — шепотом:

— Под великим секретом, как истинному верноподданному его императорского величества, — шифрованная телеграмма получена мною, всем, только надежным, под присягою, — вступать во все крайние революционные партии и, дискредитируя, парализовать их действия — разрушать революцию.

Мелкий смешок, закатыстый...

— Хе-хе-хе-хе-хе! Мудрое-с распоряжение, гениальное-с...

— Понимаете, как действовать надо?!

— Подрывать-с, Иван Карлович, — подкапывать-с... сперва маленькую червоточинку-с и так сказать — ходы внутренние-с, а когда подготовлено будет все — щелчок-с и развалится. Только бы господь пронес первые дни-с, Иван Карлович, а потом — вынырнем-с, из-под земли вырастем-с победоносным воинством-с... Не извольте беспокоиться!..

Шуршали бумаги, топилась печка и тонкий дымок разносил пепел.

Ротмистр советовал жечь все до последнего клочка.

— Невозможно, Иван Карлович, никак-с невозможно, сожгешь, а потом — глядь и забудешь, кто числился, нужного человека-то и нет-с, а тут проглядел списочки... и сразу припомнишь — и вся подноготная вспомнится.

— Помните, что злейший враг правительства — интеллигенция, больше всего надо бороться с нею.

— Господа инженеры-с... адвокаты и всякие либералы-с... Хе-хе-хе!

Входила черноглазая дочь Маня, отворявшая дверь:

— Папочка, в столовой готов чай.

Лосев испуганно махал рукою и выталкивал дочь:

— Потом, некогда, — подождите вы!

К утру Лосев напоил чаем ротмистра и, провожая, говорил в коридоре шепотом:

— Значит-с нескоро увидимся!.. В чужом городе спокойнее будет-с... не узнают-с... А мне вот предстоит испытание перенести... Ничего не сделаешь — семья-с как петля на шее, — не скинешь ее...

Долго копался еще в кабинете, вкладывая в турецкий диван небольшой сверток бумаг и, потирая руки, оглядывался по сторонам:

— Собственной грудью защищать буду их... Собственной! А для приманки-с, пожалуйста-с, оставлено!

Утром за чаем говорил встревоженной жене и дочери:

— Смотрите у меня, не проговариваться, и себя, и отца погубите. Ночью у нас никого не было. Дел вы моих не знаете, у вас бабьи заботы, свои!

Целое утро Лосева круглым шаром каталась за мужем, охая и приговаривая:

— А вдруг с тобою случится что...

— Ничего не случится... Болен я, вот что! В кабинете лежать буду. А Маня пускай в свое земство ходит — на машинке постукивает, да лучше слушает, что другие говорить будут.

— Слышишь, Маня, что отец говорит?!

Капризный голос отвечал из другой комнаты:

— Слышу! Не маленькая!

— За тобою Чапыгин ухаживает, так ты не отталкивай, — нужный человек, а теперь верховодить должно быть будет, либерал, барин...

Всклокоченные волосы подвязал красным платком, одел

старый халат, приказал жене постлать себе на диване и начал ходить из угла в угол по комнате, поглядывая в окна на улицу.

— Да ты ляг, Ванечка, — от волнения еще хуже расстроятся нервы... ляг поди!

Ходил, потирал руки...

— Что ты все в окна поглядываешь?

— Гостечков жду, Машенька, дорогих гостечков-с!

За обедом Маня сказала отцу:

— У нас в земстве сегодня митинг был.

Лосев встрепенулся, замигал глазами:

— Ну, ну, — говори скорей, не томи меня, я точно мышь в клетке, — ну, говори.

— Михаил Иванович речь говорил, выбрали от земства его в комитет.

— В какой комитет?

— Общественной безопасности!

— Так, так, так-с... безопасности-с!..

— Он меня берет к себе машинисткою.

— Расцелую тебя, доченька, — умница ты моя, разумница!.. Раскрасавица! А ты береги это место, вот как береги, двумя руками в него уцепись, Манечка, да копийки-то с бумажек и приноси почитать отцу.

В комитете общественной безопасности, — Коренев — говорун поверенный, инженер Дракин, эсерствующий помещик Чапыгин.

В молодости, студентом, Михаил Иванович замешан был — на поруки взяла мать в имение, а когда судьба привела диплом получить, Чапыгин уверовал в эволюцию и стал молодым либералом, сочувствующим эсерам. Вольготно жил и готов был заложенную землю отдать мужикам — за выкуп. Холостая жизнь — воробьиная, порхает Чапыгин, чирикает, женолюбцем большим сделался, а когда начало брюшко отрастать, — запустил бороду и широкое лицо барское еще добродушной стало, за улыбку да за глаза — в земство выбрали, к тому времени и земля от залога очистилась. Двух племянников вдовой сестры содержал в институте путей сообщения и гордился стыдливо своей добротой; во время войны уговорил добровольно идти в кавалерийское. Машинистку себе выбирал в кабинет, — чтоб наивные были глаза и рот малиновый и, диктуя доклад, смущал неотрывным взглядом. В клубе узнали про Лосева — посоветовали:

— Как вы можете доверять ей, — это же дочь Лосева?

— У меня она демократкой будет, — помните, что отцы и дети всегда во вражде — молодое поколение перевоспитывает обстановка!

Добродушный смех бархатный заполнял земство: каждому шутку, с каждым за руку, с последним писцом мог приятелем быть, всегда обещал — войти в положение, разобрать дело, только некогда было исполнить — дела земские, клубные и сердечные, забывал дободушно, а при встрече...

— Что же вы, Иван Иванович, не напомнили вовремя!.. У меня — сами знаете — дел по горло, иногда и поест забудешь!

К Михаилу Ивановичу и слуга приставлен жандармским ротмистром из членов союза Михаила Архангела, — следить и докладывать, а доклады, — барышню или барыньку привозил вечером в холостяцкую квартиру к себе, и говорили они про любовь до утра.

Третий раз шел по выборам в земство, когда после пятого года в земском зале на митинге говорил речь служащим о сгнившем правительстве и режиме и о том, что теперь интеллигенция и народ доведут войну до победы.

Слуге своему Акиму, вернувшись домой, сказал радостно и даже расцеловал его:

— Слышал брат, — революция в Петрограде?!

Аким только пальцы свои растопырил от неожиданности.

В комитете безопасности поздравляли друг друга с праздником революции, говорили речи — свободолюбивые и когда инженер Дракин, нетерпеливо дергавший трубкой, спросил председателя: — Что комитет предпримет в первую очередь? — Михаил Иванович, не задумываясь, ответил: — Воззвание к гражданам о соблюдении тишины и порядка и всемерной поддержке в тяжелую минуту испытания — довести войну до желанного и победного конца.

Дракин еще глубже затянулся, пустил клуб дыма и спросил:

— Реальное что комитет предпримет?

Присяжный поверенный Коренев удивленно взглянул на Дракина:

— Что вы подразумеваете под реальным?

У Кирилла Кирилловича дернулось лицо, подпрыгнула трубка:

— Если вы не арестуете жандармское управление — может быть самосуд.

Заговорил Коренев — плескались слова о власти и об ответственности, хлестал арестованных министров едкими замечаниями, о гражданском и общественном долге и предложил вынести резолюцию — зафиксировать власть — об аресте жандармского управления.

Не знали кого послать выполнить поручение, — толпившиеся в городской думе гимназисты выпускных классов — с красными бантиками и повязками на руках милиции, предлагали свои услуги, — арестовывали на улицах городских и теперь караулят их. Чапыгин радостный вышел к ним, обнимал, ободрял, говорил о гражданском долге и вернувшись предложил Дракину:

— Пошлите нашу молодежь. Какой в ней энтузиазм!

Кирилл Кириллович снова задал вопрос Чапыгину:

— Вы думаете, что гимназисты сумеют произвести обыск?

— Какие обыски? В свободной России опять жандармы, тюрьма, обыски?..

— У членов союза Михаила Архангела! Разве вы не помните как всех нас обливала помоями эта газетка ихняя, разве они не будут стараться всеми способами мешать нашей работе, разве вы не знаете, что наш город был гнездом черной сотни?

Спорили, волновались, боялись арестами осквернить светлые дни революции. Дракин снова прекратил разговоры

— Я не могу, господа, поручиться, что трепальщики с моего завода не расправятся сами, если мы оставим на свободе вчерашних врагов! По-вашему, что же, лучше пролиться крови?!

Михаил Иванович растерянно смотрел на Коренева, от волнения вытирал широкий лоб носовым платком, ожидал, что поверенный, как юрист, выведет из затруднения, но тот только одобрительно кивал головой Дракину, соглашаясь во всем и готовый на все, что он предложит.

— У нас в городе три запасных полка, среди офицеров большинство студенчества, я знаю — среди них есть социалисты. Испуганных городских и дети могли арестовывать...

Новой власти представляться приехали при орденах в мундире начальник гарнизона, полковник Дубинин. Инженер, от имени молчаливо соглашавшегося комитета, просил предоставить в распоряжение новой власти прапорщика Петровского и солдат, — если возможно —

сейчас же. Дубинин звонил по телефону вместе с инженером в полк, долго ожидал ответа ротного командира, понурясь, сообщил Дракину:

— Прапорщик Петровский под домашним арестом, разрешите назначить другого.

У инженера мелькнула мысль о причине ареста и он стал настаивать:

— Прапорщик Петровский лично известен членам комитета.

По телефону переговаривались об освобождении и немедленном приходе по распоряжению коменданта в комитет безопасности, — ротный командир прохрипел в трубку: «слушаюсь».

К Петровскому прибежал из роты ефрейтор. Вместе с ним пошел к ротному командиру. Ротный, не подавая руки, передал приказание коменданта явиться немедленно в городскую думу и язвительно закончил:

— Хотя вы и лично известны, но на фронт вы пойдете.

Никодим ничего не ответил, подумав, что его работа теперь будет нужна везде.

Кирилл Кириллович, как всегда, говорил коротко, пыхтя трубкою. От бессонной ночи и суетливого, безалаберного дня голос был суше, — лицо острее и глаза жестки и насмешливы. Никодим отвечал сухо, волновался предстоящим поручением. Сам составил распоряжение комитета и черноглазая машинистка перестукала первое распоряжение новой власти. На извозчике носился Петровский за подписью коменданта, передал распоряжение дежурному по полку и за полдень вывел из барака отделение солдат производить аресты. Дорогою же объяснял ефрейтору для чего это нужно. Одна только мысль мучила всю дорогу, — он, социалист, и должен производить обыск — рыться в чужих вещах, в чужой жизни — точно жандарм, — успокаивал себя только тем, что это враги свободы и революции и все равно кому-нибудь это нужно делать, не сегодня так завтра. От прочитанных в газете слов, — бескровная, — оставалась горечь, вспомнились санкюлоты — улыбнулся, — он первый. У встречного мальчишки, кричавшего звонко, помахивая газетою, — отречение Николая, — вечерняя, — купил полотнище Русского Слова, — идти стало бодрее, увереннее — застывший ледок по ручьям звонко хрустел — под ним журчала вода захлебываясь каблуками.

Лосев метался в красном платке по комнатам. Дочь

рассказала, что городских арестовывали гимназисты, — отцу стало весело, с утра ожидал новостей, ареста не боялся, все время думал:

— Сам покажу, забирайте, мол, деточки.

И зло сверкая глазками, оканчивал:

— Молокососы, щенки-с!..

Звякнул в передней звонок — резко, коротко и затрясся в судороге. Лосев отскочил от окна, — с противоположной стороны подошли — не видел, побежал в кабинет, на ходу крикнув жене, — задержи разговорами, — зажег свечку на табуретке с лекарствами, с клюквенным морсом подле дивана, натянул ватное одеяло до подбородка и сделал жалкое, плаксивое лицо болящего. Прислушивался, — снова звякнул колокольчик и оборвалась пружина. По коридору застучали мужицкие сапоги. — Лосева, увидев солдат, раскрыла рот, побледнела и побежала за прапорщиком, — ждали гимназистов с бантиками.

Петровский поставил у ворот, у крыльца людей с винтовками, — по всей улице прилипли к стеклам глаза, лица, шеколды зацокали:

— Солдаты, гляди — солдаты пришли...

— Арестовывать...

— Стоит его — ябеду, житья от него не было...

Поклончивые головы закивали весело на ворота Лосевские — подмигивая, ухмыляясь — радуясь:

— Никого не впускать, ни выпускать!

— Слушаюсь!

Не снимая папахи, вошел в комнату, Лосева показывала на кабинет и шепотом просила прапорщика, складывая на груди руки:

— При смерти он, при смерти... Не пугайте его, не трогайте!..

От испуга голос ее дрожал — лгала, веря своим словам:

— Сердце у него, разрыв сердца случиться может...

— По распоряжению комитета общественной безопасности должен произвести обыск. Покажите бумаги его.

Растерянно повела в кабинет. В темной комнате, окнами в сад, пахло лавровишневыми каплями, каким-то лекарством; закутанный в ватное одеяло старое — сверкнул глазками и закрыл, охая. В письменном столе торчала связка ключей, коптила стеариновая свеча, мигая, и темная комната, турецкий диван, обвязанная голова красным платком с заячьими ушами — казалось противным, липким, запах каких-то лекарств тошнотворный. Бородатый

солдат с винтовкой у двери водил глазами по комнате, ефрейтор с любопытством смотрел на больного, на прапорщика.

Лосев застонал, потом открыл глаза, прищурился, узнал студента Петровского и занял скрипучим голосом:

— Обыскивать будете?..

И будто в забывчивости повторил:

— Обыскивать-с?!

— Где ваши бумаги?

— В столе-с, в письменном... господин прапорщик!..

Начал выдвигать ящики, не разбирая, складывал все на стол, попадались старые конверты без писем, испорченные бланки союза Михаила Архангела, незаполненные билеты, несколько алюминиевых знаков, — противно было рыться и брать в руки, точно что налипало на них. Чувствовал, что все равно ничего уже нет — сожжено или спрятано. В нижних ящиках было полно брошюрками. Подошел к низкому старому книжному шкафу.

Лосев цедил:

— Там книги-с...

На нижних полках связки бумаг и газет.

— Редакционные дела...

Не выдержал голоса Лосева, оборвал сухо:

— Там, вероятно, и адреса можно найти — выписывавших вашу газету.

Лосев от неожиданности съежился, — позабыл сжечь, думал, что не догадаются. Закопошился, заерзал на диване и даже закашлялся.

— Там ни-чего-с нету! Кхе-кхе-кхе... ни-че-го...

— Ковальчук, попроси у хозяйки мешок — бумаги сложить.

Ефрейтор вернулся с мешком повеселевший, около книжного шкафа стал на коленки и начал тыкать бумаги.

Никодим остановился у стола и ждал. Лосев скрипел:

— Мы ка-жет-ся зна-ко-мы?.. Вот как, — Никодим Александрович кажется-с, пришлось свидетелься-с... кхе-кхе-кхе! Мо-жно-с ска-зать-с... с обыском-с! Кхе!

— Бумаги сожгли?

— Не держал-с никогда у себя... Так по распоряжению-с комитета?! Инженера Дракина-с...

Противно было слушать покашливание, хрипоту, — чувствовал, что не болен. Раздражал черный, громадный, как гроб, турецкий диван, хотелось сдвинуть его, поднять,

но видя и чувствуя слизняк под красным одеялом — брезгливо отвертывался и не отвечал Лосеву.

— Ковальчук, скоро ты?!

— Сию-с минуту, — последние.

Не прощаясь, вышел из комнаты, взглянув еще раз на черный диван, — была почти уверенность, что все спрятано там. Вышел в коридор.

— Ковальчук, сними в кухне с поста.

В коридоре у двери на улицу спросил солдата:

— Замерз?

— Никак нет, ваше благородие!

Пахнуло спиртом, — Никодим вздрогнул, спросил, — голос зазвучал уверенно, гневно:

— Отчего от тебя денатуркой несет?

Солдат растерялся и оветил правду:

— Хозяйка по шкалику поднесла.

Подносила денатурат, девка из кладовки во двор таскала четверти — постовой пропустил, соблазнившись шкаликом:

— Только офицеру не говорите своему.

Денатурку мужикам за пшеничную муку продавала, чтоб не стоять по карточкам губпродкома в очереди.

У Петровского сердце рванулось, облилось горячим.

— Ковальчук, возьми двух человек!

Лосев раскрыл широко глаза — не ждал возвращения, позабыл про болезнь, сразу опомнился и заохал.

— Вы можете встать с дивана?

— Ох, о-ох... сердце у меня... се-рдце!

— Поднимите его, — осторожно! Перенесите в спальню.

Жена заплакала:

— Ваничка, что с тобой делают?! Ваничка?!

Лосев испуганно замотал головой:

— Не трогайте... о-ох не тро-гайте.

— Ковальчук, — исполнить приказание.

Два солдата подошли к Лосеву:

— Под мышки его, — половчей будет.

— Я сам... о-ох... сам подымусь.

— Не трогайте, сам поднимется!

Лосев, кутаясь в одеяло, сел у стола в кресло и широко раскрытыми глазами следил за Петровским, — Никодим приказал снять валики, поднять диван и Ковальчук вынул пачку бумаг и в деревянном небольшом ящике несколько револьверов и патроны. Лосеву вывели из кабинета и слышен был ее икающий плач.

— Ну, вам легче стало теперь, господин Лосев? Может быть попробуете выздороветь?

Шевелились концы платка, мигали глаза, кутался в одеяло.

— Не притворяйтесь! По распоряжению комитета вы арестованы. Если не можете сами, вас солдаты мои оденут.

На одну минуту Лосев растерялся и встал, двинулся, потом снова сел и заохал и опять встал, Никодиму надоело смотреть на комедию:

— Солдат денатуркой кто приказал жене спаивать?

Лосев ахнул, как-то икнул — от злости и досады, ни на Никодима, ни на обыск, а на жену, и сперва неторопясь, потом быстрее пошел одеваться.

Никодим взял револьверы, закурил и вышел ожидать в коридор; из спальни в открытые двери доносилось:

— Это ты, ты... погубила меня... По твоей милости в острог поведут. Проклятая...

Петровский подумал и улыбнулся тому, что Лосев сразу выздоровел.

Потом у Петровского наступила реакция и нервное утомление.

За уводимым Лосевым из калиток шептали соседи:

— Куда ж его повели?..

— Должно быть в острог... Дождался ябеда!

Безразлично сдал под расписку смотрителю Лосева, по дороге отпустил в бараки солдат с ефрейтором, оставил с мешком одного, и двух конвоиров, и, возвращаясь в комитет, в городскую думу, сунул в карман два револьвера — блестящий смит и браунинг, подумав, что один подарит Игнату.

За полночь Михаил Иванович Чапыгин вырвался из комитета в общественное собрание, — закусить что-нибудь. Половина помещения отдана под лазарет, половина, с библиотечной комнатой, оставлена для собраний. Застал еще приятелей за газетами, обсуждавшими положение. Уходя после ужина вздремнуть хоть часок, говорил добродушно и удовлетворенно:

— Я, господа, хотя и не был в партии, но я старый эсер, народник, я давно говорил, что в революции наше спасение, теперь мы победим немцев!

II.

Дни, как метель, с заметухой, — недоумевающий месяц пятно мутное — в морщинах его и радость, и страх.

К городской думе — в комитет безопасности приводили солдат, Михаил Иванович выходил с речами, от радости и волнения вытирал широкий лоб носовым платком и, возвращаясь в кабинет, взволнованный падал в кресло.

В первые дни солдаты всякие речи слушали молча, точно оглядываясь по сторонам, — правда ли, а может быть господи ради удовольствия, пошутить.

В роте, когда Никодим пришел после обысков, солдаты смотрели на него недоумевающе — до сознания не дошло, — помнили только одно — что царя нет. В глазах огонек вспыхивал и потухал, хмелевом прятался в глубину. Вольготное слово — товарищ — бурлило, взрывая века неволи.

Петровский первый объяснил мужикам приказ номер первый — выбрали в комитет ротный, в собрании штабс-капитан не подал ему руки, а полковой командир отозвал в сторону — просил осторожным быть. Из ротного послали Никодима в полковой комитет и первое требование — пищу улучшить из экономических сумм и на побывку пускать в деревню.

Чапыгин после обысков — бумаги, — вникнуть и разобрать, — перевез домой, потом, — целые дни метался, вытирая пот, — позабыл о них, комитету тоже не до них было. Валялись они на столе письменном — Аким их рассматривал и таскал, стол заваливался новыми, — потом и газеты с адресами исчезли.

Вынырнул из тюрьмы Лосев, а вечером в потемках Аким завернул.

За чаем барский слуга сказал шепотом:

— А бумажки-то, Иван Матвеевич, у меня хранятся.

— Какие бумажки?

— Союза нашего. Барин-то бросил их на столе, завалил делами, я сперва было боялся трогать, а потом гляжу, что без надобности, для вас и припрятал их. В узелочке принес.

— Ты бы сразу, Аким, обрадовал старика.

— Вы-то старик?!

— Тюрьма хоть кого состарит... Хе-хе-хе!

Снова спрятал в турецкий диван, приговаривая:

— Полежите, голубчики, полежите — будет и ваша очередь.

Аким приходил часто, рассказывал о Чапыгине:

— Измаялся, замотался, жилетка мешком.

— Водит к себе?..

— Куда там!

Манечка возвращалась поздно, — мать заботливо, отец — поглядывал недоверчиво. Расспрашивал про комитет, про Чапыгина.

— Я ж тебе говорил, чтоб копии приносила, копии!

— Какие вам копии, папа, — сколько городу нужно муки?

— Секретные, понимаешь — секретные.

— Никаких там секретных нет, — каждую посылают в газету.

Лосев не верил дочери, боялся, что опутали ее Чапыгин или не дает переписывать.

Михаил Иванович, диктуя, улыбался ласково машинистке, наклонялся над машинкою прочитать написанное, широкая блуза мягко касалась щеки, щекотала ухо — девушка отодвигалась, краснея, Чапыгина радовала застенчивость. Всегда был внимательным, отпускал не в урочный час, а вечером, заработавшись, говорил ей, и двум другим, утомленным голосом:

— Вот и кончили!..

Машинистки вскакивали, щелкали крышками:

— Можно идти, Михаил Иванович?!

— Голодными вас ни за что не отпущу — поужинайте с нами.

Вел в общественное собрание, угощал ужином. Вместо квасу подавали в темных бутылках вино, как хозяину. Становилось весело, не хотелось уходить. По улицам девушки торопливо бежали домой. На мещанских пахло березою клейковитой, сильнее вина кружило голову. Чапыгин Мане казался бодрым, особенным, начала ненавидеть отца, скрипуче расспрашивавшего о секретных делах и бумагах.

Первого мая красные знамена-полотнища колыхались над головами солдат и рабочих за город в Чапыгинскую рощу с песнями. От комитета солдатских и рабочих депутатов говорил Петровский, под конец выкрикнул:

— Война дворцам — мир хижинам!

Заметил в толпе Лосева, вспомнил обыск, бумаги и вечером пришел к Дракину. Инженер нервничал, лицо все время подергивалось.

— Что вы делаете, Никодим Петрович?

— Революцию, Кирилл Кириллович?

— О вашей речи в роще весь город знает. Вы разрушаете!

— Новый дом не строят на старом фундаменте, это вы в комитете собираете обломки и лепите их щебнем.

— Две власти не могут быть! Временное правительство говорит...

— Да, говорит, а не делает. Разве не вы хотели конца войны, а когда этого захотел солдат, ему говорят — вой! Война кончена!

Остался ночевать у Дракина.

Завод стоял, осеннюю пеньку отработали до весны. Дракин никого не рассчитывал и еженедельно в конторе выплачивали. В чайной работал заводской комитет. Игнат, похрамывая и постукивая палкой, в солдатской гимнастерке звонил, восстанавливая тишину собраний.

Утром Петровский спросил Дракина:

— А где бумаги, забранные мною при обысках?

— Какие бумаги?..

— Лосевские. Я за этим к вам и пришел.

— Ага, вспомнил, — их взял Чапыгин к себе — обещал разобрать.

— Там списки, они мне нужны!.. Понимаете — Лосев и еще кто-то, я уверен, что от него же, — разжигает ненужную вражду и озлобленность. Мне нужны эти списки. Игнат говорит, что он вертится и между вашими рабочими. Подобных изолировать надо! Это враги.

Смолистые почки, клейковатая зелень и лихач, ожидавший из думы Чапыгина — весенний поток, унесший за город девушку. Кружилась голова, горячили губы и плавало безвольное тело — покорное и неотступное. Вернулась домой за полночь. Лосев шлепал туфлями отворять дочери, проскользнула в свою комнату — лишь бы не слышать скрипучих слов.

— Бумажки все переписываешь?! Спешные-с?.. Где была?.. Где?.. Смотри у меня — выгоню, из дому выгоню...

Тревожно спрашивал приходившего Акима.

— Как живешь? Что нового?! Никого не привозит?!

— Какое там... Все в комитеты разные ездит...

— Правда ли?!

— Мне-то не знать, Иван Матвеич!

С песнями по улицам проходили ударники, а мужики в серых шинелях лузгали семечки, ухмыляясь в бороду. На

занятия выходили с прохладцею и черные полосы ярового тянули домой, в деревню.

Чапыгин выходил на балкон говорить напутственные речи ударникам, — волновался, призывал, — до победного конца.

Лето сгорело коротко.

Длинные списки эсеров вывели Чапыгина в городское самоуправление.

На грузовике под красным флагом солдаты, рабочие, — красным дождем воззвания большевиков.

Ленивые обыватели опускали, замороженные словами и обещаниями, в темные деревянные сундуки под замками готовые списки, чтоб снова потом еще один раз подойти — в Учредительное.

Дракин потребовал у Чапыгина лосевские бумаги, коротко объяснил зачем. Михаил Иванович вспомнил — обещал приготовить доклад. На письменном столе перерыл бумаги — поспутал все.

— Аким, не видели тут дела союза Михаила Архангела.

— Я, Михаил Иванович, ничего не трогаю, сами знаете...

— Может быть, помнишь куда я их положил?

— Разве были такие, Михаил Иванович? Не помню что-то — не говорили про них...

Рылся в столах, в книжном шкафу...

— А может вы в комитете оставили их?..

Ходил из комнаты в комнату, — по-холостяцки четыре комнаты.

Виноватый ходил в думу, избегал Дракина; инженер напомнил на заседании, настаивал и когда Чапыгин сказал, что бумаги должны в комитете быть, Кирилл Кириллович не выдержал:

— Вы знаете, господин, зачем мы посылали обыскивать, вы знаете, что это враги революции!

Присяжный поверенный Коренев перебил и начал успокаивать инженера и комитет:

— Напрасно волнуетесь, — русская революция смела все, что носил в себе рухнувший строй и примирила всех, обманутые люди, втянутые под угрозой монархистами — сегодня с нами, народной власти они теперь не враги — их нет, русская революция их поглотила и растворила в широком море своей свободы.

Дракин молчал, молча, ушел из комитета и больше не появлялся в нем — в списках его не было.

Утром ходил по заводу, дымил трубкою, заходил в заводской комитет в чайную. Встречая Игната, спрашивал о рабочих, о настроении, убеждал его, что не может согласиться на прибавку и говорил:

— Производство стоит, я трачу питательные соки завода, вы сами знаете, что пеньки мы получим нуль — деревне не до того и я исключительно плачу потому, чтобы сохранить кадр, сохранить силы, при первой возможности снова пустить в ход, — вы знаете это, Игнат!

Игнат спокойно отвечал инженеру:

— Знаю, Кирилл Кириллович, а все таки прибавка нужна, жить нечем.

— Тогда берите завод в свои руки, пускайте в ход, я согласен на все, но не истощайте его и самих себя, я готов быть управляющим, простым мастером — служить делу!.. Неужели вы не верите мне?

Мастер отворачивался в сторону и снова говорил о прибавке:

— Неужели вы не верите?! Сам я не могу разрушать своего дела, своей идеи.

— Я-то верю вам, а комитет не верит...

И, переставляя хромую ногу, окончил потупившись:

— Говорят, что денег вы много у них высосали, да не хотите расстаться с ними — за границую держите.

— Кто говорит? Кто?!

— Не помню, а только говорят рабочие.

Вечером Дракин вызвал к себе Никодима, досадовал на заводской комитет, угрюмо дымил трубкою:

— Не верят мне, понимаете — не хотят верить!

— И никогда не поверят, пока вы не с нами, — вступайте в партию. Вы сами ушли из комитета, отказались голосовать в самоуправление, вы не верите им и не хотите, чтоб вам поверили.

— Но мне и у вас не поверят.

— Все зависит от того, как вы себя проявите.

Дракин отмалчивался и начинал говорить о племяннице:

— Сумасшедшая! Писал, телеграфировал — ребенок у ней, мать-старуха волнуется.

Летом, когда мужики не хотели под Тарнополем идти в наступление — растерявшееся правительство послало поверенных уговаривать, — солдат слушал, ухмылялся; и не шел в наступление. На крышах вагонов, на тендерах, на буферах, на подножках тянулся домой делить барскую землю. Изредка ухали, по привычке, по утрам орудия,

сонные парки подвозили еще снаряды, перекладывали с места на место штабели; ездили гостевать на фольварке-ры офицеры — из потайных подвалов доставалось вино, шелестели в девятку карты и николаевские бумажки новые, — керенки не в почете были. В халупах, в землянках бородачи резались в очко до полуночи, кипятили в манерках чай и пили кислотоватый густой самогон — ячменный и кукурузный. Осторожные прапорщики и офицеры не стали возвращаться из отпусков и командировок. Осень стояла сухая, погожая. В тыловых прифронтовых госпиталях тишина и веселье, сестры ждали гостей, — увядавшая роща звала забытья. По утрам пещерные люди выходили брататься за колючую изгородь, артиллерия ухала по своим и люди прятались в окопы, готовые повернуть штыки против тыла. Непробуженная провинция в зареве помещичьих гнезд опускала в Учредительное бюллетени, надеясь и веруя, не вылезая из наспанных нор на улицу и не прислушиваясь к ревушим на станциях паровозам, развозившим с фронтов по деревьям солдат.

Осенью, когда в столице по улицам в развалку ходили коренастые обветренные матросы, пощелкивая ленточками бескозырок, и с кронштадтского рейда Аврора тронулась, — на вокзале, на запасных путях с бою садились в вагоны переодетые гвардейцы, юнкера, растерянные дамы, — рыжий, большой, с перебитым носом, хромящий — растолкал садящихся:

— Не отставайте за мной... слышите!

Несколько раз Феничка ездила на вокзал и возвращалась в пустующий госпиталь, не могла на поезд попасть — не знала что делать. Афонька радостный возбужденный, приходил вечером, стучал в комнату сестры Гракиной:

— Эх, Фекла Тимофеевна, и чего вы сидите тут, глянули бы, что на улицах делается.

— Я боюсь выходить, Калябин.

— Со мною бояться нечего.

Смотрел на уложенные чемоданы ее:

— Домой собираетесь?!

— Вам, Калябин, хорошо говорить, вас не тронет никто... Я тоже ничего не боюсь, но не хочу оскорбления — не заслужила его.

— Одной, это правда, — на Невский вечером не показы-

вайте, а со мной-то чего бояться! Со мною — на край света теперь!

Размахивал широко ладонью, точно весь мир охватить хотел, — Феничка улыбалась, — ей становилось весело и смешно, хотелось взглянуть, — где-то внутри вспомнился тот день, когда Афонька ее своим туловищем защитил от нагайки; верила, что и теперь будет верней рыцаря.

— Прошлись бы да глянули!.. Своим человеком бы стали. Пусть только осмелится сказать кто-нибудь... Со мною никто не скажет. А домой вы успеете. Вместе поедем, — куда вы, туда я — не уйду от вас.

— Идите спать, завтра скажу — подумаю.

Афонька засыпал, вытягивался, расправлял мускулы, и чувствовал, как разливается утомление, и кровь в мерном русле успокаивается.

Целые дни бродили по улицам, уходил из комитета, садился в наполненный солдатами грузовой автомобиль и летел по городу на завод, — дышал и радовался, говоря сам себе, — вот она — наша, не барская, сами теперь хозяева.

Перед вечером выходил на Невский — от буйной воли дышать толпою. Проходя у гостиных рядов, отплевывался, вспоминая прошлое.

На углах, в подворотнях дамы в старых шубах, каракулях, с подносами деревянными, с домашними пирожками, — подходили матросы с возлюбленными, солдаты — швыряли керенки и, посмеиваясь, уходили, жуя на улице пирожки:

— Пускай попробуют сами теперь, как нам-то жилось!.. А то ишь ты!..

Приглядывался к продавщицам, хотел хоть одну встретить из тех, что вызывали его на Владимирскую в дом свидания, и сочно хохотал, когда продававшие еще вчера себя женщины с шутками покупали пирожки у дам:

— Это им не Владимирская, стервам.

— А что же вы, товарищ, один, без дамы?! Прокатимся...

Обертывался, огрызался:

— Ну вас к черту, надоели вы мне, у меня теперь своя есть.

Встретил с каким-то матросом Женьку, подругу старую. Узнали друг друга, она обрадовалась, сама подбежала к нему. Матрос остановился и ждал.

— Афоничка, милый ты мой, — сколько лет не видала.

Калябин взглянул на нее, как на что-то давнишнее, позабытое и спросил:

— Жива еще?

— Пойдем со мною...

— У тебя кавалер, — ждет — видишь!

Женька сверкнула глазами весело и крикнула кавалеру:

— Простите, товарищ, — дружка встретила, три года не виделись.

Матрос повернул, Афонька крикнул ему:

— Товарищ, куда ж вы, — идемте вместе, втроем веселей будет.

Женька прижалась к Калябину, взглянула на него умоляюще и прошептала:

— Афоничка, сколько лет мы не виделись.

Вырвал руку свою и подошел к матросу:

— Эх ты, дура, — в компании веселей, зачем же товарища обижать — бери под руки.

Пошли втроем, — Афонька прихрамывал, сбивая с ноги приятельницу и товарища. Женька рассказывала о разлучных годах, похвалилась заработком, вспомнила что-то и засмеялась:

— А твоя-то, толстомыся, про тебя спрашивала.

— Какая?

— Да графиня-то, что на Владимирскую ездила... Пирожками теперь торгует — с тела-то спала — не узнаешь теперь!

— Где она?

— На Литейный выходит.

— Пойдем, глянем!

Вспомнились звонкие телефонные, настоятельные требования содержателя дома, говорившего, что он не имеет права отказываться, и отучать доходных пациенток, вспомнились и слова, сказанные про нее Женьке, что готов снизу до горла ее распороть, — зашагал быстрее. На Литейном Женька толкнула его локтем, показав глазами. По дороге Афонька рассказал про нее матросу и весело стало, забавно взглянуть, вспомнить старое.

Выбирать пирожки стала Женька, матрос вынул расплачиваться портмоне и смотрел на Калябина, Афонька подошел, раскланялся и ухмыльнулся задорно:

— Мое вам почтение, — не хотите признавать знакомого?

Дама в каракуле вспыхнула, покраснела:

— Вы хотели, товарищ, пирожков?

— Владимирскую позабыла?! Ух, стерва!

Любопытные остановились поглазеть, посмеивались,

какой-то солдат одобрительно хохотал. Женька весело блестела глазами и ждала что будет.

— Так значит Афоньку своего не помните?!

Каракуль затрясся, испуганные глаза стали большими, беспомощными, на подносе прыгали пирожки. Хохотали зрители. И сразу, за всю жизнь мутную поднялась рука Афонькина к горлу ее, — матрос схватил его за локоть:

— Не связывайтесь, товарищ, с падалью!

Афонькина рука вздрогнула, зацепилась за серьгу и он схватил ее двумя пальцами и в тот же момент с каким-то бессознательным и угнетающим его озлоблением, сдавил серьгу пальцами и рванул, выхватив с золотом ушную мочку — в пальцах липла кровь, — рванул и сказал, выкрикнув, — сволочь, — отряхнул руку, хлястнув пальцами, с силою выбросив из них золотую серьгу, одновременно повернулся и, наступая сапогами на рассыпанные пирожки, не оглядываясь, зашагал к Невскому, обтирая о шинель кровь.

Любопытные расходились, бросая короткие замечания:

— Ишь, стерва, а графиня еще!

— Ловко он это, — припомнил старое...

Снова шагали втроем, — Афонька вспомнил про Феничку и угрюмо молчал. Женька заташила к себе и угощала добытым: вчера из чьего-то подвала старым коньяком, поглядывая на Калябина и матроса. Афонька выпил стакан, крикнул и поднялся:

— Ну, оставайтесь себе — мешать не буду.

Женька начала уговаривать, — втроем веселей, на радостях погулять нужно, встречу отпраздновать, — Афонька одел шапку и отстранил приятельницу:

— Некогда мне, понимаешь, некогда!

— У нас, Афоничка, по любви с товарищем, он не обидится.

— Коли по любви, так третьему тут мешаться нечего!

Бродил еще по улицам Петербурга, вспоминая прошлую жизнь, вышел темным и узким переулком сзади Казанского собора и снова вспомнилась Феничка, поцелуй ее — неожиданный, на всю жизнь. По Невскому прошел до Михайловской, увидел в парке против музея костер — пошел на огонь, подсел к землякам, слушал их разговоры молча, потом заснул, подложив под голову чью-то сумку и утром пошел в госпиталь.

У подъезда стоял извозчик, Феничка выносила свои вещи.

Точно опомнился, очнулся от тяжелого сна и сказал Гракиной:

— Уезжаете?.. Домой значит?!

— Третий раз, не могу в поезд сесть.

— Давно бы сказали... Устроил бы! Подождите... сейчас...

Заковылял по лестнице, схватил свою сумку и, испуганно смотря, — не уехала ли, — вернулся к извозчику.

— И я с вами, Фекла Тимофеевна!.. Куда вы, туда я тоже... Прощай, Питер!

На вокзале таскал чемодан, подушки, перекинув через спину их на ремне, и, расталкивая людей, плечами и чемоданом, узнал где стоят на запасных путях поезда. Все время обертывался на Гракину и приговаривал:

— За мною, сестрица! Не отставайте только.

У вагона растолкал лезущих, загородил собою дверь и кричал:

— Фекла Тимофеевна, сестрица, сюда ступайте!

Недовольные голоса галдели:

— Пролезай что ли — загородил дорогу!

Огрызнулся зло и задорно:

— Пропустите сестру, анафемы, — с фронта мы!..

— Мы сами оттуда же, — нашелся какой хороший.

Феничке стало весело, — ее пропустили вперед, Афонька влез в купе и начал стягивать со второй полки взобравшегося солдата.

— Ну-ка ты, дядя, освободи место....

— А ты что за барин такой?!

— Сестрица, сюда. Говорят, пусти.

Солдаты недоумевающе смотрели на рыжего вихрастого человека и на сестру милосердия.

— Чего смотрите, — что сестра-то, — так она нашему брату не одну жизнь спасла, — настоящая, — и меня от смерти избавила.

Феничка улыбалась, глядя на Калябина, солдаты уступили улыбке ее и серые мужицкие глаза стали добрыми. Земляк со второй полки слез, лежавший внизу сел, уступил место и товарищу, и Афоньке.

Афонька, довольный, посмеивался.

— Вот и устроились... удобно сели, Фекла Тимофеевна?! Вот и мы, землячки, во втором классе поедем теперь, — довольно, поездили, теперь наша очередь.

Поезд долго еще стоял на запасном пути, к вечеру его передвинули, наполненный, к перрону вокзала, пытались

высадить понасевших людей, Афонька кричал в открытое окно.

— Некуда тут, куда лезете...

В окна совали багаж, за ним пассажиры и в духоте, в сутолке тронулись с опозданием. На станциях Калябин ухитрялся добывать горячей воды, колбасы, хлеба, не стесняясь, брал у Фенички деньги, и возвращался торжествующий, с прибаутками, поглядывая счастливыми глазами на Гракину. Солдаты доставали кружки, развязывали холщевые мешочки с сахаром и пили вприкуску чай. Афонька заботился и беспокоился за сестру и спрашивал:

— Удобно вам, Фекла Тимофеевна, может быть, вниз бы сошли.

Потом обращался к соседу:

— А ну-ка, товарищ, одолжи-ка кружечки, сестрица с нами чайку попьет.

Из чайника ополаскивал, выплескивал через головы сидящих в окно, аккуратно брал сахар и наливал кружку. С удовольствием смотрел на здоровую, крепкую Феничку и шепотом говорил соседу:

— Это тебе не какая-нибудь, — настоящая, наша, простым человеком не брезгует.

Феничке весело было смотреть на простых людей, приятна была заботливость и радушие — безыскусственное, искреннее. Иногда вспоминался Афонька, знала зачем он едет, знала, что теперь не оставит ее в покое и чувствовала над ним свою силу, от этого были уверенность и спокойствие, — теперь хоть на край света.

Подъезжали к родному городу; Афонька оживился, шутил и один раз про Петровского вспомнил, спросил, не находится ли он в городе, Гракина ответила, что не знает. Проезжая мимо девичьего монастыря, сказал Феничке:

— Вот еще логово, — добраться бы до него!

Совет взял в свои руки власть. Губернский комиссар временного правительства, щедушный военный доктор, ходивший каждый день в присутственные места и подписывавший распоряжения, — при появлении грузовика с солдатами, молча ушел из своего кабинета — знал, что была власть, которой не на кого опереться было. Его сменил Никодим. Обыватели не заметили смены, необычна была только забастовка чиновников; директор отделения государственного банка не согласился выдать Петровскому ключи от кладовой, заявив, что пока еще в центре не

установилась власть, он является ответственным перед народом и государством — ему же придется отвечать за целостность народного достояния. Окружной суд разошелся и правосудия не было.

Никодим метался по городу на грузовом автомобиле с солдатами. Местная группа была малочисленна, хватались за каждого человека с волею — нужно было захватить сразу же главные нервы — казначейство, частные банки, почту и губпродком. На помощь пришли рабочие, организовав дружину, пополненную солдатами. Неумелыми руками держали на постах винтовки, но вырвать их было трудно и некому. Прапорщики и офицеры бродили по улицам растерянные, по вечерам не показывались. У большинства погон не было, хранившие честь мундира вызывающе поглядывали на солдат, — мужики подходили, останавливались и срывали, собиралась толпа и рабочий-милиционер успокаивал, освобождая от самосуда виновника. В типографии гремели машины, выбрасывая со станков Известия, распоряжения новой власти: всем, кто не явится к исполнению своих обязанностей, будет объявлено увольнение и места их будут заполнены новыми лицами, — саботирующие будут арестованы и подвергнуты революционной ответственности.

На улицах по вечерам раздавались выстрелы ошалевшей радости, жители запирали калитки, ворота, ставни, засовы, накидывали десять крючков на двери и не показывали носа на улицу — сидели без керосина, с каганцами конопляного масла. В первый же день, неизвестно кто — выпустил из тюрьмы уголовных, — начались грабежи, под видом обысков. Наскоро с организовали красную гвардию, записывали всех желающих солдат и рабочих и начали вылавливать уголовных, тюрьма снова ожила буйными голосами преступников.

У продовольственных складов стояли рабочие, выдавая по нарядам муку, — подвоза не было, экономили каждую кроху, населению выдавали — осьмушка на человека — овсяный хлеб.

Никодим не спал целые дни — держался нервами.

Вспомнил про инженера Дракина, на реквизированном у него же автомобиле приехал на Пеньи.

Кирилл Кириллович ходил по кабинету, поглядывал на стоявший завод, обрадовался Петровскому:

— Ну, что вы добились этим?

— Всего, Кирилл Кириллович.

Провалившиеся глаза Петровского горели, голос был резкий, выковавшийся не рассуждая приказывать, делал так, как подсказывал разум и необходимость действовать — некогда было и не от кого выслушивать возражения и бесполезные речи, — нужен был хлеб, деньги, без конца деньги, латать прорехи.

Петровский опустил в кресло и первый раз вздохнул глубоко и долго, проводя ладонью по лбу.

Кирилл Кириллович остановился против него, — сухое лицо, бритое, вздрагивающие на правой щеке мускулы и трубка, дымившаяся теперь махоркой, костлявые большие руки, — весь спрашивал.

— И вы удержите власть?!

— Удержим, Кирилл Кириллович! Что же по-вашему, временное правительство смогло бы ее удержать? Оно пришло к власти и ничего не сделало для нее — вместе с революцией катилось по инерции и кроме разговоров ничего не было. В старый, отживший аппарат, разваливавшийся с центробежной скоростью, вошли непригодные остановить развал и ускорили только его.

— Что же по-вашему нужно было делать?

— Не создавать двоевластия: революционный народ воплотил свою власть в советах, а буржуазия и помещики вместе с воспитанною ими интеллигенцией отмежевались от них. Они проглядели тот факт, что в Петербурге в пятом году еще к власти стремился рабочий совет и тогда бы он осуществил эту власть, а теперь — у власти народ, а его мозг — параличом разбит.

— Но вы же разогнали учредительное собрание?! Оно бы воплотило в себе власть народа. Первым актом его было — земля крестьянам!

— Почему же тогда народ не защищал его, если оно отвечало его надеждам, его желаниям, куда делся этот многомиллионный народ, в руках которого было в этот момент все оружие?! И не народ ли его разогнал?! По-вашему, что же — в совете рабочих и солдатских депутатов не было ни одного мужика?

— Надо было...

— Сейчас же сказать мужику о земле, а не уговаривать его воевать, — он не верил словам; свалив с себя вековое рабство, ему нужно было вздохнуть свободно, уверенно за свое будущее, а ему говорили — вой. Вы вот попробуйте теперь у него эту землю обратно взять или наложить

на него кабалу выплаты, вот тогда вы увидите, что он действительно будет воевать до полного уничтожения своего врага, до победного конца без уговаривающих.

— Вы потакаете страстям массы, играете на ее жадности!

— Мы зафиксировали события. Что делала власть, когда деревня начала уничтожать государственное имущество — свое же собственное, уничтожая культурные ценности и хозяйственные?! Что сделало для прекращения нарастающей анархии, в государстве временное правительство, воплощавшее в себе мозг нации, — посылало своих эмиссаров уговаривать деревню ожидать правильного разрешения этого вопроса в общегосударственном масштабе?! Если бы оно не эмиссаров послало в деревню, а землемеров, оно бы могло успокоить анархию. И мы спасли государство от разрушения и анархии, мы сохранили его ценности, разрубив гордиев узел мужицких чаяний, — берите землю, не ожидая, создавайте сами свою власть на местах и хозяйничайте — иначе Россия бы захлебнулась в крови и, разогнав учредительное собрание, мы спасли государство, может быть на подвиг пошли, решившись во имя освобождения всего человечества, взять власть у прогрессивно парализующейся интеллигенции и буржуазии.

Дракин начал ходить по кабинету, затягиваясь махоркою так же, как английским табаком. Слушал, не возражая, где-то внутри в нем было сознание правоты слов Петровского, возражения были заученными, чувствовал сам их ложность и не мог сознаться в своем бессилии.

— Вы вот, Кирилл Кириллович, откололись от интеллигенции, но что вы сделали, чтобы придти к народу?! Сознаться бывает страшно в своих ошибках, но лучше это делать теперь, чем когда народ отвернется от вас, за борт выбросит и заявит — наша власть и воля родит новых людей, новой культуры, а балласт выбросит. Не сама ли интеллигенция, мечтавшая о революции, саботирует ее и участвует в разрушении ценностей, созданных трудом и горбом народа. Почему вот вы, поддерживавший материально людей, ставших сегодня у власти, не идете с ними работать?!

Инженер стал выколачивать трубку о край камина. Белый пепел упал комком, он следил за его падением и когда белый колпачок покотился по полу и не рассы-

пался, Дракин выпрямился и начал говорить, точно все зависело от того — рассыпется или нет комок пепла.

— Вы не знаете, Петровский, того чувства горечи, которое живет во мне в эти дни. Да, я сознательно помогал в эмиграцию, поддерживал ее ради грядущего, но когда это грядущее настоящим стало — мною овладело тяжелое чувство. Когда стремишься к чему-нибудь светлому, то прежде всего видишь его результаты, конечную цель мечты и не думаешь о том пути, по которому нужно сперва пройти — быть может через разрушение и мнимое уничтожение ценностей... И вы представьте, что может быть это и есть трагедия нашей интеллигенции, — конечные цели революции, революционной демократии; ее роли в новом строительстве были ясны ей и она думала, что стоит только эти идеи, ставшие питательными соками ее жизни, развернуть перед революционной стихией, чтобы она восприняла их и пошла за интеллигенцией послушным стадом овец, готовым на долготерпение и самоограничение, но когда это стадо глотнуло живую влагу — его уже невозможно оторвать от источника, оно требует сейчас же невозможного и неосуществимого и, утоляя дремавшую жажду и голод, проходит как орда, уничтожая на своем пути все, что встретится, не рассуждая и не задумываясь.

— И вы испугались народа, его стихийного шествия к конечным целям?!

— Да, когда виделись только конечные цели — ясно было, светло, а когда началось продвижение к ним и ломка всей жизни, тогда нет сил воспринять это и примириться, как с неизбежностью, это-то и есть трагедия нашей интеллигенции. Я целые дни мечусь в четырех стенах и без конца думаю. Я отошел от интеллигенции, мечтающей и идеализирующей, но я не могу внутренне осознать и впитать в себя этого движения революционной стихии, разрушающей то, что вчера было создано мною, моим трудом, а сегодня разбиваемой теми, ради кого это сделано. Я знаю, что сегодня они хозяева, но отказаться от своей старой роли, воспитавшей во мне Дракина, я не могу еще... Я не хочу закрывать глаза на это, я не боюсь сознаваться, но не могу еще освободиться от этой тяжести.

— А не будет ли для вас еще большей тяжестью и трагедией, как и для всей интеллигенции, если завтра, эта стихия, это стадо, прильнувшее жадно к истокам новой жизни, само из себя выдвинет новых людей, поставит их во главе и пойдет планомерно к далеким целям, а вот вы,

вместе с другими останетесь не при чем с беспомощными и опущенными руками и не поймете уже этой стихии, этого нового шествия и без вас будет строиться новая жизнь, создаваться новые ценности, а вы, как парализованные, будете умирать никчемными, проклиная не себя, а непринявший вас народ, а он-то и ни при чем... Вот в этом-то и трагедия ваша и интеллигенции и чем скорее вы пойдете с нами, тем это лучше будет для вас. Я собственно, за этим к вам и приехал. Сейчас мы готовы как равных принять всех, кто разделит с нами труд строительства революции; перед вами я не стану скрывать, уважая вас, сейчас у нас мало людей и мы берем каждого, кто готов искренне идти за нашей идеей и воплощать ее в жизнь. Вы не представляете всей тяжести и ответственности нашего положения — сейчас мы у власти и наша власть должна быть действительной, мы не остановимся ни перед чем, а завтра, когда мы будем сильны, мы найдем новых людей, создадим, воспитаем их и тогда уже будет поздно!

Кирилл Кириллович ходил из угла в угол и хмуро смотрел на Петровского.

— Мне не поверят, я капиталист, заводчик.

— Я вам говорю, все зависит от ваших действий.

В столовой гремел чей-то голос — раскатистый, грубый, — разговор прервался и не окончился.

Афонька втащил вещи Фенички.

Дракин с Петровским вышли на шум в столовую и, увидев Феничку, инженер обрадовался и начал говорить:

— Сумасшедшая, — наконец-то!

— Если бы, дядя Кирюша, не Калябин — не доехала бы!

Где-то в мозгу шевельнулось у инженера, — Калябин, и вспомнил ночь, вексель, потом письмо, — взглянул на него, протянул руку.

— ...Калябин... здравствуйте, помню вас.

Афонька с солдатскою грубоватостью подал инженеру громадную руку:

— Вспомнили?! Судьба, знаете...

Петровский смотрел остро, хотел разгадать Афоньку, — заранее знал кто он, но не знал что в нём:

— А меня, Калябин, вы помните?!

Афонька взглянул на Петровского и от неожиданности отступил назад, потом поднялась рука его — тяжелая, медленная и нерешительная:

— Никодим Александрович?!

— Я, Калябин!

В этот же момент к Никодиму подошла Феничка, протянув обе руки и начала крепко жать Петровскому:

— Ну, вы счастливы, Никодим?!

Афонька остался стоять с протянутой рукой и насупился, Петровский оторвал свои руки от Фенички и кренок пожал Афоньке, сказав в полголоса:

— Ну, дело прошлое!.. Теперь мы, кажется, вместе?!

Калябин обрадовался, изуродованное лицо улыбнулось широко и он начал рассказывать инженеру, как он довез Феничку, как освободил для нее полку и поил чаем, — но все это он говорил Петровскому.

— С Калябиным, дядя Кирюша, теперь хоть на край света!

— Наша вы, Фекла Тимофеевна, — товарищеская!.. Земляки вас сразу своей признали...

Феничка убежала на старую половину к матери.

Петровский вглядывался в Афоньку, инженер хмурился и ходил по комнате.

Начал Афонька — медленно, нащупывая словами Петровского:

— Я, Никодим Александрович, хотел еще в Питере повидаться с вами, когда еще в лазарете лежал, Феклу Тимофеевну просил к вам сходить.

— Она ничего не говорила мне.

— Спутали тогда меня по рукам, по ногам жандармы.

— Сказал уже, дело прошлое... теперь...

Афонька ждал этого слова — теперь, — рванулся к Петровскому:

— Вместе работать будем.

— Значит вы с нами?!

— А вы в партии?

— Некогда было записываться, я и без того — верней верного! А в партию — запишусь.

Девка внесла самовар, а за нею пришла хозяйничать Феничка.

Никодим взглянул на Гракину, что-то вспомнил, дотронулся пальцами до кольца Зины и быстро поднялся:

— Некогда мне, надо ехать. Я на минутку заехал, — меня ждут.

Афонька следом за ним:

— Товарищ Петровский, и я с вами.

Дракин вызвал Никодима в кабинет и захлопнул дверь.

Петровский спросил Дракина:

— Согласны, Кирилл Кириллович?!

— Нет, Никодим Александрович, я только спросить, вопрос вам задать.

— О Калябине?!

— Да, о Калябине... и вы допустите его в партию?!

— Да, такие нужны ей, — исполнят все, что понадобится! Он пролетарий.

— И разрушат...

— А вы — создавать к нам идите — простор широкий!

— Нет, Петровский, этого я не могу вместить!

Феничка не хотела отпускать Петровского и Калябина и в передней еще раз спросила:

— Скажите, Никодим, вы счастливы? Вы не ответили мне.

— Сами видите! А вы, Феня?!

— Я люблю жизнь и всегда счастлива.

— Нет, не то...

Афонька вставил:

— Насчет революции...

Феничка показала руками на Петровского и Калябина и, засмеявшись, ответила:

— С вами — не страшно мне, хоть на край света!

Афонька закончил радостно:

— Значит судьба, Фекла Тимофеевна, — так что ли, товарищ Петровский?!

— Судьба, Калябин!

Дракин, волнуясь, ходил по столовой и, горячась, уговаривал Феничку и сестру:

— Собирайтесь и уезжайте пока еще есть возможность, в Англию!

Антонина Кирилловна упрямо отказывалась:

— Стара я, Кирилл, по заграницам странствовать... Да и не могу я бросить имущества своего — копила для дочери, а теперь бросать.

— Через пять лет вернетесь. Получите чек на Лондон!

— Пускай Феничка уезжает с мальчиком, а мне в чужой земле помирать не хочется.

— Я тоже, дядя Кирюша, никуда не хочу уезжать, теперь так интересно жить.

— Сумасшедшая ты!

— Зачем же вы сумасшедшую хотите отправлять к здоровым, теперь только здесь и жить таким.

— Я серьезно тебе говорю, — уезжай, у тебя ребенок, у него будущее...

— Вместе, дядя Кирюша, поедемте, тогда и мама поедет с нами.

Кирилл Кириллович прошелся по комнате, взглянул в окно — в сумерках мелькнули черные остовы мастерских, вздрогнул и решительно ответил Феничке:

— У меня, ты знаешь, вот оно — без этого я мертвец!

— Ну, а я, дядя Кирюша, тоже не хочу умирать.

— Сумасшедшая!

— Сумасшедшим теперь хорошо жить!

III

Первые заложники, не платившие контрибуции, наполняли тюрьму.

В бывшем Акцизном Управлении в Чрезвычайной Комиссии красногвардейцы с перекинутыми через плечо лентами патронов, у пояса в кобуре наган, бомбы, — жители, проходя мимо, крестились, дрожа, — не допасть бы в чеку — возврата нет. На высоком крыльце у дверей острыми мордами к площади стальные псы пулеметов и часовой в кожаной куртке.

По вечерам окна обывателей занавешены, на болтах, на засовах двери, и за ужином — картофельные пироги со свеклою на конопляном масле, с морковным чаем, — шепотом, с трепетной радостью, — больше двух недель не продержатся.

На заставах по утрам реквизиции продовольствия. Базары пусты, старый помет, солома — воспоминания прошлого. Окольным путем, переулками — только к знакомым и по знакомству — заворачивали во двор телеги мужицкие, — из-под полы — крупа, мука, картошка.

Хозяйственно, в солдатской шинели, — поверх свита, — входил в комнаты, приглашали чай пить, сажали на почетное место, видались за руку, называли на вы и жужжали в уши о падении большевицкой власти.

Мужик пил чай, разговаривал, слушал и деловито оглядывал комнату:

— Комодик бы вот взял пожалуй, девка на выданьи, — за городского выдавать буду.

У хозяев, — за комиссара должно быть...

— А сколько муки дадите?!

— Что ж за него, — пудика три привезу, пожалуй.

— Да вы посмотрите — ореховый, почти новый.

— Больше не дам, тут я, поблизости, сговорился

с одними, может похуже — зато полтора пуда... Жалко — оставляйте себе.

Шептались в соседней комнате, взволнованные выходили к гостю:

— Вот что, Иван, привозите муку, только прибавьте мешок картошки.

Вечером в темноте, одиночками увозили мужики диваны, кресла, сундуки — все, что понравится. Раскрывались кожаные сундуки — вытряхивались шелковые бурнусы, платья, — за муку, за картошку. Денатурат — бутылка за пуд, а соль — на вес золота.

В городе на столбах, на заборах, идя в комиссариаты, читали чиновники, — у кого окажется запасов продовольствия против нормы... Закапывали в саду, на чердаках засыпали землей по углам — крупу, муку.

Беспогонные офицеры дворянской крови гонцами на юг к Корнилову, Алексееву и обратно вербовщиками — уговорами и деньгами сманивали.

Национализированный завод Дракина сонный, голодные трубы казались инженеру вопиющими о насущном хлебе. На Пеньевской слободе сумрачно. Трепальщики к каждому слову прислушивались.

— Хе-хе-хе! Товарищи! А вы спросите-ка инженера своего, господина Дракина-с... отчего он денежки за границей держит-с?!

— Брехня это, Иван Матвееч, — зря про него рассказывают.

— А вы, товарищи, спросите-ка, это верней-с будет.

Разъедали слова лосевские сомнением, — вызывали в комитет Дракина, заставляли Игната спрашивать. Кирилл Кириллович говорил, что денег нет у него — заплачена контрибуция, до национализации выплачивал всем. Из задних рядов бросали словами-камнями:

— А в Англии сколько спрятано?!

— Буржуй проклятый.

Спокойнее становилось каменное лицо, застывали глаза и голос чайную прорезал сталью:

— Правительство аннулировало царские долги, западные государства прервали с Россией сношения — денег я получить не могу оттуда, — можете брать меня.

Чапыгина взяли заложником, через неделю выпустили. В пустой, полуразрушенной квартире гулял ветер. Жил в одном кабинете. Расчитанный Аким перебрался к Лосеву.

У старых приятелей занимал деньги, тратил их бесшабашно с Манечкой, привозил к себе в кабинет. Арестовали ее в ночном кабаке тайном, — в красной юбке, в трико, танцевала на столе, подвыпивши, — Чапыгин с приятелями целовал туфельки. Кто-то шепнул об аресте, об налете чекистов, — застали только пьяного захудалого князя — начальника отделения казенной палаты — и Манечку, плачущую и растерянно смотрящую на вошедших.

Князь с трудом приподнялся, сказал с гордостью:

— Князь Сокольниковский.

На грузовике привезли в комиссию. В красной шелковой юбке, продрогшую привели в кабинет к Калябину.

На допросе понравилась.

— А раньше чем занимались?

— Машинисткою служила в губернском земстве, потом в комитете общественной безопасности.

— Без места теперь?! На легкий заработок.

Отогрелась, засверкали глаза, развязною стала:

— Найдите, товарищ, мне место — служить буду. Возьмите к себе работать.

Хотела пошутить, посмеяться, — Калябин оглядел внимательно, позвонил и приказал:

— Лосеву продержать до утра и выпустить. Зачислить ее машинисткою.

По вечерам начала кататься в автомобиле, принимала подарки, — перстни с камнями.

Отец хотел сперва из дому выгнать, узнав, где арестовали ее и с кем, и обрадовался, когда узнал, что приняли машинисткою в чрезвычайку:

— Начальник кто у тебя?..

— Товарищ Калябин, Афанасий Тимофеевич, — страшный такой, рыжий.

— Знакомая вот фамилия, а никак не могу припомнить, Манечка, — уж не тот ли Калябин, что у Галкина был?! Неужто он?.. Знакомый человек, знакомый... А ты его к нам приведи, чем по вертепам гулять, — это я по доброте своей прощаю тебе, не маленькая, сама себе избираешь путь, — а ты его приведи, чайку вместе попьем, а я погляжу на него, может пригодится.

Афонька свирепствовал, — шепотом называли его фамилию. На обыски ездил сам — заставлял перерывать подвалы, кладовые — сверху до низу, следил, чтоб не грабили, и если находил оружие — арестованные не вертались.

— Сам расстреливает... дуло к виску и кончено.

По обязанности после взноса контрибуции был на Пеньях у Дракина. Антонина Кирилловна ахала, когда выворачивали сундуки, — следом ходил Афонька, увидел, как один что-то в карман прятал, — схватил за руку:

— Товарищ Калябин, я пустячок только... буржуйское...

— Положить обратно.

Правая рука легла на наган.

Феничка села в столовой и не двинулась, пока Афонька не подошел к ее комнате, — не подал виду, что знает ее, что душа мучается.

— Я должен обыскать эту комнату.

Феничка подбежала к двери, заслонила ее:

— У меня ничего нет.

— Это все равно!

— Там ребенок спит, я не пушу.

— Я сам!

Выслал красногвардейцев ожидать в переднюю, вернулся обратно, — инженер молча сидел на диване в углу, не двинувшись во все время обыска, и следил за Афонькою. Калябин подошел снова к Феничке, — спокойно смотрела на него, — громадною рукою взял выше локтя и медленно сдвинул Гракину — тихо вошел в комнату, — встретил взгляд ее — ненавидящий — не вошла за ним. Афонька вышел, и не знал что делать, думал что следом вбежит; огляделся, сел на край кушетки, начал прислушиваться и задумался, в голове мелькало, — ребенок у ней — Петровского... все равно должен — буржуи, инженер — буржуй... и внутри — Феничка, помеха всему... Досадовал на себя зачем не назначил еще кого-нибудь производить обыск, хотел сам оградить от случайностей.

Кирилл Кириллович молча смотрел на волновавшуюся у двери Феничку, — упрямо твердила себе — не пойду, ни за что не пойду, и боялась за мальчика, — услышала шепот дяди, — Андрей проснется, — не выдержала.

Афонька сидел угрюмый, разглядывал, сгорбившись, свои руки и вздрогнул, когда вошла Гракина, снова нахмурился и начал тихо, глухим голосом:

— Фекла Тимофеевна...

— Уходите отсюда!

— Сами знаете, что обязан! Нарочно сам... К вам бы я никого не пустил!

— Чекистов я презираю!

— Что ж, по-вашему опять буржуйам позволять на шею сесть?

Феничка стала около постели и с ненавистью смотрела на Калябина, знала, что у нее в комнате не посмеет и не решится что-нибудь тронуть, даже возвысить голос, показался смешным ей.

Калябин упрямо сидел, не двигаясь:

— Фекла Тимофеевна, ведь вы ж знаете... от судьбы-то... свела она нас... спасли вы меня от смерти...

Вспомнился кудластый рыжий монах, чувство страха, — теперь воспоминание не вызвало ничего, была уверенность в своей власти над большим, жестоким человеком, расстреливавшим людей слепо и безразлично, но с глубокою верою в правду мести, — вспомнились слова его в лазарете, — передуть бы червей этих, — и неуклюжее признание о звезде вифлеемской.

— Что вы от меня хотите, Калябин?!

— Сами вы знаете, — сами же говорили — теперь хоть на край света!

— Для этого много надо, Калябин.

— Скажите что, все сделаю!

Поднялся, медвежьими хромыми шагами подошел вплотную и впился глазами — требовал и не смел прикоснуться.

— Надо заслужить уважение.

Афонька покраснел, лицо стало багровым, темным:

— Разве бесчестный я?!

Отошла от него и безразличным голосом сказала Калябину:

— Если нужно, обыскивайте.

Афонька досадно махнул рукою:

— Не за этим я пришел в вашу комнату!

Хотел уйти, снова вернулся и взял за руку:

— Добьюсь своего! Попомните!

Протянул к ней вторую руку, Феничка вырвалась, подбежала к столу, блеснул револьвер:

— Силою возьмете меня только мертвою! А пока живая — я не боюсь.

Говорила и улыбалась, подходя к Афоньке:

— Обыскивайте или уходите, — я вам сказала все.

Афонька остыл, хотел обратить разговор в шутку:

— А вот оружие-то не полагается иметь, Фекла Тимофеевна, — отобрать придется его.

В тон ему отвечала:

— У мертвой можете все взять, а пока я жива — он защитит меня от кого угодно, — возьмите, попробуйте...

— Ну и женщина!

— Не нравится?!

— Вам бы с нами работать, — настоящим бы комиссаром были, товарищем.

— Я вам сказала, добиться надо.

Афонька ушел, не взглянув на Дракина, не стал входить в его кабинет с обыском. Кирилл Кириллович спросил Феничку, когда затарахтел у крыльца уезжающий автомобиль:

— Обыскивал?..

Поняла, что в вопросе другое было, подметил Афонькин взгляд на племянницу еще в день приезда ее домой.

— Силы воли не хватит.

— Рыцарь?!

— Пока мой револьвер со мной — будет рыцарем.

Афонька досадовал на себя, злился, и видел насмешливые взгляды красногвардейцев из отряда комиссии, свирепствовал на других обысках и не замечал, что делали товарищи. Заставил Лосеву просидеть лишний час, вызвал ее в кабинет переписывать списки заложников и когда от усталости у ней начали путаться пальцы — откинулась на спинку стула, закрыла глаза, заложила за голову руки, блеснув перстнями:

— Не могу больше, товарищ Калябин.

В общей части, где жили и дежурили караульные, вместе с ними выпил, не закусывая, коньяку, вышел во двор, приказал заглушить выстрелы мотором автомобиля и вернулся опять в кабинет — возбужденный, все время видел перед собой Феничку — улыбку ее, смех, жадно вспоминал фигуру ее и, увидев задремавшую на стуле Лосеву, с закинутыми руками, помутнел, точно пьяный. Бросил на письменный стол наган, кожаную шапку, — не сопротивлялась, ждала все время, когда председатель не выдержит, чтоб легче было копить и деньги, и вещи — подарки от самого. И еще стало противней Афоньке, захотелось, напиться и бушевать — от отчаяния.

С приятелями покатыл, посадив на колени Лосеву, к единственному не закрытому кафе; расстилал вместо скатерти листы сорокарублевых керенок, проливал на них какое-то вино, водку, потом бросил товарищей и уехал с Лосевой колесить по городу.

На второй же день службы своей у Калябина Лосева зашла к Чапыгину, своим ключом открыла дверь, через пустые комнаты прошла в кабинет — ящики были выдвиг-

нуты, бумаги разбросаны, гардероб зиял пустотой и на двери была кнопкой записка приколота: душенька, Муся, прости. Поняла, что после того вечера, когда плясала на столе в красной юбке, а он приговаривал, — Иродиада моя, прекрасная, — постыдно через клозет бежал от ареста. Первая любовь слезы вызвала: обещал увезти с собою ее, из омута вырвать, от отца спасти, избавить от большевиков — от голодной жизни и может быть даже потом, когда поправятся обстоятельства, жениться. Слезы прошли, — начала выстукивать на машинке, аресты, обыски, реквизиции и изъятия. Закружилась голова, — а по вечерам, тайно от всех, любуясь перстнями, после пирушек, вина и той же пляски, — приговаривали и в ладоши прихлопывали, — писала стихи, рвущиеся и пьяные, пока душа неожиданно не засосет тоскою и не станет медлительным горьковатый ритм жалости к своей жизни и пустоте ее. Утром со злостью бросала тетрадь под стол и уходила выстукивать буквы, дергающиеся и пляшущие.

Крутил в пустых, бесфонарных улицах снег, раздавались ленивые выстрелы, рывкал автомобильный рожок и проходил хмель.

— Товарищ Калябин!

— Что, Мария Ивановна?

— Меня Мусей зовут, — медведь противный.

— Пускай тебя буржуи так называют, они не могут без этого, а я попросту.

— Поедем ко мне, чаю попьем, согреемся.

Афоньке понравилось, захотелось по настоящему отдохнуть, — вспомнил комнату Фенички, стиснул зубы, скрипнул ими, мотнул головой.

— Ладно, поеду! Только я пить буду.

Перепуганный Лосев, заспанный, в старом халате отворил дверь.

— Это я, — с товарищем Калябиным чай пить приехала.

Помнила просьбу отца и чтоб не видеть его взглядов и вечного не слышать нытья, что девушка должна быть чистою, непорочною, а что таких родители на порог не должны пускать и если бы не его доброта, да вот не время такое, когда все люди как звери стали — на улицу бы выгнал, сам бы отвел в полицию за желтым билетом, а теперь он прощает ее, может быть и господь простит, — стариков — отца с матерью кормит своим трудом, и сам знает, что не легко ей... говорил без конца и заканчивал:

— Не сердись, Манечка, на старика родителя, — ворчун

старый, ворчун, девочка, а ворчун потому, чтоб совесть в тебе не заснула, ради спасения души твоей девичьей, ты ведь не знаешь ее, не видишь, а я и вижу, и чувствую, — тебя как ребенка колечки, брошечки радуют, а ты береги, береги их, девочка, еще не знаешь цены им, может быть их начальники твои, — товарищи, — пальцы выламывали и с кожей срывали их — колечки-то эти святые, невинные, как и ты, девочка, радуется тебе игра камушков и не задумываешься ты о них...

Дочь вскакивала, — отодвигала недоеденный обед и выкрикивала:

— За что вы мучаете меня, — всю жизнь мучили, погубили меня — заставляли подслушивать, подглядывать, доносить на подруг гимназических — кто что говорит, о чем думает, что завтракает, какие книжки читает. Приказывали Чапыгина не отталкивать, а теперь радуетесь моей невинности, — да, таких, на самом деле, отцы из дому на улицу выгоняют, а я вот нарочно от вас не уйду, на зло вам.

Мать уходила из-за стола, жалея по-особому и мужа, и дочь, и себя, и подолгу плакала, пока скрипучий голос Лосева не требовал подавать чай.

Ночью Лосев не ждал в гости Калябина.

Ерзая ночными туфлями по полу, зажигал лампу, приговаривая:

— Афанасий Тимофеевич, кажется-с... Афанасий Тимофеевич!.. Вот что значит судьба-с... как говорится-с... судьба играет человеком... Хе-хе-хе! Никогда не забуду-с селянки вашей, угощения... Не вышло дельце-с тогда... Ну, что делать!.. А я всегда говорил, — помните-с... звезду вашу предвидел-с... большим человеком будете-с... от судьбы, Афанасий Тимофеевич, никуда не уйдешь... Предвидение-с у меня было в судьбе вашей...

Афонька не сразу понял куда попал, брезгливо взглянул на отворявшего старика и узнал его только тогда, когда он начал говорить, зажигая лампу.

И сразу его резнуло прошлое и Галкинский дом, хлопоты о поджоге, Лосев, Дунька и Марья Карповна. Вспомнил, как отдавал вексель Феничке — и снова она, его звезда вифлеемская — манит, зовет, исчезает, снова является.

Облокотился о стол и молча глядел на Лосева.

— Что же ты, Манечка, не позаботишься, милая, чайком-то угостить, горяченьким, скажи маменьке — похлопочите

там, а мы с товарищем, — теперь Афанасий Тимофеевич, все товарищи, — а мы тут, девочка, пока про старину вспомним, вместе, можно сказать, одной ложкою жизнь хлебали... Пойди-ка, сооруди самоварчик, Манечка...

— Так это значит дочь ваша?!

— Манечка-то... как же-с... Афанасий Тимофеевич, можно сказать единственное чадо теперь, опора старости — без нее погибли б. А мне-то радость какая, у знакомого человека служит, я спрашиваю, расскажи ты, опиши какой такой, а она, — страшный такой, — я говорю ей может суровый-с только, — сколько раз говорил, — пригласи к нам... должно быть она боится вас — суровый человек, что говорить — суровый, ну и раньше не баловали-с половых, — помните-с!..

Афонька отхлебывал шумно крепкий горячий чай и постепенно трезвел. Взглядывал на отца, на дочь, показалась даже красивой — глаза навывкате и черноволосая, напоминавшая чем-то Дуньку.

— Ну, а вы?.. Что делали?

— Работал-с, работал, Афанасий Тимофеевич, на пользу отечеству. Только вот чуть вы меня с бумажками не подвели, чуть было...

— Ничего не помню, с какими бумажками?!

— Расписочки были там-с, расписочки-с... а попали они инженеру Дракину.

Афонька услышал знакомую фамилию и заинтересовался, спросил Лосева:

— Инженер-то при чем?

— А дельце-то помните, инженера-с касалось...

— О дельце-то этом бросьте вы, лучше про инженера расскажите!

— И вы заинтересованы-с инженером... Примечательная личность, примечательная-с... Можно сказать, первейший буржуй в губернии... Ведь так, Афанасий Тимофеевич? И на свободе-с гуляет... Ведь я, Афанасий Тимофеевич, сами знаете — пролетарий, истинный полетарий-с, разве не помните как в трактире у Галкиной, — а ты слушай, Манечка, — прибежишь бывало погреться, за гривенник прошение настрочить мужику нашему и вот как обрадуешься, что гривенник-то этот заработал на хлеб, — если вы бывало не откажете накормить остатками... Истинный пролетарий-с был и теперь такой же... А вот господа инженеры на автомобилях раскатывают собственных, катаются по заграницам, заводы возводят громадные —

чайную видите ли построили, открыли кооперацию, баньку поставили, — чтоб трудовые денежки, значит, не проходили между рук у рабочего, а все в тот же карман падали... И все ничего, инженеры гуляют-с, до сих пор разгуливают, что для них внести контрибуцию-с, — и не такую могли бы-с внести, денежки-то, хоть и революция, и пролетариат, а денежки у инженера целехоньки-с.

— Как целехоньки?

Лосев пригнулся к Афоньке и прошептал:

— За гра-ни-цею-с, Афанасий Тимофеевич, — за границею-с... и целехоньки.

— Как за границею? Где?!

— В Англии-с... у союзничков-с... чтоб покойнее значит было-с...

Слово за словом, намеками и в открытую говорил Лосев, помня, как инженер пригрозил ему через доктора и заставил молчать, — обрадовался необычайному случаю отомстить и чтоб не было ясно — запутать, паутинкою оплести, повернул в сторону, намекая все время на Дракина:

— Я ведь, Афанасий Тимофеевич, пролетарий, истинный-с... вся подноготная у меня на ладошке, буржуев-то, каждого знаю, наклонялся, наголодался и образование, можно сказать, имел приличное и человеком хотел сделаться, — а господа инженеры затерли-с... Вот еще хоть бы, к слову сказать, Чапыгин, Маничка служила у него машинисткою, — либеральный человек, а у либеральнейшего мужики-то и сожгли имение, задаром не станут-с жечь...

— Это правильно, не станут задаром.

— Я только к примеру собственно, а вы поглядите, — взглянув на дочь, — где теперь господин Чапыгин-с... исчез... бесследно-с... Может быть окажется за границею-с, а вот несчастного человека, можно сказать, арестовываετε...

— Кого? Какого несчастного?..

— Сокольнинского князя... Оно, конечно, фамилия-с громкая-с... княжеская-с... а за душой-то у него — гол, как сокол, как воробушек, видное место занимал, а что из этого-с... вы спросите-ка сколько он добра сделал... А первейшие буржуи на свободе гуляют...

— Ну, поздно теперь про князя.

— Вот именно-с поздно... Ах, Афанасий Тимофеевич, что значит судьба-то... Встретились. А вы где были, хоть бы порадовали старика, порадовали бы...

— Рабочим был в Питере, а потом в окопах!

Наливал чай, кутался в халат и когда где-то глухо стенные часы пробили три, — спохватился, взглянул на дочь, на припухшие в кругах глаза черные, вспомнил, что надо теперь успокоить Калябина, не сразу начинать действовать, пока про самого главного рассказал, — про Дракина, из-за которого выслушивал крик управляющего канцелярией губернатора, закрывшего по настоянию инженера газету истинно-русскую. Взглянул на дочь и, ерзая на стуле, мигая глазками, старался намеками показать, что он ничего не знает и знать не хочет.

— Ты бы, Манечка, спела бы; там у нас в зальчике, Афанасий Тимофеевич, старенькое фортепьяно... забавляться девочке, показала бы свою комнатку, а мне, старику, пора уж, — намаялся, намаялся, — молодому-то человеку сильному ночь не в ночь, а старикам на боковую-с пора...

Афонька подал громадную руку, Лосев сморщился, замигал глазками, точно боясь, что узловатые пальцы раздавят не только руку его, но и всего, насухо выжав старый халат штопаный.

— Не забывайте, Афанасий Тимофеевич, заходите почаще...

— Некогда мне.

— Знаю-с, Афанасий Тимофеевич, знаю-с, такое времячко, а то бы и старика позабавили разговорами, и Манечка бы не скучала.

Зашлепали туфли, скрипнула дверь, — девушка передернула плечами, потянулась и посмотрела все еще мутными большими глазами:

— Я, товарищ, петь не хочу!.. Хотите комнату мою поглядеть?

— Ладно, показывай, Маня, комнату.

Афонька нахмурился, все время стояла перед ним Феничка и рядом, как истукан; бритый инженер, презрительно смотревший на него. У него сейчас же мелькнула мысль, что если бы не было инженера Дракина, может быть тогда бы легче было сломить и Феничку, покорить ее, не валяться на диване в своем кабинете, не раздеваясь по ночам, а реквизировать бы у нее комнату и жить рядом, каждый день видеть и долбить, пока не сдастся она. Пока инженер в доме, да еще близко знаком Петровскому — ничего не выйдет. Собственно он не слушал Лосева, а все время думал и помнил слова Фенички, что ее надо

добиться, покорить и не силою, а так, чтобы сломить волю, — как, он не знал еще, но когда она будет рядом — это само придет. Он еще в лазарете знал, что с Петровским она вроде товарища, и не он помеха всему, а Дракин.

Лосева повела его в свою комнату — пахло дешевым одеколоном, острым и раздражающим, сладковатой пудрой, на стене висели открытки, постель не прибрана. Заставила отвернуться.

— Чего там отворачиваться, — знаю ведь!

Переделась при нем в капот и ждала полусонная, полупьяная; Афоньке почему-то представилась Женька — противно стало, обнаженные руки казались Феничкиными — видел и помнил в лазарете, когда перевязывала ему рану.

— Товарищ, мне скучно...

— Спать ложись, — я подумаю!

Легла, смотрела на него сонная, не заметила как заснула. Афонька сидел и думал. Проскрипели чьи-то шаги за окном; мелькнуло, — ишь ты, не бьется, — может быть, свой. Задремал сидя. В первый раз с первого дня войны прорвало его с досады — не выдержал и закружился с Лосевой, и только сегодня остро встало желание своего добиться, покорить Феничку. Вздрогнул от холода, проснулся, — сквозь ставни пробивался свет. Разбудил Лосеву и ушел — зашагал по сугробам через весь город. Ковыряя пером, написал ордер об аресте инженера Дракина и других заложников — выбрал наугад по списку еще не взятых и повалился на диван.

В сумерках зафыркал у Дракинского дома автомобиль, — позволили захватить с собою трубку и резиновый кисет с махоркою. Феничка, возмущенная, не хотела отпускать дядю, звонила Петровскому в Губисполком — не было. Одеда — похожею быть на товарища — кожаную куртку и кепку, подарок дядюшки, сунула в карман «смит» и через весь город, в полутьме на Дворянскую — улицу 25 октября — в особняк присяжного поверенного Коренева.

Комната Никодима крайняя — бывший кабинет на два окна, на письменном столе у стены книги, бумаги, беспорядок, но все на месте, под рукою в любой момент; недопитый стакан, в хлопчатой бумаге начатая осьмушка хлеба — паек гражданина, на чайном блюде слипшиеся леденцы и рокс — вместо сахара, — некому и некогда получать по карточке и тощие четверть фунта сала деревенского с загнутой коркой.

Звонок где-то далеко за вторыми дверями звякнул — выбежал отворить секретарь исполкома, еврей Карасик, — лицо бледное и чахоточное, резкий крикливый голос и большие глаза.

Кожаная куртка смутила, подумал приезжая.

— Вам, товарищ, кого?

— Петровского, Никодима Александровича.

— Входите, направо первая дверь. Петровский, к тебе!

В пятом году в этом доме у Коренева собирались гимназисты и гимназистки, — забастовочный комитет, — сыновья-восьмиклассники главарями были, печатали на гектографах прокламации, объединенный декадентский журнал, составляли постановления, — отец принимал во всем горячее участие и руководил молодежью. Потом здесь же прятались от погромщиков, даже была дружина, с улицы хулиганы и мясники бросали камнями, а теперь — в передней вешалка полусломанная — шинели солдатские расшатала крюки, наваливаясь одна на другую; полы не мыты с самого бегства Коренева, не было белонаколочной горничной обчищать барчукам калоши — вваливались в сапогах с налипшими комьями грязи с заводов, из рот, с улицы, — незнакомые, безымянные люди; не пели у рояля дружным хором под аккомпанимент госпожи Кореневой, не окончившей петербургскую консерваторию — помешала любовь к Алеше, а грузными телами садились на стильную мебель Людовика — точеные ножки хрустели, подламываясь, обиженно, — мягкое стуло летело в угол — на слом, на растопку, — находилось расштанное, продырявленное венское, кухонная табуретка, из сарая ящик, — курили махорку, сплевывая на пол, и в картузах, шапках выносили постановления партийного комитета и пели «Интернационал», стекла дрожали, — всем нутром люди горели:

— Вставай, проклятьем заклеянный!

Комнаты опустошенные, черный рояль открытый — на клавишах пыль и следы пальцев, слова в пустоте гулкие — выносили дребедень (этажерки, столики, экраны, ширмочки) в сарай, просторнее, больше войдет товарищей на собрание.

Стукнула в дверь направо.

— Можно.

Обернулся от стола, не узнал сразу.

- Никодим, арестован дядя Кирюша, заложником взят.
- Контрибуция внесена?!
- Полностью.
- Сейчас позвоню.

Хриплый голос ответил, — по распоряжению председателя, на основании, — первый буржуй...

— Формально правы, но в наше время, когда жизнь — копейка, — надо спасти. Подожди — я Калябина вызову или вот что, — Карасик — на минутку.

Рассказал товарищу про Дракина и послал заявить, что дело инженера будет рассматриваться в заседании Губисполкома и в комитете партии.

— Скажи там, чтоб самочинно не трогали!

Феничка осталась ожидать Карасика.

— Я за него поручусь.

— Никодим, но ведь это же насилие, разве не знают, что он помогал...

— Этого мало, — нужно действовать. Даже от смерти не может спасти прошлое, если оно умерло и не стало настоящим.

— Но ведь таких, как дядя Кирюша, Россия может считать десятками!

— Только поэтому я и решился поручиться за него.

Каждый день прибегала узнавать, — Никодим молчал, ручался, что жив.

— Почему же его не выпустят?!

— Это зависит от него — захочет, завтра же на свободе будет.

— Вы хотите его заставить идти с вами?!

— Не заставить, а убедить!

Петровский каждый день ездил в камеру к инженеру Дракину. Кирилл Кириллович первые дни не подавал руки и молчал на все вопросы, дымя трубкою, на пятый день не выдержал, — презрительно спросил Петровского:

— Это что же, один из методов вашей власти?

— Вы знаете постановление комитета. Ваша жизнь в безопасности.

К Феничке с ордером жилищного отдела, — освободить одну комнату. Встретила мать, всплеснула руками...

— Кирилла нет, теперь все, что хотят, сделают!

Утром Феничка ушла сама справиться в Чрезвычайной Комиссии, — красногвардейцы с уважением пропустили

кожаную куртку, секретарь хотел заставить ожидать помощника:

— К председателю никак невозможно, ему не до этого, чтоб справки давать.

Решилась на хитрость, спокойно села на скамью у стены и ждала — хлопали двери, гремели прикладами — привели целую группу арестованных без документов, возвращавшихся в неположенный час из театра; барышни, ночевавшие вместе со своими кавалерами на соломе в холодном сарае каменном, волновались — на службе без уважительных причин не были, кавалеры подсмеивались. Записали адреса для справок и отпустили. Настала тишина. Секретарь курил, переписывал, рылся в бумагах, вызывал конвой. Наскучило сидеть, начала ходить, секретарь не обратила внимания, — с каждым шагом ближе к кабинету Калябина, зигзагом сбоку и мимо секретаря и сразу — рванула дверь кабинета, вбежала в него — секретарь вскочил, схватился за кобуру и вбежал следом.

Афонька сидел на диване, протирает глаза и недоумевающе смотрел на секретаря и Феничку, потом сразу узнал ее и крикнул на секретаря.

— Тебе что?

— Насильно ворвалась, — говорил, чтоб помощника дожидалась.

— Дурак, вот что!

Секретарь вспыхнул, махнул рукою, — не хотелось из-за бабы скандал подымать.

Калябин, будто не зная ничего, спросил Дракину:

— Фекла Тимофеевна, — вот не ждал-то!

— Где дядя Кирюша?

— Инженер Дракин? — вчера отправлен в Москву.

— Почему же он все время молчал?! Свинство! Что за комедия?!

— Что комедия, это правда...

Афонька поежился и, приоткрыв дверь, крикнул:

— Селезнев!

Вошел секретарь.

— Почему не топлено, — сколько вам чертям говорить — замерзать что ли?

— Так вы ж, товарищ, все равно тут не будете жить, так чего же зря-то жечь — ребятам и то не хватает дров.

— Скажи, чтоб сейчас же тут затопили!

Феничка стояла против Афоньки и не могла понять,

зачем отправили дядю Кирюшу в Москву. Хотела уйти. Афонька подошел к двери и замкнул, ключ положил в карман.

Феничка сжала губы и посмотрела ему в упор:

— Что это значит?

— Петровскому нужен инженер Дракин, Фекла Тимофеевна, а вы — мне! Захочу вот и арестую теперь.

Зорко следил за Гракиной, уловил движение руки, насторожился, не успела вынуть из кармана револьвер — схватил за руку.

— Живою не хотите даваться?! Да я пальцем не трону вас, а игрушки-то этой я не боюсь, у нас своих девать некуда.

От неожиданности растерялась, выронила блестящий «смит» — сдвинул железной лапою кисть руки, наступил на него сапогом и отпустил руку, спокойно нагнулся, поднял, положил в карман, — смотрел на нее и любовался ненавидящим взглядом — горячим, искренним и вспомнился монастырь, мельница, бревна — солнечный день и Феничка, только теперь она была сильной, решительной, в кожаной куртке — товарищем.

— Нужно будет — отдам! А пока подождите, я скоро!

Улыбаясь, начал собирать свои вещи, — солдатскую котомку, чей-то кожаный чемодан, — перевязал веревкою и, открыв дверь, снова крикнул.

— Селезнев, скажи, чтоб машину завели, — еду. А теперь, Фекла Тимофеевна, выходите.

— Отдайте револьвер.

— Не тут же вам отдавать его, в автомобиле отдам, — подвезу до дому.

Растерянность прошла, любопытство осталось. Сел в автомобиль; рядом, заломив кожаную кепку, Афонька.

— На Пеньи!

Достал из кармана револьвер и подал Гракиной:

— Нате вашу игрушку, забавляйтесь!

Через город ехал веселый, радостный — снимал кепку, видаясь с товарищами, рыжие вихры взматывал ветер. Феничке досадно и смешно было, не верила себе, что заставил ее в автомобиль сесть и вместе ехать.

Беспогонные офицеры, обыватели боязливо оглядывались на автомобиль, говоря:

— Комиссарша какая-то новая!

— Красивая баба.

— Сволочи! С чекистом раскатывает.

На Пеньях автомобиль несся, рывкал, подымая снежную пыль. Шофер подкатил к дому Дракиных, затормозил, обернулся, спросил:

— Когда подавать, товарищ Калябин?

— Утром завтра.

Феничка удивленно смотрела на Афоньку, вносившего свои вещи по лестнице, — спросила Калябина зло:

— А вы куда?

— На квартиру к вам, — реквизировал себе комнату.

Феничка остановилась: от неожиданности широко раскрыла глаза и не нашлась, что ответить — не ждала от Калябина хитрости. Афонька весело и добродушно ухмыльнулся и кончил:

— Хочу уважения от вас заслужить, — своего добиться.

IV

В семинарии — штаб красной гвардии, — с утра кипятили чайники, гремели винтовками, — в коридорах длинной очередью по обе стороны пулеметы в чехлах с серовато-зелеными мордами — тупыми и безразличными, ящики с бомбами, вороха винтовок, ленты, обоймы. У ворот часовые, у дверей, по главной лестнице. Коренастый, плотный, жилистый комендант штаба — солдат Титов, фронтовик старой службы, битый в широкие скулы взводными, фельдфебелями, ротными, — в нижней челюсти справа два зуба выплюнул. Письменный стол, — из квартиры ректора, — старый, дубовый, добротный — трем поколениям не сносить.

— Товарищи, с девяти пропускать, да чтоб кучами во дворе не стояли.

В широкую пасть семинарского сада-двора прапорщики, капитаны, полковники — послушным стадом на регистрацию коменданта Титова.

— Без записки не выпускать!

Писарь воинского присутствия, секретарь Титова, — на бесконечных листах длиннейший список бывших студентов, присяжных поверенных, банковских служащих, кадровых — всех классов, чинов и званий. На лицах благородное негодование и собачья покорность. Со всего города, до двух тысяч. Длинная вереница — очередь.

С подстриженными усами, высокий, в ватной шинели по чевкою баскою, полковник генерального штаба, с женой — брюнетка в папаче, в бешмете коричневом с башлы-

ком, пояс с насечками в перетянутой талии и кинжал, высокие сапожки на полуфранцузских каблуках и у сердца на груди выпуклой — георгиевская ленточка, — украшение и преклонение штаба армии, гордость заведующего оперативной частью — собственного начальника и супруга.

Весело гарцевала верхом на собственном иноходе — породистая, родовитая; отдавала по-мужски честь, по вечерам ноготки чистила, любуясь супругом, и тянула ликер — душистый, масляный. В осенние вечера, в боевое затишье, писала стихи — возвышенные, патриотические, муж вместе с военными статьями в столичную либеральную газету посылал лирику — к заслугам мужа внимание, стишки печатали в толстых сборниках патриотических рядом с именами — крупнейшими, — на шпильки, на махорку «солдатикам».

— Здравю желаю, господин полковник!

Бешмету почтительный поцелуй в ручку.

— И вы тоже пришли, Владимир Николаевич?

— Так точно, господин полковник, — комедия...

У стола полковник за руку с Титовым.

— А, товарищ полковник?! Регистрируетесь?

Полковник с улыбочкой, запросто, по-приятельски:

— Необходимо, товарищ.

— И с супругою?

— Она к дисциплине привыкла, — военная.

Пропускной листок выдал и вслед полковнику:

— Товарищ, не забудьте — сегодня заседание совета!

Кивнув головой, жену под руку и по коридору вместе с поручиком Белопольским.

— И вы ему, господин полковник, подаете руку?.. Ведь это бандит, если бы знали, что он сделал у нас в имении?!

— Необходимо, Владимир Николаевич, — вы еще молоды.

Вечером полковник в совет депутатов, в группе левых эсеров, — быть в курсе, — регулировать и направлять, до этого — пока не закрыли — с плехановцами под псевдонимом редактировал «Волю народа» — статьи приносила жена, потом начала стихи таскать, — редактор — добрейшей души поверенный, старый идеалист, ссыльный, попросту «дядя Коля», восхищался полковником, заседавшим в совете солдатских депутатов и гордился столичным сотрудником, — молодые, безусые, вместе с вихрастым поэтом ушли в «Известия».

Ольга Петровна, с разрешения мужа:

— Владимир Николаевич, заходите вечером к нам.

В гостиной со шкурами затравленных зверей, с безделушками, Петр Петрович в новом френче — шелковистый отлив сомо — серьезно сдвинув брови, поглядывал на жену в бешмете, на ее перстни, уверенно, веско — штаб приучил к этому.

— Мы должны быть в центре, Владимир Николаевич, и мое присутствие в совете собачьих депутатов — наш лишний козырь. Организация должна быть конспиративная — будем учиться революционным опытом, не больше тройки.

Исполнительный взгляд, готовый исполнить малейшее приказание.

— Ядро, — взгляд на жену, — нас трое, каждый свяжется с следующим. Начало заложено там, на юге, туда должны стремиться и наши помыслы. Средства в Москве. Необходима связь, — интеллигенцию на поводу — в защитный цвет февраля. Отправлять небольшими группами. На местах быть готовыми. Свяжитесь с местными силами.

Регистрация, сдача оружия, ночные облавы, обыски и глухие стены тюрьмы.

В уездах восстания, избиение реквизиционных отрядов — в отрядах голодная молодежь, гимназисты, рабочие, солдаты бездомные.

По весенней ростепели — мобилизация в красную армию. Писцы управления, врачи всех специальностей из опустевших госпиталей, комиссия. Во дворе пункта с девяти утра и до вечера — всех чинов беспогонные офицеры. Деревянный стол, бумага, чернильницы.

Регистрация, — полк, эскадрон, бригада, дивизия, — последняя командная должность и чин.

Знакомые врачи боязливо — освобождение: полное, на шесть месяцев, на испытание, — каждый болен, контужен, ранен, — здоровые только чудом.

Во дворе — в сутолке, испуганные и пугающие.

— Разве вы не видите — мечутся, всем на юг, и двух месяцев не продержатся.

— Кто будет служить в красной армии — лишен будет звания, чинов, орденов.

Белопольский от группы к группе, вставляя незначительные слова, замечания, нащупывая:

— Издевательство, никто не должен идти, вы послушайте, что в Москве творится!

На буфере от Москвы через Тулу прапорщик, в ночь приехал — на утро на сборный пункт на комиссию.

— Еле бежали, господа, там прямо облаву устроили и в манеж заперли!

— Вот видите... власть народа!

Бездомные, семья в одной комнате, голодный паек и все — чающие движения воды, неожиданного чуда, — ради хлеба, чтоб с голоду не подохнуть, — от мала до велика в комиссариатах, в комиссиях, кооперативах за ворохами бумаг, — у каждого на уме, — ненужных, — все равно больше двух месяцев не продержатся, лишь бы дождаться... У бездомных одна мысль — сидеть себе тихо и ждать и на мобилизацию можно ходить и служить в красной армии, лишь бы поближе к своему углу, к постели жениной — куда там на юг, чего еще нужно — и так же удержатся.

Озлобленные, — из дворянских гнезд, из каменных домов собственных на главных улицах, из собственных магазинов, заводов, складов, — с надеждою на Белопольского и, кочуя из дома в дом по всем улицам, на чердаках, в чуланах — по распоряжению от бесконечных троек от главной — переодетые, с опущенными бородами, сбритые вплоть до усов и бровей, в затрепанных шинелях солдатских с документами рядового, — собственные, с послужным уцелевшим списком, защиты в потайном месте, — на юг, рыцарями страдания.

Из либеральных семей барских, идейные, — демократия, культура, прогресс, эволюция, — во имя свободы бороться с хамами, с террором, с чека, во имя единой и неделимой, с гражданскою горечью на сборном пункте перед комиссией, — знакомый врач выручил.

— Что у вас?

— Полгода на поправку.

— Номер?

— Девятьсот восемьдесят пять.

— Следующий.

В комиссию и на комиссию Петровский в автомобиле с шофером золотокудрым в кожаной куртке с большими голубыми глазами. Ловкие руки повернули руль, рывкнул рожок и машина вкатила в ворота. Мобилизуемые расступились и пробежал шепоток:

— Прапорщиком был в запасном полку, — таких надо вешать.

Бывший ротный штабс-капитан, отворачиваясь, про Гракину:

— С любовницей всюду ездит, — племянница инженера Дракина.

— Дядюшку заложником увезли, а племянница раскатывает с комиссарами.

— Она и его предала наверное! Красивая баба, — сволочь!

Доктора и комиссия с Никодимом дружески.

— Вы, товарищ, в комиссии?

— На комиссию, — я бывший прапорщик. Можете не осматривать, господа, — здоров, и болеть некогда!

Калябин вселился в кабинет Дракина, разрешил выставить хоть все вещи. Феничка на зло поставила ему кухонный стол, табурет, простую деревянную кровать с соломенным тюфяком. Афонька на все смотрел улыбаясь.

— Точно келию мне убираете.

— Вам не привыкать к этому, — в монастыре были.

Антонина Кирилловна говорила ей:

— Смотри, Феня, кабы не было хуже.

— Ты, мама, молчи, — ничего ты не знаешь!

— Я ничего, стара я стала указывать — не мое дело, вы тут хозяева.

Афонька к Антонине Кирилловне относился с почтением, помнил еще в монастыре — спокойную, строгую, иногда болтливую, но никогда не позволявшую монахам вольности. Хотелось, чтоб по-человечески к нему относилась и старался угодить даже, — трудные времена — без чаю, без сахару, на голодном пайке обывательском, — привозил реквизированное — сахар, сало, муку пшеничную. Феничка иногда спрашивала:

— Откуда у вас, мама, берется?

Мать по-старушечьи улыбалась хитро:

— Афанасий Тимофеевич иногда привозит.

— У кого-нибудь, может быть, последнее отобрали, а вы пользуетесь.

— Что же, по-твоему, голодать?.. Ты не работаешь, Кирилла в Москву увезли.

Бросала обед, ходила по комнате, с отвращением слушала тяжелые шаги по лестнице, — возвращался Калябин, и уходила в свою комнату. Мальчик опять жил на

старой половине у матери, — тяжело было смотреть на него и слушать, когда спрашивал:

— А где папа мой?

Доставала с груди медальон и показывала карточку.

— Он умер, — правда, ведь?! Пойдем к нему на могилку. Я с нянею был на кладбище, там, как в лесу — цветов много. Няня тоже мне говорила, что папа умер, только она не знала, где он зарыт, не нашла могилки.

— Умер, Андрюша, — папа давно умер...

Засыпая, думала о Борисе, — где он теперь, в эти суровые дни, может быть и на свете нет. Потом, слыша, как за стеною Афонька возится, вспомнила монастырь, первые годы курсов, и всюду, неотступно, преследуя настойчиво и упорно, не забывая ни на одну минуту — рыжий, большой, изуродованный, с которым действительно, и на край света не страшно, но путь этот окровавленный и кровавый — по трупам.

Иногда разговаривала с Калябиным, — всегда вспоминал госпиталь.

— Ведь я там, Фекла Тимофесьна, человеком стал, а все через вас — можно сказать, из ямы выволокли.

Смотрела на его руки и, сжимаясь, думала, сколько они погубили людей, — становилось жутко, затихала и слушала.

— Разве не судьба, я вот сам теперь эту звезду нашу, — улыбнулся, переставляя хромую ногу, — вифлеемскую, на все страны одну и в сердце она у меня живая, — вы, Фекла Тимофеевна, — сияете и ведете меня...

В такие дни, когда Феничка разговаривала с Калябиным и, загипнотизированная ужасом, слушала вечно одно и то же — Афонька становился веселый, мягче, раньше возвращался домой и в бывшем акцизном правлении становилось тише — тюрьма вздыхала и с ужасом ждала дня, когда снова Калябин начнет буйствовать.

Афоньке один раз показалось, что Феничка ему улыбнулась ласково, протянул руки к ней — Гракина откачнулась, сердце заколотилось вдруг горячей ненавистью, быстро встала, — схватил ее за руку, потянул к себе, тяжело дыша и от напряжения задрожал всем телом, железная лапа тянула молча к себе и медленно поднималась другая обхватить — круг замкнуть, из которого никогда не вырваться — до конвульсий тугой, стискивающий, до спазм жадный, — быстро, не успела подняться медвежья лапа, сунула свободную руку в карман, выхватила револьвер.

Шептал хрипло, задыхаясь от ее близости, глаза налились, впившись в ее взгляд и чем больше в нем ненависти, тем сильнее хотелось взять ее.

— Ну, ну, Феничка!..

Перед глазами мелькнула сталь и Феничка с ненавистью прошептала:

— Застрелюсь, а не дамся!

И шепот, и взгляд еще сильнее всколыхнули в Афоньке кровь и невидящим взглядом следил за нею, всем напряжением прислушивался к ее движению и смотрел восторженно и по-звериному жадно в ее лицо. Медленно отвел ее руку назад, за спину, и быстро, в одно мгновение обхватил талию, казалось, что всю сдавил костлявыми пальцами и сейчас вот — раздавит ее, разорвет, раздушит, и в ту же минуту уловил движение Фенички — взмахнул свободной рукой, — рука ее беспомощно взлетела вверх, раздался выстрел и отлетел револьвер. И в эту минуту, когда почувствовала себя беззащитной, еще сильнее проснулась ненависть и пробудилась небывалая сила — сталью налились мускулы. Медвежьи руки замкнули круг, кровавые пятна перед глазами поплыли, щекотали волосы — поцеловал, хотел перехватить и поднять на руки, медвежья рука легла вокруг шеи — втиснула в нее зубы и медленно вдавливала их, чувствуя на губах кровь — не выдержал, тяжело охнул и отпустил. И все это в одну минуту — глухую, беззвучную, долгую и напряженную по-звериному, ненавистью встретившихся и нерасходившихся взглядов, следивших за каждым мускулом на лице.

Афонька прохрипел только:

— Проклятая!

Феничка перевела взгляд на револьвер, Калябин высасывая руку, грузно пошел в кабинет.

Вбежала мать:

— Феничка, что тут такое, что случилось?!

— Ничего, заряжала револьвер, а он выстрелил.

— И зачем он тебе, брось его лучше, послушай мать.

— Не мешайте мне, я сама знаю, что делаю.

Антонина Кирилловна ушла и следом, как сорвавшийся зверь, пробежал из кабинета Афонька, гремя дверьми, — хромящая тяжесть спускалась по порожкам и сразу, после напряжения у Фенички наступила реакция, с трудом подняла револьвер, посмотрела на него, спустила в карман и подошла к окну — видела темную хромящую фигуру, громадную и сутулую; от слабости ныли руки, медленное

и тяжелое разливалось в ногах, холодное стекло освежило лоб; где-то внутри в первый раз шевельнулось чувство, что если бы она уступила ему, может быть меньше пролилось крови и даже почувствовала, — чем-то и она виновата в его жестокости, — облилась холодным потом, но потом вспомнила происшедшее, передернулась и отошла от окна, — появилась опять мысль — у Никодима искать защиты. Эта мысль оживила ее, — быстро оделась, по привычке нащупала в кармане револьвер и пошла в город.

В комнате Никодима спорили:

— Необходимо сразу, по всему городу устроить облаву!

— Вы видели, сколько их было на регистрации и все в овечьей шкуре.

Титов предложил, засмеявшись:

— Варфоломеевскую бы ночь закатить этой сволочи.

Никодим увидел Феничку, вошедшую и молчаливо остановившуюся у двери, кивнул головой и бросил:

— Подождите, мы кончаем.

Обратился к спорившим:

— Товарищи, без специалистов мы не можем организовать армию и не все враги революции, многие будут нужны и незаменимы. Мы должны воспользоваться для создания армии ими сегодня же; потом, когда пролетариат из своей среды сможет воспитать генштабистов и военруков, мы постепенно освободимся от ненужного нам балласта, а сегодня мы не имеем права отказываться от их помощи, мы заставим их работать об руку с нами и будем следить за их действием, — политическое руководство должно быть введено как система — рядом с военруком — политрук армии — наши глаза и уши. Те, кто враги нам — мы изолируем их. В том, что с юга идет опасность — на это нельзя закрывать глаза, наоборот, мы должны установить бдительность. Вы говорите о существовании контрреволюционной организации офицерства, руководимого с юга, — в этом я не сомневаюсь и присоединяюсь к предложению об организации проверки и обысков, но настаиваю, — изолировать только наиболее подозрительных, остальные должны быть вне опасности, — устраивая варфоломеевскую ночь, мы будем рубить под собой сук, — сейчас нам нужна армия, кто в ней будет наш друг и враг, мы увидим и успеем вовремя кого нужно изъять.

Расходились, обсуждая одновременные порайонные обыски по регистрационным спискам.

Никодим возвратился, открыл форточку, — морозный воздух освежил голову.

— Ты по делу ко мне? Получил от дяди письмо, некогда было тебе передать записку, — освобожден и остался в Москве работать.

Феничка почувствовала, что смешно говорить свое, личное, когда у него каждая минута рассчитана и занята большим и нужным для него и его партии и думать о том, что он почему-то должен спасти ее от любви Калябина — стыдно даже.

Замешалась и, путаясь, ответила нехотя:

— Нет, я только о дяде Кириуше справиться.

Никодим уловил ее неуверенность, взглянул остро, внимательно:

— Говори, случилось что-нибудь дома?

Неожиданно пришла мысль, улыбнулась даже ей и сказала:

— Я, Никодим, не хочу быть тунеядкою и хочу служить.

— В чем же дело, — поручительство нужно?

— У тебя есть шофер?

— Шофером? Что за фантазия?!

— Я хочу быть всегда с тобою, это мне очень нужно.

— Говори прямо, в чем дело?

— Я хочу избавиться от Калябина!

На первую мобилизацию в красную армию на сборный пункт привезла Никодима в комиссию. И каждый день, с утра на воздухе — без дум, жить сегодняшним днем, где придется обедать, ночевать в пустой комнате на кушетке, рядом с комнатой Петровского и Карасика, слышать знакомое слово — товарищ, и чувствовать себя свободной от тяжелого взгляда Афоньки — счастье ее и свобода. Домой приходила не в урочный час. Узнала от матери, что Калябин несколько дней не был дома, не ночевал, а иногда возвращается за полночь буйный, гремит дверями и, запершись, что-то бормочет. Встретила его неожиданно и случайно. Остановился, спросил глухо:

— Спрятались?!

— Не хочу, Калябин, умирать, — я люблю жизнь, а вы мне мешаете жить.

— Бойтесь?!

— Бояться мне нечего, жить хочу.

— К товарищу Петровскому спрятались?

Не ответила, молча торопливо ушла в сумерки.

Афонька сжимал кулаки, рвал и метал в чрезвычайке, допрашивал, думал о Феничке, — буржуйская кровь у нее, — но боялся тронуть, и все-таки надеялся своего добиться, мелькала даже мысль арестовать, проморить голодом, припугнуть, — главное, чтоб сломить волю, а потом покорить силою. Думал о ней всегда и чем ярче вспоминал ее взгляд, тем сильнее свирепел, допрашивая, и каждый взрыв бешенства — человеческие жизни, — виновные и невинные, кто попадет под горячую руку.

В ночь облавы шепнули ему товарищи:

— В женском бы монастыре посмотреть, у монашек прячутся.

Схватился за мысль, сжал весело кулаки и потряс ими.

За полночь, крестясь и молитвясь, отворила привратница монастырские ворота грузовику с красногвардейцами.

Афонька соскочил, приказал оцепить кельи и велел через привратницу объявить монашкам, что если хоть один человек появится во время обыска во дворе или попытается бежать через ограду — будет убит на месте.

С первых дней революции испуганный монастырь затих. Во время войны монашки шили белье интендантству, ходили, как всегда, навещать благодетелей и благодетельниц.

Матушка Евдокия, — розовая, толстощекая — после Ариши подругу ее Варвару приютила послушницей. Варенька знала цену себе — матушку держала в руках и в умеренности плотской и за каждое утешение Дунька должна была брать ее с собой в гости в город, подарки ей покупать, дарить сласти — от Калашина мармелад и пряники.

В гости приходили вдвоем и Дунька тянула плаксиво:

— Проведать своих благодетелей с Варенькою пришла.

В знакомых домах прозвали ее — купчихою и после ухода посмеивались:

— Деньги в банке лежат, а все плачется.

Черные глаза заплывали жиром, под глазами нависали мешки с ободком синим, висел второй подбородок и стянутые груди распирали в стороны, — всегда жаловалась:

— Ревматизмы замучили — спать не дают, — измаялась.

И на каждое слово:

— Спаси Господи!..

Ела все предложенное, накладывала полное блюдо варенья и, путаясь в мантии, отхлебывала с блюда чай внакладку, — потела, охала, отдувалась и пила по шести чашек. Вареньке накладывала варенье полно, — знала — не наложит ей вдоволь — потом целые дни изводить будет, а по ночам запирается в боковой комнате.

Каждую весну Варенька гуляла с семинаристами на монастырском кладбище, а Евдокия смиренно постилась и молчала, пока семинаристы на каникулы не уедут и послушница не очахнет. Раннею осенью повторялось то же, а когда начинал целые дни накрапывать дождь и на кладбище увядала и слегалась мочалкою сухая трава, Евдокия вспоминала Вареньке прошлое, покупала сладостей и утешалась послушницей.

Весною вспоминала Евдокия свое прошлое, доставала из заветного сундука ящик с кольцами, и подвесками и любовалась добром Марьи Карповны, об этом не знала и Варенька. По ночам снилась купчиха ей, — Дунька вскакивала, металась по комнате, открывала окно и становилась молиться, пока не зазвонят к ранней.

Во время войны к молодым монашкам-послушницам лазили прапорщики и выздоравливающие из семинарского лазарета, а красавицу-институтку от матери-игуменьи сманил сын монастырского протопопа, студент-прапорщик, потом ее видели монашки в косынке сестры и завидовали.

Игуменья по старости не входила в монастырскую жизнь — жили вольно, у кого какая совесть, а когда сказали ей, что царя нет, — ахнула и не встала.

Солдаты из запасных полков, — за монастырем баракки, — лазили в монастырь за яблоками в палисадники, обламывая суки, вытаптывая клумбы с астрами и бес-смертниками, — монашки запирались на щеколды, крючки и по ночам дрожали:

— Спаси, сохрани, помилуй!

Приезжали из деревень мужики на подводах звать домой сестер и племянниц своих.

Что тут делать-то хоть, мышей что ли давить будете, а то вас самих передушат, каюк тогда.

Брали домой на подмогу.

— Земли теперь хватит — прокормимся, это раньше деваться некуда девке — лишний рот в доме — ступай в монастырь, а теперь хватит.

Городские завидовали, — не хотели отпускать, уговаривали не ездить:

— Что тут делать-то хоть, мышей что ли давить? Кто нас, монашечек тронет, кому мы нужны несчастные?

В октябре, когда в семинарии вместо лазарета штаб красной гвардии и по ночам часовые выстрелы — пули шальные о монастырскую стену цокали — монашки прятались, не поехавшие убежали, бросая добро в келиях.

Сын протопопа, прапорщик, после регистрации уговаривал вместе с отцом товарища-офицера спрятать; и снова в монастырских келиях веселей, и отошавшие монашки, с повисшими подбородками и щеками пожелтевшими, утешались, шепча по секрету друг другу:

— Защитников отечества и престола охранить от напасти — великий подвиг, господь сам указывает пути ищеские.

Варенька согласилась коморку свою уступить, перешла спать на полу подле Дуньки и вдвоем заглядывались на защитника.

А когда грузовой автомобиль захаркал в монастыре и для острастки сделал несколько выстрелов — монашки заохали, прятавшие не знали куда перепрятывать, — под кровать, в чулан, под перину.

Про Калябина из города слух в монастырь, — Дунька вспомнила, расспросила и начала по секрету шепотом:

— Ох, милая, если тот самый, что у купца моего покойника жил — истинный изверг, — страшный...

— Говорят, рыжий, нос перешиблен.

— Он, он, милая, — и нос перешиблен и сам рыжий.

Из келии к келию, — двух вывели, одного убежавшего пристрелили, несколько слышали, как в догонку свистели пули, — подошли к Дунькиной келии. Евдокия увидала — ахнула, сам перед ней Калябин.

Не узнал ее сразу:

— Спрятанный есть?

— Что вы, товарищ, в келии-то монашеской?!

— Двух нашли, — сам погляжу, показывай кладовушки-чуланчики.

Вошел в ее комнату, увидел перину смятую — отвернул и велел взять — третьего. Вернулся обратно, Дунька не выдержала, повалилась в ноги:

— Афонечка!.. пожалей ты меня — не губи, не трогай...

— Ты почем меня знаешь?

— У Марьи Карповны вместе служили, — Афонечка.

— Дунька?

— Я, Афоничка, я, пожалей, помилуй...

— А Галкину ты пожалела?

Ползала по полу, ловила руками голенища сапог.

— Теперь офицеров у себя прятать?! Была стервою и осталась ею!

Ногою откатнул и приказал забрать вместе с Варенькой.

На утро звонил монастырский колокол похоронным звоном, созывая монашек панихиду служить по великомученицам-инокиням и послушницам, загубленным неповинно во имя родины.

Афонька, возвращаясь, всю дорогу урчал:

— Разворочу это логово, — воронье черное!

Монастырь приказали закрыть, — гнездо контрреволюции. Старых бездомных монашек оставили доживать; молодые по норам, по щелям — к благодетельницам. Калябин допрашивал по ночам арестованных офицеров, приказывал Лосевой записывать показания, не отпускал ее до утра, — пили вдвоем, пьяная девушка плакала о своей жизни.

Когда привезли из монастыря последних пять человек, один назвал Лосева.

Афонька вскочил, метнул глазами на девушку и подошел к арестованному:

— Какой Лосев?

— На Мещанской, Иван Матвеевич, — поверенный.

Манечка побледнела, потом лицо у ней пошло красными пятнами.

Афонька прервал вопрос, приказал вывести арестованных, запер на ключ дверь кабинета и, хромя, — нога от волнения волочилась, скребя по полу — подошел к Мане, нагнулся и, ударив кулаком по столу, закричал:

— Вместе с отцом прятала?!

Сразу всплыло в памяти: трактир Галкина, Лосев, попытка поджечь завод Дракина и Феничка, и снова по рукам полилась злоба.

— Ну, говори!

Молчала, только крупные слезы текли по лицу, — ненавидела отца, мать, свою жизнь потерянную: ненавидели подруги, отвергивались — доносила на них небывалое, из-за нее из гимназии выгоняли бедноту, богатые оставались; на один миг поверила Михаилу Ивановичу Чапыгину, захотела ухватиться за жизнь, и, любя, делала все, что хотел — научилась пить и плясать, обнажая себя; верила, что любит ее, — потом покатила вместе

с Афонькою, боясь без угла остаться, без крова и начала копить золото.

— Ну, говори, — вдвоем прятали?! Влезла шпионить сюда!

Медленно, слово за словом, и, после каждого ежась, точно не взгляды Калябина, а собственные слова били ее, рассказала правду.

— Говори, кто главный?

— Белопольский.

— И теперь у отца?

— Не знаю.

Запер на ключ, приказал караулить ее, целую ночь метался по городу. Привез Лосева, — сгорбившись, точно боясь, что начнут бить, мигая глазами, смотрел на Калябина. В кабинете увидел дочь и сразу выпрямился, — понял, что решена судьба, — с ненавистью спросил:

— Ты предала?

Девушка загорелась, — перед смертью исчезла робость и страх:

— Ты довел меня до гибели, — с детства шпионить за подругами заставлял — все ненавидели, была зачумленная, — грозил выгнать на улицу, морил голодом, подкупал подарками, — ты, ты, ты!

— Змея, гадина!

Афонька молча смотрел на отца и дочь, хмурия брови, — перебитый нос вздергивался, лицо искажалось, ерошил волосы. Вплотную подошел к Лосеву:

— Ну, говори, помилую.

Старик сощурил глаза и с гордостью произнес:

— Истинные слуги отечества и престола умеют умирать молча.

Калябин захрипел, схватив за горло Лосева:

— Что?

Лосев мигнул налитыми кровью глазами и прошипел:

— Вроде купчихи и меня задушить хочешь?

— Говори!

Снова начал ломаться, извиваясь в руках Афоньки:

— Ничего-с, Афанасий Тимофеевич, неизвестно мне, ничевошеньки-с, расспросите-с у подруги сердца своего...

Афоньке стало вдруг противно держать Лосева, отшвырнул его к двери, — старик упал, откатился и ударился лбом. Калябин распахнул дверь и крикнул в нее:

— К стенке! Придушить эту сволочь! Всех до единого.

Тяжело ступая, вернулся в кабинет, дикими, безумными глазами посмотрел на девушку и спросил:

— А с тобою что делать?!

Пытался думать, сел на диван, уставился в пол. Лосева неподвижно стояла у стола и смотрела, не мигая, в дверь. Снова спросил:

— Ну, говори!

Потом поднялся, открыл кабинет и, стоя у двери произнес глухо:

— Убирайся отсюда вон!

Маня, сжав плечи, опустив руки, вышла в приемную и, пройдя мимо сидевшего караульного, все также не поднимая головы и не оборачиваясь, вышла на улицу.

По городу шла, неизвестно куда и зачем, вышла в поле, к реке, и пошла берегом. От месячной ночи было светло, в сонной паутине спал город, впереди поднималась железнодорожная насыпь, взошла на нее, недалеко от моста светился зеленоватый огонек семафора — пошла на него. Часовой на мосту окрикнул, — не слышала.

Наклонилась над перилами и смотрела вниз, долго, пристально, пока не закружилась голова над пропастью, стало легко, потянуло вниз, — лететь и не чувствовать жизни. Часовой окрикнул еще раз, щелкнул затвором и выстрелил. Черная тень перегнулась за перила, скользнула по ним и птицею полетела вниз, всплеснув воду.

Белопольского не нашли. Полковник исчез из города вместе с женой, только потом у одной из лесных станций начали происходить крушения воинских поездов, — красноармейские эшелоны сходили с рельс и катились у высокого заворота под откос в лесной бурелом и болото.

В городе затихло, — Афонька умаялся. Списки мобилизованных офицеров прошли в «Известиях» и начали организовываться штабы красных полков и дивизий.

Но все время говорили о разогнанном девичьем монастыре и о назначении комиссии вскрывать мощи.



Келии запирали накрепко, никого не впускали монахи — людей таились. Старики вспоминали казаков, изгнавших из монастыря рабочих, и утешали себя надеждою, что опять их Николка выручит — спасет обитель.

— Деловой он, — вразумил господь его, — надо молиться... согрешили мы...

— Без царя — пропадать народу, вернется помазанник божий — наставит на путь истины царство российское.

На солдат из госпиталя смотрели как на овец заблудшихся.

Аккиндин, пощипывая бородку, уходил в лес, встречал раненых, сверлил глазками и подходил исподволь:

— Великое испытание послал господь земле русской, --- овцы без пастыря, земля рушится... Великое нашествие иноплеменников — татарский полон, антихристов.

Солдаты слушали, угрюмо смотрели в землю и бросали коротко:

— Тебя б, отец, хоть на недельку на фронт пустить!.. Мириться надо, народ измучился, а кому эта война нужна?!

— Кому нужно, тот и пускай воюет, а с нас и этого хватит — вот без руки-то вернусь, а дома мал мала пятеро, без хлеба сидят, а я разве работник теперь? Кто их кормить будет?

— Ох, братец, господь терпелив и всемилостив, — приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз успокою вы...

— Так-то так, правильно это, а только на том свете успокоение, а ты мне вот на земле его дай — накорми пятерых... да меня калеку...

— А ты помолись преподобному Симеону старцу, сходи, приложись к мощам.

— Что ж от этого рука что ль моя прирастет или появится новая?!

И медленно, слово за словом, блекли слова о чуде и исцелении, солдаты косились на Аккиндина, а монах, возвращаясь в монастырь, говорил соседям, что великое оскудение настало в сердцах человеческих и грядет антихрист с полчищами преисподней силы.

Игумен из монастыря выходил изредка: в лазарет. Заставлял служить по-уставному: облачался торжественно и выходил к молебну к мощам, хотел возбудить примером рвение к подвигу и молитве. На черного монаха смотрел искоса, — Поликарп не подпускал к хозяйству Гервасия, держал все в своих руках, — монастырь поставлял муку лазарету — Гервасий закупал с надбавкою, копил сотенные. Поликарп пришел к игумену и только сказал:

— Хозяйство вести буду сам.

Игумен потупился, хотел возражать, но черный монах посмотрел на него пристально и закончил:

— Передайте мне книги, иначе донесу епископу, — не позорьте иноков.

Молча вынес книги, счета и несколько дней не показывался, потом принялся служить и молиться в соборе, старался склонить на свою сторону братию.

С весны Поликарп обошел огороды, пасеку, заставил гряды вскопать — насадить овощи. Встречаясь на работах с монахами, говорил:

— Теперь мы сами должны о себе заботиться, — революция — великие и тяжкие дни испытания, — не хотите погибнуть — работайте! Обитель сама должна прокормиться.

Половодье прошло бурное, озеро разлилось на луга и сочная трава поднялась высокая. Парные дни гудели в лесу ручьями, звонко падая с берегов в речку. По талой земле полпенские мужики выехали в монастырский лес и гулко повалили сбсну, — первую, не в обхват — мачтовую, и раснеслось по келиям — мужики вырубают лес. Монахи шептали беспомощно, — лес губят, красоту обители. Выезжали с топорами утром и среди бела дня возили через мельницу мимо часовенки.

К мельнику сыновья из деревни пришли вместе с полпенскими.

Маврикий вышел навстречу, старший сын подошел к отцу:

— Наши мужики порешили забрать мельницу, так и игумену доложи.

Монах посмотрел на своих земляков, поклонился и пошел к Гервасию.

Братия беспомощно разводила руками, собрались к игумену, Гервасий усмехнулся и ответил инокам.

— Я, старцы, теперь не хозяин в обители — ступайте к черному, к Поликарпу, он хозяин у вас...

Прорвалась злоба, копившаяся у Николки на монаха ученого и передалась братии, — зашептали, кивая головами:

— К нему, к черному, — пускай сам теперь.

Поликарп расспросил Маврикия. Паисий-эконом ждал, что скажет ученый, поглаживал бороду. Поликарп понял, что должен сохранить монастырскую мельницу. Знал, что монастырю она не нужна, но от этого зависело — его сила, его власть. Стиснул зубы, внимательно поглядел на

мельника — помнил, что монах из полпенских мужиков и чувствовал, что он молчаливо заодно с ними. Подошел к нему, обратившись к братии:

— Пойду, отцы, с Маврикием, он хозяином был на мельнице — вместе говорить будем, ему поверят.

Маврикий испуганно взглянул на Поликарпа и прошептал:

— Они... с топорами.

— А мы, Маврикий, с именем господа на устах — смиренно.

На мельнице остались сыновья Маврикия; монахи пришли за полдень, Поликарп только сказал Маврикийю:

— Это твои сыновья, говори как отец с ними!

Мужики твердили одно:

— Мельница наша, без мельницы пропадать Полпенке, и так сколько лет монастырю платили за свой хлеб, кабы вы сеяли.

Не выдерживали взгляда угрюмого Поликарпа:

— Да это не мы, нас поставили, общество, надо ему сказать.

Младший побежал на деревню, привел мужиков, всю дорогу говорил, что монахи пришли и не хотят отдавать мельницы. Полпенцы буйно шли, с кольями; монахов не было — только мельник Маврикий и Поликарп.

Черный монах начал первый:

— Иноки теперь начали хозяйство вести — будут пахать осенью, без мельницы нельзя обойтись обители, — пусть она ваша будет, но оставьте на ней Маврикия и его сыновей — вместе будем работать, и труд, и забота общие, а вода — посмотрите — через сколько деревень протекает река и всех питает она, ворочает жернова, полощет белье, обмывает греховное тело людское и всякий зверь к ней приходит испить, всякая птица находит себе пристанище у ее берегов светлых, так и труд человека — каждому хватит места теперь на земле по-братски жить, по-братски один дом на земле построить и на одной мельнице хлеб — труд и пропитание наше насущное — по-братски обмолачивать будем; вместе с иноками и послушниками и вы трудиться будете, — она и ваша, и наша — общая.

Мужики внимательно слушали, тихо, — вышел старик, поклонился Поликарпу, потом Маврикийю и сказал:

— Мир, дозволю слово сказать!

Ветром колыхнуло слова, — говори, Иван Никанорыч, говори!..

— Оставим, братцы, Маврикия с ребятами его, — Маврикий-то наш, и ребята его — тоже наши, быть им перед миром ответчиками; это правильно вот отец говорил — надо один дом на земле построить — никому и тесно тогда не будет... Так как же, — Маврикия-то оставим с ребятами?

Тепло, солнце — смолистое, источающее золотое марево, и мужицкие голоса — ровные, спокойные, твердые:

— Оставайся, отец Маврикий...

— С ребятами!..

— Вам отвечать за мельницу...

И неожиданно Маврикий почувствовал не злобный свет черных глаз Поликарпа, а непонятную власть — притягивающую уверенно и спокойно, первый раз увидел в нем непонятное, чему верить хочется и идти следом.

Старый мельник выпрямился, оглянулся на мужиков, будто согласия спрашивал их и подошел к Поликарпу под благословение.

Монах благословил и снова подошел к крестьянам:

— Хочу вам, братья, еще сказать...

Голос замедлился, мужики затихли и снова повеяло из лесу спокойной сосной, капавшей шепотом с мохнатых шапок лесных в озеро всплесками рыб, по воде от капель расходились круги — широкие и медленные, до берегов, в зеленеющие камыши.

— Всем нам одна забота — один дом на земле построить, широкий, большой, братский, чтоб каждому в нем и дышалось легко, и жилось вольно и теперь наш дом, — медленно поднял руку и провел ее кругом себя, — вот он — земля, кормящая всякую тварь, крыша на нем широкая, все люди под ней вмещаются, только дом отца моего и отца вашего нужно строить любовно, беречь дар его — он теперь ваш и наш, никто его у нас не отымет, никто не прокопает границ, и те что были — травой зарастут, мохом, — нужно тебе — бери, но не губи напрасно ни одной былинки, ни одного дерева, ибо все, что делаешь — труд твой, а трудящийся достоин пропитания, достоин своего труда и должен ценить его, ценить каждое дерево, чтобы видеть дело рук своих — нужное и полезное, только тогда и сумеем мы, оберегая имение свое, не расточая ни его, ни труд свой, построить единый для всех людей на земле дом труда и счастья!..

Поликарп еще раз взглянул на полпенских мужиков и медленно пошел по тропинке в лес — высокий, черный, —

худой, сутулый. Мужики молча глядели вслед, пока тот же старик, Иван Никанорыч, не сказал, очнувшись:

— А это насчет он леса нам говорил, братцы... накинудись мы на него, а сами не знаем, когда еще выстроим... А ведь никто не унесет его, — вот что, и унести не дадим.

Молча разошлись полпенцы, с ними ушли и сыновья Маврикия.

Маврикий вернулся на мельницу в келию, передел белый подрясник, — мучной, рабочий, с узкими рукавами и вышел осмотреть желоб под мельничным колесом и жернова, приказав послушникам сети чинить:

-- Слышали, что говорил?!* Дом строить...

Через поставы медленно сочилась вода, звеня с высоты в глубокое речное русло — песчаное, ровное и прозрачное с бесконечными стаями гальцов-верхолеток, кружившихся у журчащей пены — золотой, напитанной весенней смолой и солнцем.

Маврикий осмотрел мельницу, как свою собственную и когда в монастыре зазвонил к трапезе средний колокол, позвал послушников ужинать.

Ропот утих, Николка ходил угрюмый, монахи начали кланяться Поликарпу, старики сторонились его — сомнение запало в душу, не могли понять. Летом скосили луг, свозили сено — исполу поделили с полпенскими. Пахотных земель не имел монастырь и мужики делили к осени имение помещичье — усадьба полыхала под монастырский колокол, боялись, что ветер головню перебросит в лес.

Звонил Ионикий, — тихий, задумчивый, и смотрел на отсветы пламени, — шапки сосен качались размашисто и казалось, что полыхает в лесу; и не ветер машет шумя, а шуршит по стволам пламя и вот-вот вырвется и охватит лес, закружит его огненными языками и потонет в огне монастырь, только колокол будет гудеть от ужаса. Монахи вышли из келий и смотрели на зарево, черные тени их колыхались, горбились, прилипали к стенам и потухали, когда стихало зарево. Лес потемнел, верхушки сосен померкли и сошел с колокольни звонарь Ионикий — сумрачный, тихий; смотрел большими глазами на расспрашивавших и молчал. По монастырю ходил выпрашивать хлебные крошки, выкапывал на конском дворе из навоза зерна овса и относил голубям. Жил с ними, прикрываясь соломой и подрясник всегда был в мусоре.

Осенью ждали, что снова привезут раненых, но лазарет с каждым днем пустел, остались калеки бездомные, врач и три сестры, остальные разъехались по домам. Глухим отзвуком донеслось — большевики... и замерло.

С калекими осталась Зина, — деваться некуда, оторвалась от жизни, ушла в от нее вглубь. Выздоровела, но все время жалась к старшей сестре. Вечерами неподвижно сидела у окна, перечитывала старые письма от Никодима и все время ждала новых, — не писал, закружило время, не думал о ней, изредка только чувствовал и забывал снова.

Вздрагивала от неожиданного смеха Карчевской.

Зося осталась с матерью, — деваться некуда было. С досадою смотрела на пустые палаты — уходила жизнь, цеплялась за нее, за кусок хлеба. Мать ненавидела и кусала до крови губы, встречаясь с нею, чтоб только удержаться и не наговорить ей в отчаянии дерзкого и безудержного.

Старуха шептала дочери:

— Узнала я, Зосенька, игумен богатый!

Обрывала ее:

— Где он, давайте его! Не могу же бегать за ним, стыдно.

Уходила за гостиницу в лес, — далеко — мужиков боялась, после пожара имения.

Обрадовалась, встретив Гервасия:

— Что же вы не приходите в госпиталь?! Проведать калек несчастных.

Неуверенно звала глазами, не поднимаясь с земли. Осень стояла хрупкая и сухая, пожелтевший мох дышал горьковатым запахом, как утомленное солнце вечернее.

Пропела, откинув руки:

! — Мне одной очень скучно, отчего не приходите?

Николка вздохнул, неловко поежился.

— А вы боитесь революции, батюшка?

Тряхнул головой, поправил волосы и безнадежным, безразличным, мертвым каким-то ответил голосом:

— Мне все равно, я один.

— Вам хорошо, у вас, говорят, деньги есть.

Вздрогнул, смутился и от неожиданности вскрикнул:

— Деньги?!

В тот же вечер пошел к Арише.

Хозяйство на скотном дворе уменьшилось, полпенские мужики угнали в лесу часть стада и теперь целые дни коровы стояли в хлеву.

Ариша встретила Николку спокойно:

— Что вам, отец игумен?

Гервасий оглянулся, запер на крюк дверь и спросил шепотом:

— Целы деньги мои?

— А куда же им деться?

— Покажи, поглядеть хочу.

Достала неразвернутую пачку в хлопчатой бумаге и подала.

— Все тут?

— Не знаю... не глядела, не трогала.

Хотел уходить, подошел к двери и неожиданно мелькнуло, сосчитать надо, потом сунул в карман и спросил:

— Сколько взяла?

Глухо сказал с какою-то ненавистью; Ариша вздрогнула, глаза открылись широко и задрожали руки:

— Не брала от тебя, ни крошки, для него берегла, — теперь не для кого, бери их, бери — не мучай только меня, последнюю жизнь не высасывай!.. О-ох, кончить бы, повеситься, — из-за денег твоих проклятых. Опутал меня — душу вымотал...

Верил и знал, что не брала, не трогала, но какая-то злоба на свою жизнь бездомную, неприкаянную, рушившуюся и гнившую охватила всего — начал ее упрекать:

— А ты хоть что-нибудь для меня сделала, пошевелила хоть пальцем, чтоб любить, а не плакаться?! На хутор ходил, — ждала хоть когда-нибудь, из милости за свою же заботу вымаливал!

— Я не купчиха, чтоб забавою быть, — во мне душа человеческая, привыкли к купчихам — погулял, поиграл — никакой заботы! Богу молиться ездили?! А бог-то ваш где, — распутники!.. А я человек, — ждала радости, с малюткою успокоиться думала... Хоть бы глянуть пришел, спросил бы...

— Я игумен, у меня без того забот...

— Деньги воровать, человека губить... Да ты видел, как он умирал, знал хоть об этом?.. Хуже щенка он был для тебя... Ведь я над ним ночи просиживала, я мучилась, никому не жаловалась, а ты еще про деньги спрашивать — меня ими не купишь, не продажная я... считай их, иди, пересчитывай! И теперь ими мучить пришел, — не дамся тебе, не дамся, лучше повешусь, а не дамся мучителю.

Не стал слушать, махнул рукою...

— Сумасшедшая!

Хлопнула дверь и снова Аришу охватило отчаяние

и безразличие, легла на постель и неподвижно в полудремоте до утра пролежала, и снова потекли мертвые дни монастырские и все люди казались мертвецами с оскаленными от озлобления на свою жизнь зубами, двигавшимися как заведенные.

Николка затворился в спальне своей, достал восковую свечу и пересчитал, слюнявя пальцы, новенькие бумажки сотенные и пятисотки, радуясь и оживая от шелеста, достал из сундука несчитанные в жестяной коробке от чая и до полуночи перелистывал, вспоминая слова Зоси о его богатстве и уцепился за них, как за последнее.

Последний месяц ходил опущенный, посрамленный монахом черным, видел недовольные взгляды иноков и молчал, — отупение было — жуткое и безысходное, казалось, что все потеряно — не видел, но чувствовал дни бурные и ждал конца своего, и одно только слово — деньги, верил в силу их, один только взгляд позвавший поманил опять к прошлому — уцепился за мысль и бережно сложил в жестяную коробку николаевские бумажки. Не верил себе, а казалось, что не поздно еще уйти и начать заново.

После службы опять потянуло в лес — встретиться, не хотел сознаться себе, что возможно уйти, но цеплялся, как за последнее.

Нашел ее за гостиницей, показалось, что ждала его и обрадовалась.

Начал ходить каждый день в сумерки.

Жаловалась ему:

— Деваться некуда, батюшка!

— Вы бы уехали...

— Некуда!..

Пошутила ему:

— С вами бы вот — уехала...

— Я монах!

— Для молодого мужчины ничего нет страшного, а теперь — все можно...

— Поедете?

Расхохоталась, потом оборвала смех и подошла близко.

— Правду, батюшка, говорите?

И опять позвала взглядом.

В монастырь вернулся по-старому, через конский двор, пошатывало как пьяного, не верил, что начинает жизнь заново.

Потянулись мутные дни, липкие, заволакивающие. Навещал калек в госпитале и спускался вниз к Зосе, спрашивал, как безумный:

— Когда же, когда?.. Надо теперь, осенью...

Матери рассказала, старуха скривила рот.

— Что вы?!

Погладила, как маленькую по голове и прошептала на ухо:

— Он же монах, милая...

И еще тише, обняв за плечи:

— А вот деньги его...

Не dokonчила, начала целовать и смеяться, хитро поглядывая на дочь:

— Я пошутила, Зосенька, пошутила...

Провожая до госпиталя, сказала дочери:

— А уезжать и нам пора, Зосенька... только денег вот нет.

Петля затянулась туго, душила Николку, мучила; томительно ждал вечера и, потеряв разум и совесть, бегал в гостиницу, — монахи не видели — прятался, задаривая Мисаила, всем говорил, что утешает калек бездомных, покинутых воинов.

Женщина в тридцать лет — монаху аркан, жадно ползал у ног, умоляя бежать. Отговаривалась, тянула, что-то ждала и чтоб не ушел — жарко дышала, утоляя инока.

— Зося, когда же уедем мы?

Тихо смеялась, глаза в улыбке прятали хитрость.

— Теперь скоро весна, — в Варшаве только весной хорошо.

— А если случится что?

— Тогда и бежим.

Выпытала у разнеженного тихим шепотом:

— А сколько у тебя?

— Сорок тысяч скопил, — целую жизнь...

Засыпала, думая о Варшаве, о вечернем кафе с музыкой и не знала, как уехать от хитрого монаха, требовавшего от нее жизнь. Нравилась его красота и сила, но вспомнив о дворянском гоноре польских панов, смеялась над своей женской слабостью перед лесным медведем — монахом русским. Вспоминала, что пан ксензулька, всегда гладко выбритый, целовал ей руку, а у Гервасия борода и усы противно лезли в рот, щекотали до смеха шею и грудь.

Перевертывалась к стене и в темноте шептала:

— Как у него деньги выманить?!

Монастырь засыпал в сумерки, лампадки с конопляным маслом зажигались изредка на молитву, свечные огарки — великое утешение. За трапезу приходили все и радовались толченой картошке, постным щам — овощам с монастырского огорода. Молча расступались, пропуская Поликарпа на игуменское место, — Гервасий редко ходил. Молодые монахи со стариками спорили.

Аккиндин защищал игумена:

— А кто возвеличил обитель нашу, — Гервасий... Кто преподобного старца прославил? Ну, — кто?

Молодые отвечали спокойно:

— Что бы ели, если бы не иеромонах Поликарп, — голодную смертью бы умирать.

— О мамоне заботитесь, — поклоняетесь дьяволу, искушавшему господу камни претворить в хлебы!..

— В писании сказано — не что в уста, а что из уст.

— Не единым хлебом жив человек будет, но всяким глаголом исходящим из уст божиих!

— Неправда, — сказано — кто не лелеет...

— Ну и питайтесь, вон он благодетель ваш.

— Он-то вот лес сохранил обители, полпенские не трогают его, и Маврикий на мельнице, а игумен-то ваш, — безродных калек утешает в госпитале?!

— Про игумена не подобает говорить дурного иноку.

— Мы своего теперь выберем.

— Посмейте!

— Теперь мы тоже свободные, — захотим выберем.

— Ученого захотели?..

Начинался сдержанный шепот, прерываемый колокольчиком настоятеля, а после молитвы монахи снова начинали шуметь, расходясь из трапезной.

Медленно вырастали две группы, и по келиям до темна спорили.

Старики не выдерживали.

— Покарает вас преподобный, — невидимо! Антихриста ожидаете, а он среди вас, — не слышали — сказано: «многие придут под именем Моим» и будут проповедывать «и многих прельстят»... А вы не видите... среди вас лжепророка, антихриста, и Маврикий соблазнился о нем... Маловерные!..

Ранней весной с заводов приехала комиссия осмотреть гостиницы.

Мисаил прибежал к игумену, Николка старцев созвал —

приверженцев. Старый, горбатый, согнувшийся до земли Досифей шамкал шепотом:

— Инокам жатворица в келии, швятые ворота жамкнуть — молиться преподобному штарцу нашему Шимедну, да отвратит гнев швой от пуштыни, да помрачит ражум воинштва нечестивого.

Смирившийся старый гостиник Иона, отдуваясь и разглаживая бороду, обратился к старцам:

— Устами нашего старца Досифея глаголет истина, — к большевикам не ходить инокам — пострадаем, примем смерть мученическую, но не покоримся власти антихристов-коммунистов — жидовской власти, кагала мудрецов сионских. Это они захватили в руки свои Россию, они — антихристы! Православный народ мучают, надругаются над христианскою верою!

Монахи головами кивали, Гервасий соглашался с Ионою и Досифеем:

— Пострадаем братие, но не отступим от заветов учителей — пусть, что хотят, делают, — будем денно и ночью возносить преподобному отцу нашему Симеону молитвы горячие, да сотворит он чудо великое и да минет нас чаша сия.

Досифей шамкал:

— Да минет наш чаша шия, да минет!..

Аккиндин сокрушенно качал головой, вздыхал и бородку пощипывал. Епифрас просфорник, — очки съехали на нос, выцветшие волосы бахромой висели, — смотрел поверх ободков и говорил, растягивая слова:

— Послушаем, братие и старцы, игумена нашего, — ни слова не скажем с приехавшими и не выйдем из храма от мощей преподобного. Да будет нам пищею хлеб и вода; аки в дни великого покаяния.

Иона докончил:

— Наложим на себя пост великий, доколе не сотворит господь своей милости и десница его не покарает хулителей.

Враги и друзья собрались вокруг Гервасия; у каждого за душой темное, нераскаянное, и помыслы и видения жены блудной, а к старости злоба на жизнь мутную, каждый, помня свою жизнь, прощал игумену по его молодым летам, и всех объединила ненависть к Поликарпу, хранившему монастырские запасы, выдавая их по расчету, скупо — и каждый день уменьшая выдачу. Молодые монахи поддерживали Поликарпа, и старцы с Гервасием были бессильны бороться с ними.

Гервасий послал вратаря святые ворота замкнуть и никого не впускать в монастырь, вспомнился пятый год. Старик Авраамий, гремя ключами, вышел из покоев игуменских, встретил по дороге блаженного.

Васька бежал от святых ворот — растрепанный, потерял скуфейку и поседевшие вихры раздувало ветром.

— Ты что, Васенька?..

— Пошел, антихрист пошел!.. Черный, глаза огненные, — сам видел — пошел, пошел.

И не останавливаясь, побежал к покоям игуменским.

Старцы собирались идти в собор. Елифрас говорил:

— Ионикия, старцы, пошлите звонить, — душа немощного просветится и благовест будет подобен трубе архангела...

Васька обежал и шепотом, — несколько лет бормотал шепотом, боясь Акакия.

Монахи вздрогнули, увидав блаженного.

Игумен спросил:

— Что, Васенька, что, милый, — и ты с нами молиться будешь?

Васька, не слушая, бормотал:

— Силы небесные отступились; ох, отступились, братие, — антихриста видел, огнедышащего...

— Видел?.. Главного?!

— Черный, братие, — черный, — ангел бездны...

— Кого, Васенька, где?!

— Из обители шел, из обители... Яко змей — антихрист... в образе инока, ох, искушение, братие, искушение.

Гервасий спросил:

— Поликарпа?

— Антихрист пошел, антихрист, черный, глаза огненные, — убоился и бежал... Яко тать в ночи: — черный, большой...

Монахи переглядывались и шептали:

— Пошел, сам пошел...

— Предатель, предает обитель...

— Изгнать его из обители!..

Паисий — эконо́м, распределявший с Поликарпом запасы, помогавший вести хозяйство, все время молча сидел и слушал, вздыхал, вобрав в широкие плечи седую голову, и только теперь сказал, поклонившись старцам:

— Изгнание инока Поликарпа — позор для обители, за него молодые встанут и будет великая распря в пустыни и горшее поругание иноческого смиренномудрия.

Монахи задумались, гостинник Мисаил прервал молчание:

— Не видеть его, не говорить с ним — пусть живет как хочет один, — господь его сам покарает.

И монахи за ним шепотом:

— Не видеть! Не знать! Из помыслов изгнать антихриста!

Долго искали Ионикия-звонаря и когда ударил большой колокол, потянуло из лесу от проталин сырых смолою, а звонарю казалось, что капает росный ладан от синих звезд, размельчая их в путь млечный, тянувшийся полосой из лесной темноты к заводским трубам, и дымил он полотнищами густыми, ложась у стен монастырских туманами.

Черный монах вошел к приехавшим, снял скуфейку, поклонился.

— Вы игумен?

— Я веду в монастыре хозяйство и должен знать чем могу быть полезен вам.

Все удивленно взглянули на сутулого черного монаха.

Слесарь Софрон — худой, высокий, с острыми плечами и узловатыми пальцами сказал Поликарпу:

— Мы и без монахов управимся.

Улыбнулись весело остальные. Заговорил коренастый литейщик:

В пятом году наших товарищей тут нагайками били, -- не помнишь, батя?! За этой самой гостиницей, — я-то помню!

Поликарп стоял неподвижно, поглядывая исподлобья, хмурил брови.

Софрон сверкнул глазами, встал — свеча колебала на лице его тени мускулов:

— А что нам с вашим хозяйством делать, что наши больные товарищи работать что ли на вас должны?!

Опустил глаза, шевельнулась рука и длинный подрясник сдвинул складку.

— Больным должны помочь иноки, служить им своим трудом. Мы работали всю войну, — обслуживали раненых и теперь кормим калек бездомных.

Литейщик внимательно посмотрел на монаха и спросил:

-- Кормить, говоришь, будете?

Софрон перебил товарища:

— Запасы-то ваши мы и так реквизируем, батя, и сами без вас прокормимся.

Голос Поликарпа зазвучал уверенней:

— Реквизировать у нас нечего, братия и теперь почти голодает и, отобрав у нас, через месяц вам же придется голодных людей кормить. А мы вот огороды свои засадим и осенью ваши товарищи будут иметь овощи, капусту, картофель, огурцы, свеклу. Вот чем наши иноки могут быть полезны больным людям.

— Что ж вы это задаром будете нас кормить?

Поликарп почувствовал, что стена между ним и рабочими на одно мгновение как-будто исчезла и он начал говорить полным голосом, волнуясь, доказывая, что каждый может быть полезен трудом своим во имя любви к ближнему, во имя будущего всего человечества и не все, ушедшие в монастырь, пришли уже тунеядцами.

— Спросите у них — кем они раньше были? Зачем пришли сюда?! И что из них сделало государство?! И теперь, когда над нами не висит власть — церковь станет истинно христианской. Вспомните — первые предвестники социализма перед революцией 48 года, на своих тайных собраниях подымали тост за Христа, считая его своим учителем. И первые семена брошены им. Да, нужно пройти было векам, чтобы это семя дало ростки, и все же, находясь глубоко в земле, оно питало ее. Вы говорите — религия не нужна. И не чувствуете, что ваше учение религиозно, в нем глубокая вера в творимое вами на земле царствие назареев и вы — назареи, созидающие на земле новую церковь, живую, действенную, на место пока еще существующей, нашей...

Высокий, черный, худой, в длинном подряснике колыбался, волнуясь мыслью, острые тени углубляли лицо, выливалось таившееся годами.

Слесарь весело перебил:

— А все-таки мы вашу-то по боку!

Поликарп возразил живо и глаза на один миг большими стали — блеснула искра:

— Когда все станут членами новой церкви — старая изживет себя.

Литейщик, слушавший молча монаха, сказал прощаясь:

— И зачем на тебе ряса эта?!

Гудел колокол, накрапывал мелкий, тихий весенний дождь и ноздреватый снег набухал ручьями.

Пропустил Поликарпа послушник через конский двор.

Хлопала дверь, и у каждого своя поступь: торопливая, гремящая каблуками, у Карасика, спорившего высоким тенором, горячась и захлебываясь; у Никодима быстрые шаги и уверенные — голос спокойный, искренний.

С юга первые вести о белой армии, и у Никодима напряженные дни торопливей, — воля, как взгляд острый, схватывала на лету мысль: с военкомом ездил в бараки за город — через неделю загудели голоса мужицкие в серых шинелях, — заседал в комиссии по борьбе с дезертирством и мобилизованные прапорщики и офицеры, — инструктора красной армии — отдавали честь, регистрировали, ловили, составляли списки. Немобилизованные снова являлись на комиссии, увертывались, симулировали и все-таки одевали пятиконечную звезду и ходили в бараки за город.

Возвращался Никодим вечером, поздно; Феничка ставила автомобиль в каретный сарай и валилась от усталости на постель, а утром, осмотрев машину, — выучила ее и чувствовала по дыханию, — ждала знакомого голоса:

— Фекла Тимофеевна, — подавайте.

Монашки по городу расползлись к благодетелям, монастырь пустовал и в церкви плакались только старухи, бессмысленно хлопая покрасневшими веками.

Афонька буйствовал долго; рыжие космы свешивались на лоб и сверкали из-под них остриями глаза. В Гракинский дом заходил редко — надеясь встретиться с Феничкой. Ложился на диван в кабинете Дракина и непробудным сном по два дня, пока не находили его и не уводили судить — чинить расправу. Оглядывался по сторонам, вспоминал где находится, шел к Антонине Кирилловне спросить — не была ли Феничка, и снова на несколько дней пропадал.

Старуха пряталась от Калябина, запирала в дальнюю комнату внука и тряслась над ним, когда Афонька был в доме; услышав, что уходит, гремя хромою ногой по лестнице, вздыхала облегченно и на несколько дней успокаивалась. Феничка приходила тайком, навестить мальчика, принести муки, сахару.

Мать говорила ей:

— И какая ты мать, — сына не знаешь, бросила.

— Ему с вами спокойнее, — что же вы хотите, чтоб мною владел Калябин? Теперь я сильная, крепкая — ничего не

боюсь, в моей силе Андриюшина жизнь. Ни вас, ни его никто не тронет. А если этот возьмет меня — испепелит; во мне снова проснется женщина, в тридцать лет она буйная... тогда покачусь, не выдержу.

Антонина Кирилловна качала головой, охала:

— Непутевые вы с Кириллом, уехал вот, дом бросил, завод, — что из того, что пишет-то он — не беспокойся, я работаю... Кому его эта работа нужна?

Афонька Феничку встретил на лестнице, от неожиданно-сти остановились, друг на друга взглянули.

— Фекла Тимофеевна, вы это?

— Я, Калябин.

— Не пушу вас отсюда, пойдете наверх.

— Мне некогда.

— Петровского-то возить?! Не пушу!

Быстро опустила руку в карман и, почувствовав сталь револьвера, успокоилась, Афонька заметил — с горечью и досадою, — до злобы одно мгновение, — растопырив громадные руки, насупившись, мотнул головой:

— Руку-то выньте, вот что — не трону я вас, а пустить не пушу, сколько времени караулил, чтоб встретиться!

— Зачем вам?

— Говорить с вами хочу. Небось в лазарете и слова у вас находились.

— Я со всеми была одинакова.

Шагнула вперед, на одну ступеньку, Афонька всем туловищем качнулся и голос сделался темный, глухой, встретиться!

— Доведете меня — покончу с вами, убью; себя погублю — жизнь свою, а не выпущу.

Наморщился нос, сдернулся, приподнялся шрам, глаза налились кровью.

Феничка спокойно, — нервы в комок, — повернулась назад, начала подниматься по лестнице:

— Какой вы большой, Калябин, и страшный, а точно ребенок упрямый, капризничаете.

— Вам вот смешно, а мне... целую жизнь за вами хожу, сами знаете...

В кабинете было накурено, душно — Афонька натопил отлеживаться. Зажег свечку и сел на постель.

Феничка начала первая:

— Ну, говорите, что вам от меня нужно? Хотите меня? Любите?

Глухо ответил, согнувшись:

— Люблю... Целую жизнь мучаюсь...

Стояла облокотившись у письменного стола, расстегнула куртку, волновалась, сняла кепку — золотые волосы загорелись, освещенные острым колебанием света, и яркая тень перебегала по ним бликами; дышала глубоко, часто — грудь подымалась выпукло. Афонька взглядывал исподлобья, боясь шевельнуться, и чувствовал, как наливаются руки тяжестью и сводит челюсть.

— Сами сказали — хоть на край света.

— Да, Калябин, сказала и повторю: хоть на край света, ничего не боюсь, но не тогда, когда вы хотите. Дикого зверя я ненавижу, а вы озверели. Сама знаю, что может быть виновата в этом, и в жизни людей, но жертвовать собой и быть раздавленной вашим телом, как червь, которых вы душите, я не хочу.

— Что ж, по-вашему, я должен ради вас эту сволочь миловать?

— Нет, вы разбираться должны, выслушивать, судить и думать над своими решениями, а злоба не может мыслить, она необузданна.

— Есть когда нам?!

— Я верю, что вы честен перед самим собою и действуете по убеждению, а вот по-человеческому вы изувер, потому что не разбираетесь, превращаясь в зверя.

— Что ж, по-вашему, делать?

— Вот когда вы станете человеком, тогда я смогу вам простить каждую смерть, потому что знаю, что в борьбе не щадят врагов. Это только в открытом поле не разбирают, там нельзя иначе, а здесь они беззащитны и их нужно судить.

Афонька молчал, опустив голову, — рыжие кудлы счастливо на лоб, громадные руки подперли щеки.

— Может быть, я действительно хочу для вас быть звездой виффлеемской, а вы только говорите о ней и не хотите видеть меня, понимать...

Калябин тряхнул головой и впился восторженным взглядом, охнув:

— Фекла Тимофеевна!

— А сейчас у вас руки в неповинной крови!

— Тогда что ль не будут?!

— Нет, — смоемся по суду. Я вот боюсь, что вы прикоснетесь ими ко мне и я закричу от ужаса, с ума сойду, — что же вам хочется до этого меня довести и радоваться?!

Афонька встал, подошел к Феничке и спросил беспомощно:

— Что ж, по-вашему, делать мне?

— От крови очиститься, не быть зверем.

— А тогда?..

— Тогда сами увидите!

Медленно начала застегивать куртку, надела кепку, поправила волосы.

Афонька стоял и не отрывал от Фенички взгляда. Пошел следом.

На улице Гракина, не подавая руки, простилась.

— Стыдно идти со мной?

— Я вам сказала, Калябин.

Афонька повернул в противоположную сторону, потом остановился, долго смотрел вслед, что-то думал и неожиданно бросился догонять Гракину, кричал на всю улицу, — Фекла Тимофе-е-евна, Фекла Тимофеевна!

Феничка остановилась и ждала.

— Что вам, Калябин?

— Живите вы дома, вернитесь сюда, на Пеньи!

— Зачем?

— Видеть вас буду, говорить с вами — подле вас человеком сделаюсь, хочу, чтоб светила мне на пути звезда вифлеемская и привела в вертеп!

Гракина улыбнулась, подала руку, — искренне мучился и любил, — сказала Калябину:

— Хорошо, я вернусь, но пока не увижу вас человеком, пока не скажу сама — прикоснуться не смеете!

— А скажете?!

— Скажу!

Жила в своей комнате, — возвращалась вечером поздно, утомленная — Афонька расплывался улыбкою, открывая дверь, — по шагам узнавал Феничку.

В городе летнем затишье и напряжение.

В гусарских казармах — кавалерийское училище красной армии, инструктора — гусары его высочества в красных галифе на бульваре, на главной улице по вечерам с барышнями, помахивая стеками, на месте кокарды — звезда, молот и серп. Начальник училища острый черноглазый старик с седою бородою клинышком — вместо красной подкладки генерал-лейтенанта (директором кадетского корпуса был) — шинель защитная, — военрук и спец, помощником — полковник, гусар, ездив-

ший на охоты с командиром полка — великим князем, в леса заповедные на медведей, лосей, бережно носивший пьяного гувернера княжеского, француза. Князь на диете винной, выручал гувернер — упрашивали брать на охоту, чтоб выпить причина была, — с наставником.

Пыльные дни летние, в полдень жара, затишье, сонные служащие комиссариатов, машинки, бумаги, — заведенное, а вечером за картошкой, мешок на плечи и в деревню с барахлом домашним, менять на муку, конопляное масло.

Стрелка часов — советская, — на два часа вперед, не отпыхает закат — одиннадцать; зацеловавшиеся парочки влюбленных из городского сада — нежные, тихие, успокоенные, встретившись с милиционером, шарахнутся в сторону, — после одиннадцати не разрешается выходить на улицу.

— Товарищ, докумен ваш?

У любви поцелуй документ.

Барышня беспомощно смотрит в глаза кавалеру, ищет по карманам влюбленный, протягивает удостоверения.

— Докумен ваш — по какому праву после одиннадцати?

Долгий свисток, — с патрулем в чрезвычайку, для установления личности, — девушка жмется, крепко под руку держит, испуганно, — в чрезвычайку ведут.

Дежурный член спрашивает, в книгу заносит и ведет в кабинет к Калябину.

— Мы, товарищ, всего на десять минут опоздали.

Афонька смотрит на часы, — торопится видеть Феничку, досадливо машет рукой.

— Товарищ, я советская служащая, машинистка, завтра мне утром в комиссариат.

Уводят, — томятся, ждут, новые пары приводят.

Афонька зовет дежурного:

— Некогда мне, не водите больше.

Что-то вспоминает, морщина разглаживается и через шрам пробегает улыбка:

— А ну их к черту! Куда их девать?!

— До утра в сарай... посидят!

— Кто с бабами — пропусковые записки выдать и гнать — чтоб не шлялись.

И Феничка слышит хромающую походку по лестнице, не спится еще, летние сумерки — тушит свечу, в одеяло кутается.

— Фекла Тимофеевна!

Молча слышит шаги по комнате и улыбается, а где-то внутри — тяжесть, знает, что не выдержит испуга и снова придется бежать ей в пустую комнату к Никодиму, спасаться, прятаться. Иногда не выдерживает:

— Что вам, Калябин, — я сплю.

— За вами пришел — едемте!

— Я накаталась уже.

Изредка не ложится, выходит на стук.

— Не вижу вас никогда, Фекла Тимофеевна.

Глаза его спрашивают, — когда же, когда — обещала сказать.

Волосы в две косы перевязаны ленточкой к ночи — тугие, длинные — золотые ручки от затылка к талии, на висках брызгами завитки, — веет теплом, силою и улыбка сама набегаёт — спокойная, чуть смеющаяся.

Афонька угрюмо молчит, не знает о чем говорить, — слов таких нет у него, а от любви задушил бы, — хмурится и смотрит покорно в глаза, вздыхая как укрощенный зверь.

— Ну, сколько сегодня отправили на тот свет?!

— Никого! Парочки сегодня к нам приводили.

— И что же — целуются и под арестом?

— Отпустил, — возиться еще, ну их к черту!

Первые листья осенние звонко падают и шуршат под ногами зноем сухим, четкое золото поредело и аллея бульвара прозрачная, последние мошки у электрического фонаря кружатся, а по ночам наползают тучи и шуршит дождь.

С весны говорили о комиссии в монастырь на вскрытие преподобного и только в затишье — осенью потребовали отдельный вагон.

Афонька возбужденный ходил, радостный. После постановления комитета вернулся за полночь. Феничка была в отпуску, не выходила из дому, ничего не знала.

Загремел в ее дверь:

— Фекла Тимофеевна!

— Что вы по ночам будить меня вздумали, — с ума сходите!

— Вставайте, новость скажу, обрадуетесь.

По голосу поняла, — необычайное, весело в тон ответила:

— Ну, говорите, белых на Дону уничтожили?!

— А вы угадайте.

— Некогда думать, я спать хочу.

Афонька помялся у двери и не выдержал:

— В монастырь едем мощи вскрывать, — преподобного!
Сердце толчками пошло — горячо, взмахами: быстро соскочила с постели, надела чулки, капот накинула.

— Подождите, сейчас!

Со свечей вышла к Калябину, хотелось расспросить, узнать — кто? когда? Отчего-то стало тревожно и весело.

— Поедемте с нами!

Ухватила за мысль и решила ехать, — прошлое поднялось, захотелось взглянуть.

— У меня ведь приятели там, — повидаться нужно — может и Васька жив!

Нервно гладила рукою капот, почувдилось, что перед нею монах большой, рыжий.

— Может, и вы кого встретите.

— Да, я поеду, хочу ехать, — кто председатель?

— Товарищ Петровский... Да чего там, — вы своя, только что в партию не хотите вступить, — вам можно.

До утра не могла заснуть, мысли шли вперебой — четкими образами минувшего, — мутной тяжестью Николка вставал и красота его, и сейчас же пятый год, Никодим, Афонька, а в душе, глубоко, таинственно непонятно — Борис. Появилась уверенность, что он там, она даже почти наверное знала это, слышала от кого-то, но тогда некогда было думать — жила, жизни радовалась, своей молодости. Тогда нужно было для ней очищение и любовь — ясная, — непорочного, — снова родиться, стать женщиной, любя отдавшейся и выпившей сладость успокоения и тишины. Жила для себя и в этой жизни даже ребенок отошел, забывался, не чувствовался, и до последнего дня был для нее непонятным, почти каким-то чужим; знала — с бабушкой ему хорошо, спокойно. И не он, а Борис заполнил всю, чувствовала, что должна ехать, может быть нужна ему будет и на один миг снова почувствовала его, протянула руки и они отяжелели любовью жаждущей и мучительной.

Утром пошла к Никодиму, боялась его не застать и встретила в автомобиле на мосту. Сбежала с тротуара, — Петровский увидел встревоженное лицо ее и остановил машину.

— Случилось что-нибудь, Феня?

— Мне нужно с тобой говорить!

— Калябин?..

— Нет! Я хочу ехать на вскрытие в монастырь!
Я должна!

— Завтра к двенадцати приходи на станцию.

Успокоилось и прошлое потускнело, только чувствовала Бориса и о нем думала.

— Ведь там моя жизнь началась! Хочется посмотреть...

Не договаривала о Борисе, так же как и Никодим, вспомнивший о девушке с большими глазами, мохнатыми.

Помнил, что была в госпитале монастырской сестрой и где теперь, что с ней, — замолчала, может быть позабыла, — даже наверно. И тоже какая-то надежда неожиданности таилась в душе и снова потухала, когда садился за стол в исполкоме, летел в автомобиле в клуб партии, на доклад совнархоза. Ожило это чувство, также неожиданно как и у Фенички о Борисе.

— Я в монастырях не бывал, — интересно взглянуть будет.

И также замалчивал о надежде, может быть, если не увидеть — узнать, услышать.

Платформа набилась мешочниками, — мужики, бабы, по-осеннему в свитах, городские в старых пальто, картузах, шапках, оглядываясь по сторонам. Феничка прошла в толчее, — озирались на ее кожаную куртку и кепку, на короткую шерстяную юбку, в цвет кожи, и шептались, — комиссарша, — ожидала, когда подадут состав.

Какой-то мужик подошел к ней.

— Товарищ комиссар, когда ж подадут-то?! Третьи сутки сидим, продаем, что с собою везем.

Феничке стало смешно, улыбнулась:

— Я не знаю, я сама еду с этим поездом.

— Не знаете...

И снова заискивающе:

— Я тут мучицы везу, — последние сапоги тамбовцам выменял — неурожайные мы.

Отошла в сторону. Состав подползал медленно, — заволновались, подняли корзины, мешки, начали на подножки цепляться — занимать места, и в то же время вошел отряд губчека — с винтовками, через плечо ленты патрон. Афонька заулыбался, увидев Феничку. Вся масса людей, направшая на вагоны, на миг замерла, отхлынула и с отчаянием ринулась в вагоны, кидая в окна мешки, отыскивая земляков криками; несколько человек скользнуло под вагон, не решившись ехать, — заградительный отряд отберет муку, сахар...

Солдаты оцепили последний вагон второго класса, у дверей по два человека осталось с винтовками.

Эхом пронеслось по вагонам, — мощи вскрывать преподобного, и шепотком, — безбожники — инокам не дают жизни, — успокоились, — эти не будут осматривать.

С товарищами и следователем приехал Никодим — к третьему, Афонька дежурному по станции приказал ожидать.

Феничка стояла у открытого окна — вспомнилось, как ездила с матерью и стало весело; кивала головой приехавшим, выдаясь, шутили с ней:

— И шофер с нами, — покатаемся значит.

Больше всего волновался Афонька; велел принести кипятку чайник, входил к красноармейцам, снова выходил из вагона к дежурному:

— На Белобережской остановиться!

Потом махнул рукой и вагоны заскрипели, покачиваясь.

— А я, Фекла Тимофеевна, кипятку запас, — помните, как из Питера ехали.

Пили чай. У моста паровоз задержался и дал свисток — с двух сторон высокий откос, перекидной мост и церковь монастыря женского.

— Один распотрошили, теперь за другими очередь.

Медленно вползали на мост, — город окутан был золотой дымкою пыли — призрачною панорамой; внизу у плотины журчала вода.

Следователь начал прерванный разговор с Петровским.

Петр Петрович Новиков остался следователем. Тугой, жилистый, худощавый, вид суровый, от волнения даже свирепый, — мужиковатый к своей простоте с октавою — увлекался своим делом и за полночь бежал к первому извозчику по свежим следам фиксировать преступление, кричал на родственников пострадавшего, если находил в порядок приведенной комнату и убитого. Ходил один по камерам уголовных, надеясь на свою силу — джиу-джицу изучил, верил в себя и в револьвер. Настоял в революцию не отпускать уголовных, заменял бежавшего прокурора, и когда взяли власть коммунисты, сказал товарищам:

— Мой долг охранять население от преступного элемента! Я не покину своего дела, хотя бы не существовало права.

Кормить тюрьму в октябре было нечем, — гремели двери камер, ожидали бунта. Прибежал к председателю, говорил

горячо, долго, почти кричал и искренностью покори́л Петровского:

— Если мы не накормим заключенных, я не ручаюсь за тюрьму и должен буду всех выпустить, население будет в опасности и вы не застрахованы, что вашим именем будут совершаться налеты и грабежи.

— Все это правда, но у нас нет хлеба — ждать надо. Вы знаете, что сейчас на станции скопилось несколько тысяч солдат, едущих с фронта и мы должны их накормить, чтобы не случилось худшего. Через три дня мы разгрузим станцию, реквизиционные отряды вернутся из деревень, и мы дадим заключенным.

— Каждую минуту грозит опасность, а вы три дня! Знайте, что я ни за что не отвечаю, товарищ!

— Вы подвергнетесь революционной ответственности.

— Тогда дайте мне право действовать.

— Говорите, что нужно?!

— Сейчас же от имени совета издайте обращение к жителям — кормить уголовных, установив срок, кто не имеет запасов, внести добровольно деньги, на заставы пошлите у крестьян покупать продукты.

Уголовные остались в тюрьме, а Петр Петрович, измотанный, исхудавший, не покинул своей работы и начал ездить на следствия от губисполкома, по уездам с комиссией производить следствия о растратах и самоуправстве по взысканию чрезвычайного налога на буржуазию.

Спорил всегда горячо и искренно, верили и прощали резкие выпады — говорил в лицо. Судейские не подавали, при встрече руки.

Резкий баритон Новикова харкал:

— Зачем вы на ответственные места посылаете непригодный элемент?

Старался говорить осторожно. Петровский отвечал коротко, временами увлекался и говорил волнуясь:

— У нас сейчас не хватает людей, вы знаете. Почему интеллигенция не идет работать?! Революции испугались?! И обвиняет нас, что мы посылаем непригодный элемент?

— Вы отрицаете право.

— Буржуазные законы нам не нужны, революция создает новые. Почему же ваши товарищи не участвуют в правотворчестве? Предпочитают латать сапоги, на базаре торговать барахлом и ожидать белых или просто

бежать на юг! Что же честней по-вашему? Почему вы вот работаете?

— Я должен охранять граждан от преступного элемента, это мой долг.

— А долг русской интеллигенции саботировать революцию? Она сама же хотела революции и ликовала в первые дни, а когда пришел народ, она начала уговаривать воевать, ожидая Учредительного, — буржуазная, как и ее лозунги, а рабочему классу не слова были нужны, а дело освобождения от тисков капитала.

— По-вашему, интеллигенция была на стороне капитала?

— Он вскормил ее и его глазами интеллигенция смотрела на народ. Революционные лозунги еще с пятого года жили в рабочих и крестьянских массах — интеллигенция их проглядела.

— Не Милюков ли в Государственной думе крикнул в лицо царской власти — предательство или глупость!

— Это был холостой выстрел, принятый интеллигенцией за революционный лозунг! На этот выстрел и выкрикнули свои лозунги — интеллигенция не приняла их и начала стрелять в рабочих вождей, — расстреливать революцию!

— Это неправда! Виноват террор!

— А кто его начал?

— Вы!

— Да, мы, потому что рабочий класс должен охранять свою власть от контрреволюции, а русская интеллигенция побежала на восток и на юг вместе с капиталистами и помещиками, опираясь на штыки иностранцев, расстреливать мужиков и рабочих вместе с белыми генералами и казаками — снова надеются посадить в Москве царька казацкого!

Так-так, так-так, так-так — отстукивали колеса.

Поезд шел между двух темных стен соснового леса, замедляя ход, — в открытое окно пахнуло смолой. Афонька радостно крикнул:

— Фекла Тимофеевна, приехали!

VII

Огороды взошли обильно. Молодые монахи и послушники с утра и до вечера копались в земле. С заводов привезли лопат и слесарь вместе с механиком провели из речки насос — поливать овощи.

Старики обходили мимо, оглядываясь на Поликарпа, шепча и крестясь.

— Вот Антихриста допустили к себе!..

Выгнали Бориса (Евтихия) от мощей.

— Ступай к своему черному!

Вместе со всеми копал гряды, полонил, поливал — воду носил ведрами. На солнце загорел, мускулы стали твердыми и душа успокоилась. Жил в шалаше караульщиком и зорю встречал раннюю тихо, молитвенно, любясь туманами и росой. Купался в реке и завтракал — кусок хлеба с водой. Начинаясь день.

Поликарп говорил монахам:

— Царствие Божие внутри нас, — любовь к ближнему. Не бойтесь совершившегося, Иисус сказал — сему быть должно, ибо восстанет брат на брата и сын на отца и предаст его... И прежде чем не будет проповедано евангелие во всем мире, не настанет царствия небесного на земле. Не прейдет и род сей, но сбудется сказанное!..

Борис странно смотрел на учителя и боялся понимать евангельские слова.

— Трудящийся достоин пропитания и мы должны трудиться, не ждать подаяния, не быть тунеядцами, не уподобляться рабу лукавому, закопавшему свой талант в землю!

Монахи спрашивали:

— Так зачем же мы будем на стариков работать, кормить их, пускай сами работают.

Черный монах успокаивал:

— Заблудшие овцы... Не злобствуйте, не ведают бо, что творят.

На закате садился у шалаша, доставал из кармана маленькое евангелие, раскрывал его и читал вслух — медленно, невпопад, а главное, останавливаясь на притчах.

Первое время монахи смотрели на него недоверчиво, но постепенно вслушивались и, крадучись, пробивалась новая мысль, — неуверенная, пугливая, но с каждым разом настойчивей и настойчивей — росла, крепла и казалось близким грядущее царствие. Боялись расспрашивать, но ждали закатного часа и тишины, отдыха. В полверсте белел монастырь, уныло гудел колокол, а у реки говорил Поликарп небольшой группе монахов в старых подрясниках, босиком, в потертых скуфейках. На другом берегу стеною темнел лес в вечном шепоте. С лугов медом тянуло,

из лесу смолою, сухими травами и белел полосою песок. Журчала вода прохладою вечера и ложилась роса.

Простоватый послушник Алексей говорил Поликарпу:

— Разреши нам построить келии здесь, у реки — уйдем оттуда, господь же сказал — на всяком месте молиться можно, царствие божие внутри нас.

Поликарп сумрачно сдвигал брови, вставал и заканчивал:

— Не настало время еще...

Монахи расходились молча, некоторые перебирались через речку и спали в лесу. Борис забирался в шалаш, ложился навзничь и не думал, он чувствовал в себе новую жизнь и силу, и успокоенно засыпал, прислушиваясь к тихому шелесту сосен и журчанию воды.

Образ умершей ушел, потускнел, осталось воспоминание, грусть; и где-то жило, к чему прикоснулся и не изведаль, может быть, даже пришло бессознательно в каждом движении мускулов и вылилось в труд, покрылось летним загаром — тонкою чешуей золотой сосновой коры, — лопнет она и брызнет янтарь смолистый, обожжет края завитков и раскроется жить.

В монастырь не тянуло, готов был с послушником Алексеем строить в лесу келии — огрубевшими силой лесной руками. Не думал об искушении и грехе, — белым полотном берегов любовался, купаясь в прозрачной воде утренней. Только грудь иногда тоской давило. Успокаивали работы.

Видел издали Зину и даже хотелось, чтобы зашла, — вспоминал заботу ее и тянулся к городу, к студенческой комнате, — золотые снопы возили полпенцы, — тугие, крепкие.

Прислушивался к топорам и думал, — дом строят, валят сосну.

Старики тоже знали, что мужики рубят лес и шипеди на Поликарпа:

— Как же, послушали, — весь вырубят.

Темным слухом ползло, — с юга придут истинные сыны родины и спасут от антихриста.

Николка ходил к беженке в дачи, — Карчевскую не оставили заводские. Бездомную девушку приютили, — работать на кухне. Зина успокоилась, не слышала больше шепота за стеной и утомленная — без желаний, без мыслей засыпала, чтоб на утро начинать новый день. Казалось, что кончилась жизнь и новой ей не найти без Петровского, —

иногда вспоминала и старалась не думать, — должно быть и он такой же, как эти приехавшие.

К лету снова навалилась тяжесть. В солдатской шинели прибежал Владимир:

— Зина, ты должна устроить меня.

Побледнела и не ответила.

— Сестра, слышишь, что говорю, мне грозит смерть.

Молча достала письмо его и подала.

— Большевичкою стала! Проклятая идиотка!..

Ушел, к осени появился снова. Зина слышала разговоры рабочих:

— Поезда под откос спускают, — сволочи! Никого не нашли — успели бежать.

С солдатскою котомкой пришел к сестре:

— Скажи, что в плену был в Германии.

Беспомощно повторила слова, — не хватило сил отказать брату.

— Жить будет с вами?

— Несколько дней отдохнуть с дороги.

Косились на него недоверчиво, потом не стали замечать:

— Брат Белопольской из плена вернулся.

В лесу встретил Зосю, ожидала Гервасия и не ответила на поклон. Фыркнув, ушел в лес, — до вечера бродил каждый день, переждать, перебыть и снова к полковнику помогать на новом месте. Ненависть и азарт — жизнью играл и было весело издали наблюдать, как с насыпи под откос тяжело ползут, перевертываясь, товарные вагоны и воют сонные люди, а потом начинают стрелять в темноту по невидимому врагу, выползая из опрокинувшихся вагонов. Ставили патрули, исправляли насыпь, а за пятьдесят верст снова происходило крушение.

Вся жизнь Белопольского — напряжение мести и только месть, не существовало больше людей: ни женщин, ни девушек, ни стариков, — здесь только враг.

Николка успокоился летом: рабочие монастырь не тронули, старцам приказал не выходить к гостиницам, а если кто в лес, за реку, в глушь самую за грибами и ягодой.

С Зосею жил, ожидал осени. Приносил деньги. Мать ходила в деревню покупать яйца, масло и каждый раз дочери жаловалась:

— Проси, Зосенька, больше, дорого все, очень дорого...

Мужики брали еще николаевские бумажки, — керенки на фунты вешали.

— Нет ли с портретом, — за такую дешевле можно. У нас теперь хоть оклеивай хату, а радужную уважаем.

Мох дышал осенью, паутины носились волокнами, точно волосы лешего, налетая на лицо; ранние сумерки подымали туман — прятали игумена с Зосей за елями. Возвращались как пьяные, — томила земля горечью пересохших трав, повитых влагою полотна болотного.

— Начнутся дожди — поедем... и мама будет жить с нами.

Даже верила в этот миг, а, засыпая, думала о деньгах игуменских.

По-прежнему на станцию высылалась линейка, возила из гостиниц отпускных рабочих, а к вечернему по привычке — заведено.

В темноте вместе со станционными монахами подошел другой — низенький, в клобуке, толстенький.

— Отца Ксанфия повезешь таечком, слышишь, — ай нет?!

— Слышу!

— Никто чтоб не видел из тех, и прямо к игумену отвези, — понял?!

— Понял...

Тронул вожжами, заскрипели колеса по песку. Возница спросил:

— Из города?

— От епископа... У вас тут заводские живут?.. Комитетчики... ох, последний наш час настал — согрешили мы, — великое испытание...

— Тяжелые времена...

Послушник не решился спрашивать, монах замолчал, осекся. Доехали молча. Белобрысый Костя открыл, мигая сонными веками.

— Отца игумена разбудить надо, скажи — от епископа.

Николка заспанный вышел, тревожно взглянул на Ксанфия, благословились и сели.

— Недобрые вести, горестные, отец игумен...

Ксанфий говорил нараспев: ряса мешком — толщина спала, висел водянистый живот, мешки под глазами и болтался пожелтевший второй подбородок. Дышал часто и тяжело — водянка мучила.

— Благоденствие владыки...

— Владыко пешком теперь ходит, — издеваются... послал меня предупредить.

— Приедет?..

Николка поспешно спрашивал, не мог дожидаться когда Ксанфий окончил тягучее слово:

— Испытание господь посылает обители сей — великое... мужайтесь. Последний час настанет... Мощи преподобного Симеона вскрывать едут...

Игумен точно икнул:

— Мощи?!

За полночь говорили в Николкиной комнате:

— В тайном месте лесном преподобного положить... в тайном... завтра же ночью... Православным сказать — скрылся старец, ушел, не дался антихристу, — сотворил чудо во славу обители...

Игумен закрутил головой с отчаянием:

— Не дадут!

— Тайно, ночью нести — кто же не даст?!

— Иноки!

— Преподобного?.. Богоотступниками не могут быть...

— Черный не даст, Поликарп.

— Покарать судом праведным... во имя славы господней, яко нечестивца поразить...

— У него приспешники.

— Из гостиницы?!

— Иноки!

Ксанфий всплеснул руками, затряс головой, светло-рыжие волосы разбежались прядками. Огляделся по сторонам, подошел к двери, прикрыв ее в темноту:

— Никого нет?..

— Костя...

Монах взглядом спросил, — надежен ли.

— Как могила.

— Надо унести, надо, господь вразумит, наставит.

Распрашивал игумена о Поликарпе и ухватился за мельницу и за его огороды — каждую мелочь распытывал, растягивая слова, и неожиданно хлопнул себя рукой по лбу — глаза сощурились, и казалось, что смотрят из-под мешков черные обода щелистые:

— Вразуми, настави, сподоби раба недостойного.

Дотронулся одутловатой белой рукой до Гервасия, наклонился и, восторженно заикаясь, потянул к себе игумена.

Долго шептал, оглядываясь на дверь, у Николки разгорелись глаза и когда Ксанфий кончил — не вытерпел, крикнул:

— Конец Антихристу!

— Только чтоб в ту же ночь, а на станции караулить — недреманное око верное...

Ксанфий лег на диван в приемной, Николка, не раздеваясь, в своей комнате и не заснул, почувствовал, что конец и если теперь не уедет с беженкой, погибнет здесь. До утра думал, а утро началось — тревожное, суетное.

VIII

В непогожие дни в шалаше оставался Алексей-послушник, Борис уходил в келию Поликарпа.

В монастырь доносилось — революция, коммунисты, расстрелы, оскудение городов, пожары усадеб. Смолянинов смятенный ходил, пытливо смотрел на учителя. Приходя в келию, огрубевшими руками раскрывал евангелие, читал и, волнуясь, ходил из угла в угол. Останавливался около Поликарпа и спрашивал взглядом — что творится?

Черные брови сдвигались, просекая стрелку в переносице.

— Услышите о войнах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Восстанет народ на народ и царство на царство и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и проповедано будет сие евангелие царствия по всей вселенной!..

— Да, это сказано, но разве не сказал Иисус — воздайте кесарево кесареви, а божие богovi?!

— Он отверг и то, и другое. Отверг и уплатил дань трудом, поймав рыбу, стойвщую дань положенную. Ни церкви, ни государства!

— Анархия?..

— Нет. Он проповедывал свое царство, грядущее, — свою власть, свои законы, призвав рабов — униженных, оскорбленных, и говорил — кесарево отдайте кесарю, создайте свое и платите свою дань трудом, ибо только трудящийся достоин пропитания; отверг и церковь торгашей и дань церкви, обещал разрушить Иерусалимский храм и в три дня воздвигнуть храм церкви живой в духе и истине.

— Кто же был Иисус? Смирение и всепрощение...

— Тот, кто изгонял бичом торгующих, не мог бессловесным быть...

— Кто же он, кто?..

— Вождь!

Мучительно стучало в висках, ломалось внутри — рушилось, хватался испуганно за слова Поликарпа и, ужасаясь, замолкал.

В соборе ночное бдение, лампы коптят и тягучие слова умирают в куполе, стены плывут осенним холодом. Игумен с воспаленными глазами из алтаря подает возгласы, сгорбленные старики отвечают на клиросах. У колонн и у стен шуршат черные тени поклонами, косматые головы ударяются лбами о плиты каменные.

Борис возвращался, не входя в храм, спрашивал:

— Где же истина?

— Там, в мире, среди людей, в революции.

— А он, он — с ними?

— «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос!»

— Кошунство!

— Пророчество. Понимание истины дней великих!

— Он не мог с ними идти, — любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас.

— В грядущем его царствии, когда евангелие будет проповедано во всем мире — не будет рабов, рожденных ненавистью и злобою. Это сказано также тем, кто должен проповедывать его царствие — любите врагов ваших, ибо всюду враги его, проклинающие его учение, но будьте тверды и крепки как Петр — камень, только на камне — силою утвердите грядущее царствие на земле.

— Поднявший меч, от меча погибнет...

— Помни, — не мир, но меч, — будут отдавать вас в судилище, поведут к правителям и царям и умертвят, но сами же погибнут от своего меча! Учение его — мир и любовь, но прежде чем это настанет — проповедуйте и будьте мудры как змии и кротки как голуби, и если будут вас гнать в одном городе, бегите в другой и не смирием, а силою, — не царство рабов, а рабы восставшие, ибо много было призванных, но мало избранных, и дано неимущему будет. От дней Иоанна Крестителя доныне царствие небесное силою берется и употребляющие усилие восхищают его.

— Насилие? Диктатура?..

— Во имя грядущего царствия. Кто не со мною, тот против меня! Ибо никто не может служить двум господам — богу и мамоне — и только царство труда и равенства. Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И во имя его предаст брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на

родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми народами во имя мое. И в каждом слове, в каждой проповеди — суд, гесна огненная, не мир, но меч. Сеющий доброе семя есть сын человеческий, учитель и вождь; поле есть мир; доброе семя, это — сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого, зла, враги. Во время ж а т в ы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы с ж е ч ь их — врагов, — а пшеницу уберите в житницу мою. Отец, мать и братья мои, моя семья, тот — кто мой ученик, унаследующий грядущее царствие, уготованное от создания мира.

— А православная церковь, — апостольская?

— Суббота для человека, а не человек для субботы и забота века сего и обольщение богатства заглушили слово. Мир дрогнул, когда умирали, славя его, в коллизее рабы, и не выдержали бы, если бы не пришел Павел, патриции и жрецы, спасавшие свою власть и богатство и не сделали слова человека для субботы и не создали новых богов и храмов, пока не пришли новые назареи.

— Кто же они, кто?..

— Ученики вождя и учителя!

— И он с ними?..

— В них!

— «В белом венчике из роз»...

Оторвался от мысли, схватился за голову — кожу иглами стягивало, казалось, что шевелятся волосы.

Поликарп впился глазами в Бориса:

— Знаешь теперь?

— Господи!.. Господи!..

— Неразумных дев не признал жених царствия!..

— Что же мне делать?..

— Иди! Потерявший душу свою ради меня — сбережет ее. Помни: кто не со мною, тот против меня.

Поплавок в конопляном масле и полумрак — густой, сумрачный, нечем дышать и почти заглушенный крик Смолянинова:

— И я должен?!

— Во имя грядущего царствия!

И снова начал цепляться за рвущиеся корни божественного. Говорил почти шепотом — обуял ужас, не мог сочетать бога и его заповеди, на одну минуту показалось, что перед ним дьявол — черный, большой, взгляд огненный.

Дрожащим шепотом возразил:

— Воскресший господь, спаситель Иисус Христос?!

— Человек. Гениальнейший.

— Господи, господи...

— Слушай! Давно, с юности — целую жизнь свою носил я внутри, веруя и преклоняясь. Как мечта... Прекраснейшая поэма всего человечества — Иисус. Не знавший отца своего — назвал себя сыном человеческим, сыном Божиим. Суровая жизнь бедняков, верстак, золотые стружки, воркующие на крыше голуби, весенние лилии, осенние гроздья в долине, над крышею шелестящие пальмы, шапка белых и розовых олеандр — поэзия трудовой жизни, родившей любовь, горящая древней заповедью — возлюби ближнего твоего, как самого себя. И рядом — Израиль, рабство родного народа и пустынная Иудея, спаленная ветрами хамсина, карающие слова пророков и чаяние мессии, избавителя от пришельцев Рима — мечта и подвиг. На плоской крыше, после скудного ужина: кисть винограда, десяток фиников и кусок хлеба; кровавый закат в далекой пустыне и мысль, неотступная до страдания: только вождь спасет свой народ от ига. Редкие путешествия в Иерусалим на праздник пасхи, — роскошь большого города, живого, суетного, продающего в рабство красивейших девушек угнетателям, — будущих матерей народа и разврат патрициев, насилия воинов, — не ведают бо, что творят. Моисей — вождь и пророк, законодатель и первосвященник, творивший чудеса и чудом выведший Израиль из Египта, и только такой же человек может быть снова вождем не только своего народа, но всего человечества. Филон об Израиле говорил: закон Израиля обращается и к варварам, и к грекам, обитателям островов и континента, Востока и Запада и ко всем людям, рассеянными в разных пределах вселенной. Закон Моисея подобен солнцу среди звезд и только этот закон может стать законом света. Законодатель Израиля искал свои правила не в особых и переменчивых условиях жизни одного государства, он почерпнул их из природы человека, чтобы они могли стать основой для государства вселенной, потому что человечество есть единый народ, долженствующий иметь одну власть и один закон. Идея всемирности ожила в Иисусе. Быть вождем и пророком не только своего народа, но и заблудшихся — несть бо еллин и иудей. Страна болеет ненавистью к покорителю, пророки в синагогах и на дорогах проповедуют о мессии, об избавителе. Иисус слышал их, видел и горел мечтою. И только чудо,

пророк, творящий чудеса, второй Моисей, может повести Израиль и человечество к избавлению. Народ, вышедший из Египта, из колыбели мудрости, принес в себе заповеди Лейденского папируса — любви, милосердия и прощения — рабство создало мечту избавления, мечту равенства и свободы и право на труд, — трудящийся достоин пропитания. Он видел нищету и жил в ней, его младшие братья, полуголые, изнуренные, копающиеся перед домом в пыли — Иаков, Иосий, Симон, Иуда и сестры его — залог к равенству. Пророк, вождь — путем чуда. Караваны, проходящие через Капернаум из Египта и Сирии — на восток, в Персию, Индию, волхвы и маги, — творящие чудеса Моисея, превысившего и посрамившего мудрецов, превращая змею в жезл. И каждую минуту свободную — библия, учения пророков, мечта мессии. Труд, природа и свитки писания, — Иисус возрастал и укреплялся, исполняясь премудрости, как говорит апостол Лука, ученый врач. Высокий, черный, с горящими ярко глазами — мечта о мессии, мускулистый и порывистый — ожидал своего часа, когда в год совершеннолетия он предстанет в иерусалимском храме перед книжниками и решится его судьба. Знание библии и пророков, — все что сказано о мессии, — поразило их. Вера в себя, в свою миссию и судьбу. Но свет — на востоке, на пути караванов, и если не постигнет мудрости Моисея, — после совершеннолетия выбор жены и ремесло отца приемного. На силу и красоту заглядывались девушки и слава о мудрости привлекала богатых и знатных в дом труженика, желавших иметь его своим зятем. Смятенная мать ищет три дня, спрашивает знакомых о нем и находит в храме. И в первый раз — горячо, гневно, — зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? — На всю жизнь остались памятными слова Иисуса матери. Но снова толпа, шум праздника и востока и путь через Капернаум с караваном в Индию. Мудрейший из юношей, беглец от семьи и посланный мудрецами изучать истину.

— Он ушел? Из дома родительского?..

— Да, — после совершеннолетия и до тридцати лет ни звука о нем, ни одного слова. Моисея возвеличила дочь фараона и царица Хачепутс, возведя его в первосвященники в храме Гатор на горе Синае — спасенного ею любимца из вод Нила и он там на каменных глыбах написал свой завет — Библию и после смерти правительницы вывел

народ Израиля. Он был вождем народа-раба, вождем строителей пирамид — еврейских рабов, изувеченных плетью надсмотрщиков, и он дал им новый закон бога невидимого — заповеди любви, милосердия и прощения Лейденского магического папируса и произвел первую революцию, — уведя свой народ творить новую жизнь. Для Иисуса тоже нужна была страна таинственного и неразгаданного, страна волхвов — и отзвуком, мифом, одним намеком — поклонявшиеся в Вифлееме волхвы. Новая революция — где человечество единый народ вселенной.

— Где же он был? Кто об этом мог знать?

— Древние свитки тибетской библиотеки Лхассы, Далай Ламы.

— Путь его, путь?

— Через Персию с караваном. И в глуши Гималайских гор Кашмира, в буддийском монастыре Himis, в суровой стране ледников, научился он «исцелять молитвами, изгонять из тела человека злого духа и возвращать ему человеческий образ». Вот где провел Иисус, — Исса, — семнадцать лет. Из Джаггерната в стране Орсис в Раджгарих, Бенарес, в страну Таутамидов — родину Сакиа-Муни, — превзошел Моисея, — и оставив Непал и Гималайские горы, спустился в долину Раджпутана и на запад, проповедуя грядущее царствие на земле, — в Палестину, в родной Назарет.

— А воскресение его?.. Он же воскрес?

— Воскресение его — Моисеево чудо, — чудо вождя, чтобы прославить свое учение и сохранить в веках.

— А все чудеса? —

— Все были! Первое — в Кане, — воду в вино. Быть может, в первые дни радости возвращения, вместе с матерью и своими братьями. Но потом, когда прозвучали слова первой проповеди в родном Назарете — слушавшие его в синагоге исполнились ярости, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он прошел посреди них, удалился, — сила взгляда его приковала к земле разъяренных людей. Потом, проходя по пути, Назарет в другой раз, он с горечью говорит — не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у родственников в доме своем, — в Назарете в него не поверили. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И он не мог совершить там

никакого чуда. И на всю жизнь — горечь, и разрыв с семьею. Мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто мать моя и братья мои? И указав рукою на учеников своих, сказал: вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет моим учеником, тот мне брат и сестра, и мать.

— Учитель, но Иисус был искушаем в пустыне?!

— Долгий путь с караваном через пустыню, пешком, в сыпучем песке горячем, когда вязнет нога и раскаленные зерна обжигают сквозь сандалии ступни; черные ночи, отдых под четким узором звезд и снова солнечный шар и миражи полдневные и чем ближе к Израилю, тем острее мысль, и миражи ума — действительность. Во имя мечты, — вождя, пророка, мессии, — семнадцать лет в стране Инда и Гималаев, в вечном поиске мудрости и знания тайны творить чудеса, только чудо создаст мессию, только чудо сохранит учение и имя вождя будет овеяно славою и преклонением. Верующий в себя, в свои силы — взглядом остановить толпу, взглядом заставить поверить, что в кувшинах вино сладчайшее, опьяняющее пирующих, взглядом — заставить увидеть полные рыбою сети, почувствовать тяжесть их. И в пустыне мираж мечты аскета — жизнь для себя, богатство, слава, может быть все царства мира, знанием творить чудеса, повелевать взглядом — быть сильнейшим из всех людей в Израиле. Но мечта о вечной славе во всей вселенной, мечта о вселенском государстве единого человечества тою же силою чуда — сильней искушения личного благополучия, личной власти, преходящей во времени. Он отверг эту мысль и чем ближе подходил к Иудее, тем больше росло и крепло сознание мессии, вождя, пророка, силой того же чуда. Силой его приковать весь мир, тысячелетия и народы, и собрав по крупинкам древние, изначальные истины человечества о любви и братстве, о равенстве всех людей и наций — вдохнуть в эти слова древних папирусов, клинописи, палийской мудрости новую силу, оживить мир, воскресить — воскреснув. Вот чудо — неведомое в Израиле, и к нему — через пустыни и горы во имя проповеди мессии всего человечества.

Борис, затаив дыхание, боясь пошевелиться, слушал монаха и по-новому вставали перед ним евангельские слова, чудеса Иисуса и жизнь его.

— Не для богатых, не для книжников и фарисеев церковности он пришел, а спасти погибающее от насилия и обмана властей и церкви, отвергнув и первое, и второе. Призвал учениками своими бедняков — людей труда и нужды, пошедших во имя его учения на пропятие; только такие могли быть его спутниками, верившими в силу его, — призвал, сотворив чудо. И три года, не преклоняя главы, учил, исцеляя больных, творя чудеса силою взгляда, постигнутым знанием у берегов Инда. Толпы народа ходили за ним и имя его знал Израиль, ожидая избавления от угнетателей Рима. Восторженные, влюбленные женщины служили ему своим именем, — знатные и богатые, падшие и чистые сердцем ловили слова его, разделяя с ним и с учениками его ночлег под открытым небом и скудную пищу странников, — Мария Магдалина, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна. И три года — изо дня в день он говорил им о чуде, — без знамения вы не поверите в меня, как в мессию, но знамение вам дано будет — как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.

— О воскресении...

— Да, о воскресении, о чуде большем, чем все чудеса Моисея и халдейских магов. Он знал, что если он будет проповедывать долго и народный гнев выльется восстанием покоренных — мечта погибнет, железные когорты врагов раздавят Израиль, и время его пришло, — его считают пророком и вождем, но чтобы сохранить всему человечеству прекрасную мечту о свободе — нужно теперь же сотворить чудо, сотворить и уйти, исчезнуть, не дожидаясь бесславной смерти.

Потрескивал фитиль в конопляном масле, и черная тень монаха, волнуясь, ходила по стенам келии, — черный, большой — горел словами, сжигая прошлое ученика своего — Бориса.

— И только близкий, молчаливый и верный, друг тайны, разделит его судьбу — предаст в руки врагов, во имя идеи, на всю жизнь, во все века клейменный предателем. С горечью, с болью, любя, Иисус сказал: горе тому человеку, которым он предается, лучше бы ему не родиться, — но тайна любви, — оба шли на страдание, — вера в силу учителя и непреложность его учения связали Иуду и Иисуса. Но был еще третий, не менее близкий и любимый учителем, — Лазарь. Дом отдыха и тишины,

овейный любовью к Иисусу, — влюбленная Мария, слушавшая и любовавшаяся учителем, Марфа заботливая, воркующие голуби, широкий шатер шелковицы, стол в тени вьющегося винограда... И верность учителю до конца, до смерти. Испытать самому, первому — может быть погубить себя, остаться посмешищем, стать обманщиком, — нужно наверное, чтобы чудо воскресения осталось векам и не погибло учение. И вот — бездыханный Лазарь, плачущая Мария и Марфа, — если бы ты был с нами, брат наш не умер бы. Взволнованный, пришедший к Лазарю по истечении трех дней узнать, испытать прежде чем самому сделать то же, Иисус идет к пещере, приказывает отвалить камень: — Лазарь, иди вон! В смертных пеленах вышел воскресший, и сейчас же Иуда, уверовав в действенность чуда, в возможность его и силу учителя — ушел совершить подвиг предания, по воле Иисуса. Мария, знавшая о предстоящем страдании, отдавшая Иисусу всю свою душу любящую, благовониями умастила учителя и богатство свое — волосы — принесла в дар, согревая дыханием своим ноги учителя, утирая их шелковистой волной. Большой любви никто не дал непорочному.

— Лазарь воскрес!..

-- Так же как и Иисус! Это чудо было причиной, — собравшиеся первосвященники и фарисеи устами Каиафы изрекли, — лучше, чтоб один человек умер за людей, сохранив имя его и учение в тысячелетиях. Иуда ускорил, ибо символом начала грядущего царствия — новое избавление от рабства — не день исхода Израиля из Египта, а день его воскресения, первый после субботы опресноков. На диком молодом осле с толпою учеников и верующих он пошел в храм и дал повод, изгнав торгующих. Тайная вечеря в день предания и снова слова, — взволнованные и нетерпеливые мечтою исполнить и сотворить чудо: что делаешь — делай скорей; если любишь меня и веришь. — решайся! И на масличной горе в Гефсиманском саду — в месте условленном, он ожидал своего друга-предателя. Покинув учеников, уединился и, заслышав говор людей, увидев свет факелов, совершив великую тайну Инда и Гималаев, пошел навстречу к Иуде. В одну ночь — допрошен и осужден, и в ту же ночь Иуда с презрением бросил тридцать монет торгашам обратно. Сильный духом и телом аскет пригвожден — гвозди глубоко в ногах и руках, но раны бескровны, — чудо волхва, большего чем Моисей, и сейчас же почти глубокий транс: и крик всему

миру: свершилось! Рана копья сотника Петрония — следы крови и признак жизни. Тайный ученик уведомлен и испрошено тело Иисуса; удивленный Пилат: по два дня на крестах мучаются и не умирают, — отдает его Иосифу Аримофейскому. Иосиф и Никодим сняли его с креста, помазали благоуханиями, обвинили новыми пеленами и положили в саду Иосифа, члена еврейского синедриона, в новой гробнице в скале, куда кроме близких, никто не мог войти. Солнце еще не взошло — у отваленного камня, рукой верного, Мария Магдалина, Мария из Вифании, Саломия и Иоанна, жена Хузы, с любовью и благовоениями. И в полумраке пещеры, еще в пеленах белых, — не бойтесь. Того, кого вы ищите, — нет здесь. Он воскрес. Почему вы ищите живого среди мертвых? Помните, что он сказал вам, что должен встретить вас в Галилее, говоря вам, что сын человеческий должен быть предан в руки врагов, распят и в третий день воскреснуть. Идите и скажите братьям, что Иисус воскрес из мертвых и они скоро увидят его. Смятенные страхом и ужасом бегут из сада женщины и только Мария Магдалина — возвращается снова к могиле — еще раз взглянуть... Встретила... Боялась говорить, руки ее коснулись раненых ног, ощутили его — живого. Иди к братьям моим и скажи им, чтоб они шли в Галилею. Там они увидят меня. Чудо вождя, пророка, учителя, большего чем Моисей, снова собрала учеников его, осылавших раны его и тело и снова он ел с ними рыбу и хлеб и пил вино, как на тайной вечери. Воскликнул Фома: господь мой и бог мой, и последняя заповедь грядущего царствия, — блаженны не видевшие меня, но уверовавшие в меня и мое учение...

— Грядущего царствия...

Шепотом, содрогаясь, с раскрытыми глазами от ужаса прошептал Борис.

— И наши дни — второго пришествия, когда должно быть проповедано евангелие труда и свободы во всем мире!

Одними губами — запекшимися и пересохшими:

— И они... они...

— Назареи грядущего царствия на земле, когда иные чудеса не нужны, кроме свершающегося, ибо это — величайшее — пророка, учителя и вождя.

Нечем стало дышать, пошатываясь, отворил дверь и вышел во двор — и неясный шум леса, как далекие голоса людские — радость и плач, смерть и рождение, а горьковатый запах сосны в осеннем воздухе влажном — вино жизни и грядущего царствия.

Ношу всей жизни передал Поликарп близкому, — молчаливо носил мечту о грядущем царствии, о всеуниверсальном вожде — мечтателе и символизме. Потрескивал поплавок в конопляном масле, открытая дверь зияла тьмой.

Дышал глубоко, мерно, опершись руками о стол, и сразу тревожно стало, обернулся, от неожиданности вздрогнул.

Медленными шагами в открытую дверь Костя вошел, долго мигал красноватыми веками сзади монаха черного.

Целую жизнь молчал послушник бессловесный и не выдержал — крадучись, озираясь, даже стучать не пришлось, вошел в темную келию, — не умел говорить, не знал как начать, боялся пошевелиться, — длинные сухие руки висели беспомощно, растрепанные ветром редкие белые волосы повисли длинными прядями, губы бескровные шевелились, беззвучно безвольным дыханием и весь — жалкий, замученный, — по ночам плакал, шелестя вздохами: целую жизнь — жалость к себе и мучения расслабленного о грехах. От беспомощности слезы навертывались на глаза, когда об игумене думал — перед глазами невиданное мелькало греха смертного и шелестящие деньги — цена жизни, взятая у кого-то Гервасием.

Бездомный сирота уличный боялся просить милостыни и таскал на базаре в лабазах в людской сутолке куски хлеба, баранки, яблоки. Пряча за пазуху, озираясь по сторонам, на свалочном месте жадно глотал краденное, не разжевывая. Ловили — трясся бескровным тельцем, мигая глазами белесыми, и покорно переносил побои. Бессловесного приказчики били чем попадая смертным боем, вышвыривая на дорогу. Подбирала его торговка-хренощица, мочила грязную тряпку в воде, в которой хрен вымокал, и оттирала окровавленное лицо. Взяла его на богомолье с собой. Теплый хлеб монастырский и квас — не ворованное — слаще меда.

В монастыре затерялся — оставили служкою.

Тыркали, погоняли, на побегушках каждому, но хлебом не попрекали бездомного. Плакать начал мальчишкой у Ипата гундосого в келии. Не поднимал по утрам головы на монаха, стыдом покрывалась душа оплеванная, казалось, что легче смертный бой вынести, и когда первый раз при монахе заплакал, вздрагивая тельцем худым, точно девичьим — монах, тяжело дыша, прогнусавил:

— Эх, дурында, — выгоню вот, — куда денешься?!

На всю жизнь над душой нависло:

— Выгоню!

И монастырский хлеб дармовой поперек горла.

Бегал к Ипату на трапезу за обедом, встречал взгляды насмешливые — холодело сердце.

Заплаканного Ипат ненавидел и, грозя кулаками, кричал:

— Выгоню! Замолчи, выгоню!

Появлялся Евдокий и белобрысый отдыхал, лежа пластом в каморке, — не ел, не пил — стыдом мучился.

Бессловесный вытерпел до Ипатовой смерти — пожалел Николка его, взял игуменским послушником и тоже сказал:

— Выгоню, если будешь брехать про игумена! Слышишь, — выгоню!

Каждому говорил Костя:

— Я не знаю, не слушал, не при мне было сказано!

Смертный грех казался проклятием и неотступно к душе подступал — плакал по утрам и подслеповатые глаза мигали беспомощней.

Николка шутил добродушно над послушником:

— Должно быть ты, Костя, втихомолочку согрешаешь!

Костя опускал голову и молчал.

— В малинник бы прогуляться пошел, а то высохнешь, обескровишь себя.

Неподвижно мигал глазами — гудело в ушах и хотелось плакать.

— Ну, ступай, — я пошутил, Костя...

Целую жизнь в келии полутемной дышал ладаном, сыростью каменных стен. Подслеповатые глаза видели все, знали; привык к молчанию и тишине и шепотом сказанное слышал до последнего звука, — слышал, видел, молчал. Жил позабытый, не напоминал о себе никому и мучился. Помнил дни обретения старца и приготовления, — глядел в землю, избегал игумена и пугливо смотрел на приходившего Поликарпа, от взгляда его дрожал, ловил каждое слово властное, черный монах заслонил жизнь Костину и когда Ксанфий шептал игумену — вышел ночью неслышно сказать.

Поликарп вздрогнул, вскрикнул на Костю:

— Что тебе?!

Худые руки безвольные, защищаясь от горящего взгляда, протянулись, дрожа, вперед, Костя согнулся и изнеможенным голосом прошептал:

— Инок погибнет предаваемый Ксанфием и игуменом братии...

— Кто?

— Смиренномудрый учитель наш...

Суровая жалость монаха подняла Костю с колен:

— Встань!

Послушник поднялся, — слепыми глазами видел взгляд Поликарпа.

— Поднявший меч от меча погибнет!

Костя опять поклонился, коснувшись рукою пола.

— Ступай. Я ничего не боюсь! Без воли божией волос не упадет с головы человека. Великие дни настали пришествия...

Неслышно ушел бессловесный послушник, сказавший за всю свою жизнь несколько слов Поликарпу. Шептал в сумраке келии, уходя:

— Великие дни, великие...

В открытую дверь вернулся Борис, напившись осеннего воздуха тления хвои и трав лесных. В ушах еще звучал голос учителя, — в эту ночь увидел его вдохновенным. Не мог воспринять: в один миг разрушилось прошлое и не вошло новое от безумной мечты учителя. Мучило, — мощи, мощи, мощи...

— Спрашивай, ответу на все.

Одно только слово...

— Мощи!..

— Чудо во имя грядущего царствия...

— Чудо...

— Но когда настали дни второго пришествия — великие дни царствия, — оно само станет величайшим чудом и все чудеса, созданные человеком, померкнут перед ним, рассыпятся в прах и человек сотворит последнее чудо пришествия — вселенскую революцию.

— Он снова придет?..

— Да. Он среди всех — невидимый, вдохновлявший первых провозвестников наших дней — Бабефа, Фурье, Сен-Симона, положивших первые камни грядущего царствия...

— Утопии...

— Такой же как и в дни Иисуса воскресшего.

— Уснувшего?!

— Летаргический сон мог продлиться неделю или одни сутки, а чудо — три дня, определенных заранее самим Иисусом, но ученики его ничего не поняли, слова эти были

для них сокровенны и они не разумели сказанного, так же, как чудо с Лазарем. Сестры послали сказать ему: господи, вот, кого ты любишь, болен. Иисус не пошел исцелять Лазаря, а сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе божией, да прославится через нее сын божий. Не пошел, а пробыл два дня на том месте, где находился, после чего сказал: пойдите опять в Иудею. Лазарь друг наш уснул, но я иду разбудить его. Лазарь умер! И воскрес так же, как и Иисус — через три дня.

До глубокой ночи слова Поликарпа и смятение непостижимого у Бориса. Новый образ вставал — вождя, учителя, сотворившего чудо во имя грядущего царствия.

Выходил на крыльцо, слушал глухой предутренний шум леса и рвалась душа к гулкому шепоту голосов, исходивших из земли:

— Через кровь зачинается человек, омытый кровью рождается в мир — воскресает для новой жизни и новая — через кровь и страдание революции в грядущее царствие — руками учеников вождя устрояется.

Бессонная ночь и утро — сырое, мутное.

Некогда говорить, думать, — на огород у реки Поликарп с Борисом и с близкими.

Хрустящие туго кочны — на воз, и близким слова:

— Не противьтесь, будьте спокойны, не слушайте неразумных, волнующих и искушающих истину. Ибо всему сему надлежит быть.

— Не выходить из келий?

— Не собирайтесь группами, не возбуждайте видом своим волнения. Каждому отвечайте — трудимся.

По келиям с утра глухим шепотом разносилось:

— Не дать святыни господней на поругание...

— Умереть у раки преподобногр...

— Чудо сотворит, великое чудо... ожидать знаменья...

Ксанфий заперся с Аккиндином-лавочником.

— К ночи идти с надежными, под великою клятвою.

Лавочник потирал руки, пощипывал седую бородку клинышкoм:

— Хозяном стал — властвует, искушает братию — маловеры разбегутся в страхе, погибнет антихрист, погибнет...

Старцы собрались в скит совета испросить у Акакия.

Дожидались его у двери.

Ветер гудел в лесу по-осеннему, хмуро над самыми соснами разрывались облака клочьями, заплетаясь туманом.

ном сырым по стволам. Налетал вихрь, и тучи разорванные, казалось, неслись, вырываясь из лесу, из-под корневищ мохнатых клубами дымными.

Мантейные старики перешептывались:

— Унести преподобного на место успокоения в старый храм.

— В склеп замуровать!..

— Приспешники черного не дадут!

— Не смеют — гнев преподобного ляжет на них снопом огненным.

Досифей, опираясь на суковатую палку, тряся горбом, шепелявил:

— В леш унести, — в потайное мешто ш пешнопением положить — ночью... нешти шо швечами вожженными — вшей братии.

Акакий с трудом поднялся с деревянной скамьи. Высокий, худой, с нашитыми черепами белыми, с длинной бородкою полотенчиком вышел на крыльцо, молча выслушал мантейных монахов и, прислушиваясь к бушевавшему ветру, смотря поверх клобуков черных на рвущиеся нависшие тучи, сказал внятным шепотом, блеснув рядом крупных желтоватых зубов:

— Не искушайте господа!

Сразу заговорили все, перебивая друг друга. Хриплые голоса, как скрипучие сосны, возражали старцу:

— Антихристам на поругание...

— Преподобного Симеона...

— Обитель... братию...

Досифей толкался между монахами и шипел, постукивая по земле костылем:

— Шлышали, штарцы, шлышали... не ишкушайте гошпода, ижрек иштину штарец наш, ижрек иштину.

Лицо его собиралось в складочки и дергалось от озлобленности.

Акакий долго стоял, слушал стариковскую перебранку и не ответил ни на один вопрос. Потом, строго взглядываясь в Досифея, — протянул руку. Братия замолчала. Досифей суетно и тревожно смотрел на монахов, глаза ширились и бегали из стороны в сторону, рука с костылем дергалась и костыль постукивал по сухой земле, попадая на камень и взвизгивая железным концом.

— Не искушайте господа, ибо житие человеческое — суета сует и всяческая суета.

И замолчал.

Снова заволновались монахи:

— Сходить за игуменом...

— Пусть игумен решит.

Худой костлявый старик побежал за Гервасием, вернулся и сказал, что игумена нет.

— Спрашивал я — никто не знает где, отлучился. Вратарь не видел. А на конюшне смеются. Великое испытание господь посылает на нас.

— Костя знать должен, Костя!

— Бессловесный молчит, только глазами хлопает.

Досифей прошипел:

— Черново пожовите, черново...

— Антихриста?!

— Он виною вшему, его спрашивать... Шмиренномудрого!..

Уныло разбредались старики, растерянные и ропщущие.

Акакий закаменел и не двигался, пока последний монах не скрылся за калиткой скитской, потом поднял голову, повернулся и, входя в келию, прошептал:

— Суета сует и всяческая суета.

Лег на лавку, вытянулся — длинный, сухой; сложил на груди руки и, молясь про себя, шевелил губами бескровными. Взгляд остановился на одной точке и занемел.

Васька с утра бегал по монастырю — лохматый, в старом подряснике, прислушивался к каждому слову и бормотал:

— Господи воззвах услыши мя недостойного!.. Услыши мя, господи! Кончина мира сего настала — да грядет сын славы и да поразит Антихриста, да сотрет главу змия... Господи, господи!..

Выбежал вместе с монахами из скита, обежал монастырь, увидел идущего с огорода Поликарпа, замахал руками и обратно бросился:

— Антихрист грядет, антихрист...

Ворвался в скит и, дико оглядываясь, спрятался в келию старца Акакия. Остановился с открытым ртом испуганный молчаливым схимником. Остановившиеся глаза подернулись мутною пленкою, а сцепленные на груди пальцы покрылись морщинами и ногти посинели слегка — полукругами.

Васька раскрыл широко глаза и крикнул, падая на колени подле дубовой скамьи:

— Акакий, скажи, вразуми, настави.

Старец молчал, в открытую форточку дул ветер и шевелил кончик бороды полотенчиком.

Блаженный стукнулся лбом о скамью, труп беспомощно покачнулся и снова замер.

Васька выбежал из келии. Не бормотал, как всегда вполголоса, а точно смерть Акакия разрушила в нем право кричать и бесноваться по-старому — горе свое выкрикивал каждому встречному:

— Преставился старец!.. Преставился!

Черные тени шныряли в сумерках.

У Аккиндина собрались рясофорные старики и ждали рыжего Ксанфия.

В новом соборе непрерывная служба, — тускло, темно, слепнут глаза от титл — каждый огарок теперь на счету. Над ракою преподобного зажжены три лампы — рельефное серебро хмуро блестит скупым блеском, черная фигура парчевою пеленой закрыта и взблескивает на голове белые черепа. В куполе шепчут слова и расползаются отзвуками по темным углам. Одни монахи сменяют других. Издали смотрят на раку; ждут и молят о чуде.

Ксанфий пришел к Аккиндину с игуменом, случайно нашел его.

Николка в ночь приезда рыжего Ксанфия не заснул. До утра шелестел и тихо звенел деньгами.

После открытия мощей и в годы войны собирал золото, выпрашивая у купцов, складывал тонкими стопками, менял в монастырской казне сотенные свои, проверял кружки, выискивая монеты.

Тонкий луч из замочной скважины падал в приемную, где всхрапывал Ксанфий, тяжело поворачиваясь на диване.

Костя вернулся от Поликарпа бесшумно, заглянул в приемную — тонкая нить света звенела золотом. Подошел к двери, прислушался — в тишине ясно монеты цокали.

Коротко, несколько раз постучал в дверь, молитвя.

Николка вздрогнул, толкнул стол — высокая стойка пятирублевых качнулась и поползла на пол, раскатываясь по углам. Игумен побагровел, выскочил из-за стола, рванул дверью:

— Кто тут? Что нужно?!

Костя, мигая глазами белесыми, молча вошел в спальню игумена и остановился у двери.

Николка накинулся на него, загораживая собою стол:

— Что тебе нужно?

Белобрысый послушник наклонился и прошептал:

— Звали меня...

— Не звал я тебя, не звал.

— Послышалось мне...

И сразу мелькнула мысль у игумена, — отошел к столу.

— Помоги мне собрать.

Вместе ползали на коленях; тускло мигал огарок восковой в руке Гервасия. Собирал по полу золотые и говорил шепотом:

— Приедут и отберут антихристы, жидам достанется... Закопать надо, спрятать в лесу, — для братии...

Костя молча подбирал золотые кружки и клал на стол. Обшарили все углы, собрали.

— Ступай, Костя, спи!.. Я не звал.

Бессловесный послушник вышел. Николка, не считая, сыпал в кожаные небольшие мешки, взвешивая на руке, улыбался мыслям своим тревожно, — на всю жизнь хватит мою... и Зосину.

Заколебался в окне полумрак утренний, зазвонили к утрени, — мешки опустил в карманы исподние, железную из-под чая коробку с бумажками сунул в подрясник, прошел через приемную, — Костя вскочил с рундука.

— Запри, к службе иду...

Черные тени тянулись в собор. Деловито пошел к трапезной. Ступал тяжело, ноги оттягивали монеты. Свернул на черный двор и у задних ворот в боковую калитку, звякнув ключом, за ограду вышел. Сердце толчками шло. Прячась в туман, перебежал через лавы и лугом, по опушке к объездному мосту, перешел мост, обогнул лесом скотный двор и кирпичный завод — к дачам. Глухо шумели сосны, туман обдавал холодом. Через забор в дачи пустые, — беженцы почти все поразъехались. И тихо в оконную раму равномерно постукивая, вглядывался в черноту стекла, пока не мелькнул огонек; потух, снова мелькнул — гасли испуганно спички. В рубашке ночной, пропитанной теплотою сна, прильнула к окну испуганно:

— Кто тут?

— Зося, Зосенька — я, скорее!

Не отходил от окна и видел, как накидывает капот материн, на босу ногу туфли.

— Что тебе, что?

В темноте, в коридоре, бьющимся шепотом, перерывами:

— Едут мощи вскрывать, надо теперь, сегодня же... Я принес тебе — на хранение.

Вытянул из карманов мешки, нашел в темноте ее руку:

— Тут золото — береги... На всю жизнь нашу...
Обрадовалась, обдала теплым шепотом ласково:

— Когда же приедешь?

— Стемнеет когда, к вечеру, лесом пойдем на соседнюю станцию.

Свободной рукой обняла голову, губами впиалась, шепотом:

— Милый, приходи... ждать буду.

Чайную коробку отдал последнюю:

— Мне надо там быть, чтоб никто не подумал... вечером... жди!..

Ушел в темноту и снова задами обежал в монастырь. Утро в тумане ползло медленно, — служил в новом соборе с братией.

Неподвижно стояла в темноте коридора, охватил холод — опомнилась, почувствовала в руке тяжесть и побежала будить.

Торопились, укладывались; потом Зося вспомнила, что надо пешком уходить:

— Бросьте все это тряпье! Мы должны незаметно уйти.

— Что ты, Зося, с ума сошла... Пешком?! Вещи мои...

— Ну и сидите на них, я и одна сумею...

— Он же придет...

— Что ж я задаром медведя этого целовала! Ждать буду?! Сами же говорили, сами же научили меня, а теперь ждать?

— Неудобно же, Зосенька... он нашу жизнь...

— На старости лет влюбились в него?

— Что ты, Зосенька, что ты... я думала, что ты его любишь.

— Вы разговаривайте, а я уйду! На эти деньги я куплю все что захочется — золото!

Николка целый день мотался по монастырю; без толку, не зная зачем забегал в пекарню, снова вспоминал что-то и бежал к лавочнику Аккиндину. Жил только мыслью, — до вечера, а там новая жизнь, по-новому.

У Акакия со старцами не был — не нашли, бегал предупреждать на скотный.

Ксанфий поймал его к сумеркам и повел к Аккиндину в келию:

— Братия без игумена, как стадо без пастыря.

Рыжий монах, опухший водянкою, смотрел на собравшихся с улыбочкой умиления:

— Разрешите братие недостойному.

Говорил нараспев, медленно, сладким голосом, потирая холодные потные руки.

— В раку старца положить новопреставленного, а преподобного в лес...

Цеплялись за каждое слово растерянно.

У Акакия Поликарпа встретили и молодых монахов.

Борис у аналая читал псалтырь, ожидая выноса тела в новый собор.

Литии служили попеременно и непрестанно — по очереди.

Николка вырваться от Ксанфия не сумел, приезжий монах все время старался придумать новый исход и заставлял Гервасия неотлучно быть. Игумен отвечал невпопад, рвался уйти и не мог. Остро сверлило в мозгу, — ждет она, ждет Зося... и на всю жизнь...

Ксанфий, выходя от Аккиндина, приподнявшись на цыпочки, шепнул Гервасию:

— С Мисаилом пошли... четверо.

Николка растерянно посмотрел на монаха, не понял, думал о своем. Поправлял клобук, цеплявшуюся мантию, совал правую руку в карман, точно деньги нащупывая, тяжело вздыхал и не знал, как уйти от Ксанфия. Стучало в висках: ждет меня, ждет, надо скорей.

Эхом протяжным донеслось из лесу — у-ууу...

— На вечерний опоздали уже...

Успокоил себя:

— Ночным незаметнее.

Из святых ворот с точками золотыми свечей старца несли. Дубовый гроб тяжело покачивался на плечах. Сильные голоса выводили тягуче — со святыми упокой...

Из лесу загудело и, шурша по земле, заплескалось, хлюпая.

Поликарп вздрогнул, прислушался.

Шум приближался.

Черные тени прокатились к плотине, выдернули поставы и сбросили в реку. Бежали в монастырь лесом. Вода неуверенно и тяжело сползала лавою. Водовороты закружили у свай. Маврикий метался с послушником по плотине и кричал диким голосом:

— Помогите, помогите!..

Бросился к мужикам на Полпенку.

Водовороты размывали запруду. Лавина хлынула на

перила и пошла через сваи. Над озером закрикали отлетные утки дикие и зашуршали камыши.

С фонарями, с лопатами мужики бежали, выкрикивая:

— Сволочи... жечь их... живыми...

Не успели добежать, хряснуло на весь лес, сорвало плотину, ломая дубовые сваи.

Алексей спал в шалаше на огороде — утомленным тяжелым сном. Вода по низине пошла, по лугам. Вскочил с мокрой земли, выбежал из шалаша и побежал в монастырь. Шалаш покачнулся и поплыл — медленно, покачиваясь, роняя солому, хворост, расползаясь и исчезающая во мраке.

Акакия вносили в собор, покачнулся гроб. Поликарп крикнул, — держите, — несколько рук поднялось поддержать и снова качнули покойника, тяжелые руки распались, повиснув беспомощно и покачиваясь.

Быстро внесли, поставили и столпились около Поликарпа.

От переносицы остро легла стрела суровая, черные брови сжались. Говорил коротко, властно, сковывая взглядом каждого:

— Братие, труд наш невозможно спасти — стихия безжалостна. Ночью беспомощны мы. Не унывайте духом. Рассчитывавшие погубить ошиблись. У пустыньки русло повертывает вправо. Раскат воды крутой берег подмывает, повалит сосны и остановит силу воды запрудой. Пострадают прибрежные гряды. А теперь молитесь и помните: мудрость каждого инока — спокойствие и упование. Великие дни испытания подают великие силы верующим.

Старики столпились у храма внизу.

Досифей постукивал по каменным плитам наконечником костыля, шепелявя:

— Штарца внешли, — а мы, братие!.. Мы должны, мы... Не покоряйтесь антихристу... Воздадим пешнопение... Господь укажет пути иштинные... Покарал гошпоть нечестивых иноков, отвергнул труды недоштойные — великое чудо повторил преподобный — отверз истоки водные, жатопил в водной пучине всходы днавола...

Ксанфий потирал руки, шурился, нашептывая монахам:

— Нечестивых из храма изгнать, изгнать отступников!..

Горбун трясся:

— Преподобный шотворил чудо, великое чудо — жнамене ишпепелить нечештивцев гневом швоим в пеши огненной... Погибнут враги погибели...

В старом соборе, в подвальном храме, где неугасимая теплилась на камне упокоения Симеона старца — приполз Васька, повалился на пол и, выкрикивая, бормотал молитвы, спасаясь от гнева господня, от смятения иноков, коснулся руками старых вериг чугунных и занемел — на один миг. Рванулся, рванул цепи, одел на ноги, просунул тощие кисти рук в ржавые кольца и, лязгая, путаясь в цепях и подрыснике, потрясая руками, побежал через монастырь к собору новому. Ионикия встретил. Тот помешанный целый день бродил сумрачно и молчаливо — вслушивался и не понимал, вглядывался и не видел.

Васька крикнул ему:

— Звонарь, возвести славу господню — грядет сын человеческий со ангелы нечестивцев судить огнем гиенны. Возвести инокам.

Дико смотрел на Ионикия, портяся веригами.

Ионикий на колокольню побежал, услышав о судном часе — возвестить братии.

Сгибаясь от тяжести чугуна, лязгая наручниками, Васька побежал к столпившимся.

Подхватил слова Досифея и закричал:

— Яко в печи огенной!.. И возопию гласом велия... вскуе оставил мя, поверг в преисподнюю с нечестивыми... Вскуе оставил мя!..

Старики зашептали...

— Вскуе оставил нас?! Порази гневом праведного судии — пещью огенной!..

Досифей поднял костыль и показывал Ваське, ударяющему наручниками:

— Поражи их гневом швоим праведным, поражи Вашенька — убоятся тебя нечестивые!

Блаженный бросился по порожкам вверх.

Досифей стучал костылем и выкрикивал:

— Устами малых сих господь указывает пути свои...

И заковылял по порожкам за Васьюкою. Монахи зашевелились и пошли следом.

И едва блаженный добежал до половины лестницы, вышел из красноватого сумерка храма черный монах — большой, высокий, сухой и грозный.

Васька увидел его, качнулся и побежал вниз.

Зазвонил колокол, — стоном неслось с реки эхо и гул воды, с треском ломались сосны, разрывая мохнатые корневища, ложась поперек русла.

Монахи испуганно подались назад.

Блаженный кричал:

— Антихрист, антихрист идет, антихрист!..

Поликарп дошел до половины, остановился и поднял руку:

— Братие, не искушайте господа! Не кощунствуйте! Творите молитву в великие дни пришествия.

Стоял и ждал. Вдалеке глухо лязгали вериги ржавые на блаженном. Истомленный, измученный, удрученный горем смерти Акакия повалился бесноватый у колокольни и заплакал беспомощно, опустив на растертые в кровь руки всклокоченную, лохматую голову — камень холодной ступеньки охладил ее.

— Идите по келиям...

Нерешительно отошло несколько человек и в темноту скрылись.

Ксанфий щурил глаза, задыхаясь от тяжести водянистого живота, подталкивая монахов:

— Поразить гневом праведным.

Поликарп молча сошел еще на несколько ступенек — монахи попятились.

Вглядывался в лица черными глазами горящими, поражая волю, — победить и спасти погибающих. Думал, — не жертвы, а милости!

И когда уже сходил по последним порожкам, старики в темноте потонули молча, покорившись монаху черному.

Про игумена позабыли, за Досифеем пошли против черного Поликарпа, хотели его победить и, побежденные, спрятались в келии.

Николка, когда старцы у собора собрались и молодые монахи внесли схимонаха, бросился в келию. Долго стучал — не откликался послушник, обежал с черного хода — бессловесный молчал, ушел Акакия переносить из скита и замкнул двери. Игумен растерянно бегал вокруг покоев — клубок сменить на скуфейку, мантию сбросить и ватник в дорогу одеть.

Стуча, бормотал ругательства и побежал через конный двор к дачам.

В окнах знакомых темно, калиткой прошел, отворил в темноту дверь:

— Зося!..

Гудел монастырский колокол и сумрак наполнял комнату.

— Зося, ты здесь?

Вошел, наткнулся на корзину, ощупью подошел к столу, спички нащупал, зажег восковую свечку, — сам приносил их.

— Собираются...

Подумал, что на скотный за молоком ушли. Сел. Черная тень покачивалась от волнения и клубок захватывал потолок.

Тикал маятник у часов и скрипнула медная цепочка под тяжестью гири; обернулся, показалось, что приоткрылась дверь.

Потом начал рассматривать вещи разбросанные и мелькнула мысль:

— А что если ушли?..

Не поверил себе и успокаивал:

— Любит она, — горячая, не уйдет от любви.

И снова мелькнуло:

— Золото ей отдал, — до последнего.

С каждой минутой острее...

— Ушли, убежали с деньгами, — целую жизнь копил.

Бросило в пот. Снял клубок.

— На скотный схожу...

Оставил клубок, снял мантию и в рясе пошел расспросить скотницу.

Встретил Аришу — взволнованную и тревожную.

— Кто тут?

— Отворите, игумен...

— Зачем?

Разозлился.

— Скорее, некогда мне, — по делу.

Калиткою загремел.

— Не узнаешь даже...

— Голосом обозналась.

— Карчевские тут?

— В обед приходили.

— За молоком?

— Прощались.

— Как прощались?! С кем, с тобою? Ну, говори!

Заволновался, слова выкрикивал; у Ариши голос окреп, отвечала ему спокойнее:

— Должно быть, уехали...

Почти закричал, схватившись за голову:

— А деньги мои, деньги-то... Мое золото!

Ариша голову опустила, поглядывала исподлобья.

— Молчишь?! Заодно была с ними! Обокрали меня! Ограбили!.. Говори, куда деньги спрятала... говори...

Спокойно, с презрением, с глухой ненавистью отвечала:

— Спрашивай у своей полюбовницы! Деньгами твоими не стану мараться, и так испакостил ими всю мою жизнь.

От озлобления руки тряслись и разливалось отчаяние и беспомощность.

Говорить не мог, бормотал, хватался за плечи ее.

— Отдай, — слышишь, отдай!

Оттолкнула его, хотела уйти.

— Стоит тебе, Николка — поделом. Меня тоже деньгами замучить хотел, думал, что как полячка твоя, продажная... Дура была... Ты не трогай меня, а то закричу. Ославил меня! А теперь я тебя не боюсь. Уходи лучше, а то закричу.

Боролась с ним в темноте, отталкивала, вырывалась, — схватил за руки и шептал, блестя налитыми кровью глазами:

— Деньги давай, золото! Отдавай — задушу.

По крыше зарево полыхнуло багровыми пятнами и пропало, через минуту опять — буроватое.

— Чтой-то это... Смотри!

Оторвался от ней, тряхнул головой.

Ариша выбежала за калитку, испуганная вбежала обратно — голос дрожал, заметалась и торопливо шепотом сказала Николке:

— Идут... они...

— Кто?

— Из города... мощи вскрывать.

Николка вышел за калитку, щеколда захлопнулась, и Ариша побежала, тяжело и часто дыша, в келию.

Багровым заревом пятно факелов и острями штыки. В лесной темноте горели стволы полымем, колыхая черные тени людей.

Впереди шел большой, рыжий, широко размахивая руками.

Николка взглянул, охнул и побежал бормоча:

— Жизнь мою, жизнь ограбили... Унесли золото...

Первый сказал привратнику безнадежным голосом, почти шепотом:

— Пришли!.. Закрывай ворота.

Бессловесный послушник открыл дверь и невидящими глазами взглянул на игумена, — волосы растрепались, без мантии и клобука, в рясе, с воспаленными веками

и безумным взглядом, — Костя молча закрыл дверь и лег на дубовый рундук.

От старой гостиницы по монастырю колыхались багровые пятна факелов и монахи шептали, испуганно затворяясь в келиях:

— Пришли... несметные полчища сатанинские. Ночью пришли — бдите братие!

Х

Утром Афонька выставил часовых у святых ворот, подле конского и у задних ворот, что за трапезной на реку, и вошел в монастырь.

Старым дохнуло, давнишним и позабытым.

С любопытством смотрел на келии, заглядывал в окна, хотелось узнать кто где живет. У вратаря Авраамия спросил:

— Кто игуменом?

Испуганный старик, поглядывая на револьвер, глухо ответил:

— Гервасий.

Пошел к знакомым покоям, бормоча:

— Гм... Гервасий, я был при Савве; нового выбрали... не помню такого...

Навстречу от собора старого, позванивая цепями, шел Васька — навстречу антихристу, — опустив голову, готовый пострадать во славу господню.

Бормотал про себя:

— Сподоби принять венец мученический, сподоби господи недостойного раба твоего, сподоби...

Афонька сразу узнал блаженного — постаревшего, с порванной клочьями бородой, растрепанной, с глубокими морщинами на лице, врезавшимися черными полосами невымытыми. Васька шел медленно, упрямо передвигая ноги в чугунных веригах. Руки в ссадинах — бил кольцо о кольцо, расцарапывая до крови кисти. Кровь запеклась, бурая стала, с налипшею грязью. Подрясник в заплатках по краям бахромой мотался. Горбился, вытягивая худую черную шею с синеватыми жилами. Глаза по земле блуждали — большие, безумные, с черными кругами проваленными. Костистые скулы кожей обтянулись, выперли. Скуфейка суконная, прошитая белыми нитками, — у Акакия починал, — надвинута на глаза и сзади

полукруг лысины с сероватыми перьями грязных волос. Пахло кисловатую грязью немытого тела.

Калябин обрадовался, узнав Васеньку.

— Расспрошу у него...

Хромая, подошел к юродивому, — окрикнул его:

— Васька!

Блаженный вздрогнул, потряс головою и поднял глаза.

— Не узнаешь меня? Вериги-то зачем нацепил? Богомольцев пугать?

Васька молча уставился, силился вспомнить что-то и глубоко вздыхал.

Какая-то мысль мелькнула — юродивая, безумная, — одним вывихом выпалил:

— Дьяволу, сатане предался!.. Антихристу!..

Хотел убежать, — тяжелая рука легла на плечо, придавив блаженного.

— Игуменом кто, говори!

Васька поднял руки, потряс ими и зазвенел веригами.

Вырвался и побежал:

— Никола, Николушка, за грехи наши, за грехи наказует господь, сынов твоих посылает обители... Николу-ушка!..

— Такой же балда порченый!

И закричал вслед:

— Васька, пойдн сюда!.. Васька!..

Блаженный бежал вдоль келий, оглядываясь на Афоньку и мотая растрепанной головой:

— Иноки антихристу предались, антихристу... И ты с ними, и ты, Афонечка... предался... Сатана, сатана вселился в полунощи.

В окна смотрели испуганные глаза, шептали молитвенно:

— Блаженного не посмел тронуть...

— Главный, должно быть... от жидов посланный...

— Яко сатана, князь преисподней, обликом!..

Огляделся — вымерший монастырь, пустынный. Хотел идти к игумену, увидел знакомое крыльцо со ступеньками, с колоннами из старинного облупившегося кирпича, и прошел мимо к трапезной.

Сумрачный эконоМ Паисий с мужицкою бородой лопатой, с хитрою улыбкою встретил спокойно Калябина.

Афонька говорил попросту; грубо, коротко; где-то осадком еще — монастырь, келья, приятели, болота и мхи, сосна смолистая:

— Вот что, отец; — Паисий, кажется — не забыл?!

— Монах удивленно взглянул и растерялся от неожиданности:

— Паисий, Паисий я...

— Постарел здорово... не узнал? Афанасий игуменский!

Паисий нахмурился.

— Мощи вскрывать приехали, потрошить преподобного! Людей накормить надо.

Старик склонил голову и молчал.

— В старую гостиницу принести... Молчишь-то чего, корова что ль язык отжевала?!

— Богоотступники!

И только теперь Афонька почувствовал, что опустевший, затворившийся в келии монастырь и монахи, начиная с Паисия, не приятели старые, а враги, и Васька юродивый, хитрый дурак, ломавшийся перед каждым — злейший враг, возбуждающий ненависть.

Дернул носом, ощерился — голос сделался жестким, сухим:

— В старую принести к двенадцати, а то сами найдем!

Повернулся и заковылял, хромая, по черной лестнице.

Угрюмый вернулся в номер к собравшимся пить чай, увидел Феничку и ожил, заулыбалось лицо и голос стал расхлябистый:

— Фекла Тимофеевна, а я Ваську блаженного встретил, — помните?!

Мужики с Полпенки подходили буйные, — с Большой и с Маленькой.

Шумно толпой подошли к святым воротам.

— Игумена подавай! Сволочи!

Красноармеец удивил мужиков:

— Без разрешения, товарищи, не полагается в монастырь — не велено.

— Кто не велел?

— Комиссия.

— Какая там комиссия?

— Нам игумена...

— Монахов сюда, мы и без комиссии вашей расправимся.

Афонька с Петровским выбежали к полпенцам.

— Запруду спустили там, погубили мельницу...

— Хлеб на чем обмолачивать?!

Старик в зипуне вышел вперед.

— Товарищи, от монахов покою нет — рассудите нас.

Сзади неслось упрямо:

— Чего там судить... порешить жеребцов этих...

— Палить их живьем!..

— Айдайте ребята, волоките монахов.

Петровский вынул свисток и гулкая трель зазвенела по лесу. Выбежали красноармейцы с винтовками, окружив полпенцев.

— Нас-то за что?.. Как же так?

Никодим обратился к крестьянам.

— Мы, товарищи, приехали мощи вскрывать. Ваше дело с монастырем хозяйственное — посчитаетесь после. В нашем присутствии никаких эксцессов мы не допустим, чтобы население не обвинило советскую власть в насилии над религией. Наша задача показать, что никаких мощей не существует — в вашем присутствии раскроют обман.

Полпенцы притихли, раздались удивленные голоса:

— Мощи вскрывать!..

— Преподобного значит...

И на один миг улеглось озлобление, потом снова начал старик говорить:

— Мощи... это не наше дело... монашеское... а вот мельницу, за это мы не помилуем... монастырь спалим, дотла, — порешим обществом. Сами управимся.

Вышел следователь. Советовал Петровскому произвести дознание и виновных судить народным судом.

Уговорили мужиков. Мельник Маврикий в черном ватнике и скуфейке пошел в гостиницу. Полпенцы вернулись домой, оставив выборного судью и нескольких мужиков.

Петр Петрович расспросил мельника.

— Вражда у братии завелась. Двое тут — Поликарп и игумен.

Петровский предложил второго судью выборного от рабочих, из новой гостиницы. Пошел сам. В нижнем коридоре постучал в первую дверь у кухни.

— Войдите, товарищ!

Мохнатые глаза девушки вспыхнули, вспомнила голос — забилося сердце гулко, радостно и испуганно.

— Где я могу видеть заведующего?

Вскрикнула, протянула руки:

— Никодим, милый!

Привычная мысль оборвалась на один миг, мелькнуло письмо и молчание. Зины и слова о деле, — следствие.

Почувствовал огрубевшие руки, тонкие пальцы — сухие, крепкие.

— Вы здесь до сих пор?

— И до сих пор, Никодим, та же.

— Вы не писали мне, я думал конечно все.

— Та же я, та же... я кольцо отдала вам — душу свою!

Вспомнил, отстранил руки:

— Я вечером к вам приду. Где заведующий?

Быстро вбежал по лестнице.

Узнать, почувствовать. Резкий теперь, решительный, скупой на слова, — до вечера бесконечно. На кухне валилась работа из рук, не обедала; брала старые письма и, не разворачивая, клала обратно в стол. Места не находила себе — ждала. Иная, спокойная, ровная, трудом закаленная с простыми людьми, грубоватыми и прямыми. Нервность издерганная прошла, осталась порывность горячая и твердость. Бездомная нашла свой дом среди людей. Волновалась и думала: чужой или нет, может ли она близкою стать для него. Нужна ли ему — огрубевшая силою и спокойствием.

Чувство надвое расколосось. Ощущал присутствие Зины и забывал, когда вместе со следователем допрашивал.

Мельник Маврикий называл иноков.

Гервасий отказался идти, Афонька приказал привести с конвоем.

Николка отупел, — давила мысль, — теперь конечно, и не знал что делать. Ходил по покоям, приподымал вещи, заглядывал под портреты царей, губернаторов и архиереев, точно за ними скрывались деньги. Шептал, — полячка ограбила, унесла — золото, целую жизнь... целую жизнь собирал, — золото. Глаза бессмысленно останавливались, покрасневшие от бессонницы и напряжения. Из железного сундука достал ящик, хранивший богатство Предтечина. Раскрыл его на столе и позвал Костю:

— Костя, ты знаешь, — здесь они были, здесь, Костя?

Бессловесный моргал и молчал, поникая головой.

Раздражался и, дико смотря на послушника, снова спрашивал:

— Говори, здесь они были?

Костя шевелил губами бескровными:

— Здесь.

— Ты видел их, видел?.. Вчера подбирали мы по полу. Ступай, я пойду, ступай, Костя.

Послушник сел на рундуке у окна и смотрел на пустующий монастырь. Видел Афоньку, говорившего с Васьюкою, и когда рыжий опустил руку на плечо блаженному — отодвинулся и перекрестился молча.

Николка зажег огарок и долго ползал по полу, нашел закатившийся под ковер золотой, засмеялся, схватил его, туго зажал в правую руку и сел на полу разглядывать.

— Костя!..

Белобрысый послушник слепыми глазами бесстрастно взглянул на игумена.

— Костя, ты помнишь, все были такие, — круглые, золотые?!

Белесые веки закрылись плотно и руки прижались к подряснику — не шелохнулся, боялся услышать свой голос.

— Молчишь, все молчишь, — целую жизнь молчишь?! Ступай, бессловесный скопец.

Вздернулись плечи, сжались — молча ушел на рундук в переднюю.

Николка, наклоняясь к золотому, разжал руку — врезался в ладонь ободок красным кружком, — затрясся над ним и заплакал.

— Всю жизнь свою... двугривенничками... всю жизнь...

Не знал сколько времени сидел на полу с монетою, руку обжег догоревший огарок. Побежал за другим в приемную, — грудкою лежали на аналое у образов.

Стенные часы не тикали, остановился маятник, потеряв время.

У стола с новым огарком, — зажечь позабыл, — смотрел на ладонь остановившимися глазами.

Без зова Костя вошел и в первый раз за всю монастырскую жизнь высоким тенором пропел игумену:

— Владыко, за вами пришли на следствие.

Испуганно, растерянно, не сознавая, смотрел на послушника.

— За вами пришли!..

Замотал головою, махнул руками, — огарок выпал.

— Никуда я не пойду, никуда. Сами все знают, сами.

По всем покоем пропел высокий тенор бессловесного Кости.

— Игумен никуда не пойдет.

И снова бессловесный пропел игумену.

— Владыко, пришли!..

Через монастырь провели — без клобука, без скуфейки, с зажатым в руке золотым, озирающегося по сторонам, — братья видела в окна и шептала, испуганно:

— Игумена Гервасия повели!

Следствие вели за старой гостиницей в зимнем бараке, где поместился отряд.

— Николка! Игуменом стал?.. Ловко, брат, выдумал!

Монах вздрогнул от знакомого голоса и пришел в себя, узнав приятеля старого. На один миг даже мелькнула мысль, что выручит Афонька его. Вспомнил, что не судить, — не знал даже за что, мысль о деньгах потушила слова Ксанфия и шумело в ушах не от шума воды, а от удара, — ограбили, — не судить, а мощи вскрывать приехали. Потом вспомнил, что он игумен, а перед ним враги — сжался и угрюмо смотрел на сидящих вокруг стола. Но мысль, что Афонька выручит, осталась бессознательно.

— Ну, говори! Кто спустил мельницу, кто запруду прорвал? Не брехать только, а то я по-приятельски расправляться буду.

Петровский с любопытством игумена ждал. Афонька весело улыбнулся. Следователь сосредоточенно вглядывался — изучал судей: старого мужика, рабочих и солдата бездомного без кисти правой руки.

Калябин ерошил волосы. Увидев игумена, закричал:

И злоба на всю свою жизнь неудавшуюся — бессмысленная до отчаяния, прорвалась на Поликарпа черного.

Ну, говори!

— Не я, не моя вина, Поликарпа спрашивайте, — Поликарпа Лазарева.

Афонька крикнул красноармейцам:

— Привести!

Маврикий нахмурился.

Следователь записал, — Николай (Гервасий) Предтечин, сын дьячка, — игумен пустыни.

Поликарпа взяли из собора нового, от гроба Акакия.

Спокойно вышел, уверенно, медленно и широко шагал, подняв голову. Черные глаза острыми жгли. Молча остановился у стола и взглянул на игумена.

Николка заволновался. Развязно начал:

— Из синода его назначили. Принизили игумена. Братию зажал в кулаке.

Литейщик с завода бросил, смеясь:

— Воли вам не давал, значит.

Следователь улыбку сдержал, обратился к игумену, взглядом говоря продолжать.

— Хозяйство в его руках было, — его спрашивайте. Братия неповинна. Его деяния.

— Игумен правду сказал. Маврикий, кто мельницу охранял?

Мельник по-мужицки почесал бороду, взглянул на монаха черного и насупился.

— Игумену говорить, Гервасию. Поликарп кормил братию. Правду говорить надо, владыко, не сваливать, да не прятаться.

Поликарп сдвинул брови:

— Спросите послушника игуменского, он должен многое знать!

Привели бессловесного Костю! Высоким тенором нараспев рассказывал, моргая глазами белесыми, вытягивая тонкую шею — худой, изможденный.

— Игумен хотел погубить инока Поликарпа с Ксанфием; Ксанфий из города прибежал, спрятался в скиту в келье старца Акакия.

Ксанфий трясся, выкатывал красноватые глазки, говорил, захлебываясь от волнения, колыхая животом водянистым; второй подбородок отвисший мотался, прыгал от каждого вдоха.

Запутывал в паутину Аккиндина, Мисаила, Паисия и всех, кого знал и помнил, перебирая белыми пальцами водянистыми черную нить четок, каждое слово — косточка, отсчитанная, обвалаянная мякотью пальцев холодных и мокрых от пота:

— Во славу обители иноки положили антихриста извести, — чадо его — богоотступника; братия, старцы решили, — меня господь вразумил слово сказать достойное, а я не хотел, не видел и на озере никогда не был, я из другой обители... послан братию упредить... Аккиндин исполнял веления братии, а я, немощный, разве я подыму заставу?!

Афонька на стул откинулся, широкая улыбка по лицу разошлась, поглядывал на монахов:

— Ну и язва, отец, откуда ты только взялся такой, при мне не было.

Никодим вздрагивал, когда Калябин говорил, — при мне не было, — и молчал.

Аккиндин выдал Мисаила и трех монахов, ходивших ночью на озеро.

Маврикий обратился к Петровскому:

— Теперь знаете кто! Отец Поликарп ни при чем. За ним стоит братия. Сами знаете как судить.

Николка поднял правую руку, разжал, складывая троеперстие, золотой выпал, покотился по столу, не успел опомниться, выкрикнув:

— Богоотступники! Судилище нечестивых предается геенне огненной!

Не выдержал унижения монахов перед Афонькою, перед бывшим игуменским послушником — судьей братии. Пьянствовал с ним, гулял за купчихами, в город сманил, унес котомку с вещами — ясно вспомнились вещи и ложки, и обида на свою жизнь неудавшуюся пролилась гневом отчаяния.

Афонька захохотал, — золотой рассмешил, выпавший из руки:

— Расстаться не можешь, Никол! С собой носишь!.. Видно скопил — глянуть бы сколько!

И гнев, криком вырвавшийся — в безумие, тихое и беспомощное:

— А-а-а!

Руку протянул нищенски за монетою:

— По-сле-едний... всю жизнь!..

Петровскому стало противно, шепнул Калябину:

— Довольно, пусть уведут.

— А что, товарищ Петровский, разве ж не логово! Черви, друг друга жрут — передавить до последнего!..

И в ту же минуту вошла Феничка.

Вспомнила лес и свою жизнь — наивную и беспомощную. Пахло смолой, гнилью болотную, сыростью моха, мелкий осенний дождь шумел по верхам унынием, возвращалась спокойная. Улыбнулась пустующим дачам. Крепла мысль о Борисе и дождь показался песнею, ясною по-осеннему, когда вдруг почувствует человек холодок, глубоко вздохнет и бодро зашагает по хвое и сразу почувствует, что это наваждение только, а жизнь — в мускулах, в воле, в груди, неупившейся радостью бытия, и по-иному покажется лес угрюмым — другом суровой мудрости.

Весело стало. Прошла через монастырь. Чувствовала, что из келий смотрят на нее зрачки безымянных глаз, — может быть и Бориса, из-за этого и через монастырь пошла — уверенность стала ясною и определенной.

В темном проходе двойных ворот, прижавшись в углу,

скорчившись и занемев, шевеля губами, сидел Васька, благословляя проводимых конвоем монахов одним движением пальцев, неслышно шепча:

— Претерпевый до конца спасается... не оскудеет милость его... аминь, аминь!

Увидев Феничку, вскрикнул, затряс руками, — зазвенели глухо вериги:

— Спаси, сохрани, помилуй!..

Вздрыгнула испуганно, ускорила шаг, — Васька бросился следом:

— Антихрист грядет, антихрист!.. Во образе дьяволицы... Господи, господи!..

Афонька окончить не успел, за Гракиной Васька ворвался.

Быстро к столу подошла.

— Юродивый меня испугал.

Калябин обрадовался:

— Фекла Тимофеевна, а вы поглядите-ка! Говорил вам, приятелей встречу, так и вышло. Николку Предтечина, — жениха вашего... ха-ха-ха! Слышь, Никол!

Монахи потупились, Николка отвернулся, Поликарп глядел на Гракину пристально.

Васька, услышав имя, увидев игумена и монахов, еще более дико выкрикивал:

— Николушка, Николушка, изгони, изгони беса блудного, погубил он тебя, погубил — веничком, Феничку веничком, изгони веничком...

Один раз не выдержал, — взглянул на нее игумен и, как помешанный, зашептал:

— Погубила меня, всю жизнь мою погубила... она погубила, она...

— Братию погубила, братию... аки полунощный бес... погубила тебя, Николушка, погубила... изгони ее, изгони... по делам твоим воздается сторицею... Николунка, изгони... погубит она и тебя, и братию, изгони ее, Феничку изгони, изгони веничком... Никола, Николушка.

Афонька не выдержал:

— Васька, молчи!

Красноармейцы не поняли, не могли ничего разобрать в шуме и выкриках. Длилось все это минуту, одно мгновение.

Феничка оперлась рукою о стол, тяжело дышала, лицо багровыми пятнами залилось, с негодованием смотрела на Никодима и с отвращением на Афоньку и на монахов,

встретила мрачный, зияющий взгляд черного монаха высокого и на секунду всего стремительным взглядом ответила и не выдержала — опустила глаза.

В ту же минуту вскочил Петровский и крикнул:

— Увести!

Красноармейцы окружили монахов и повели.

Васька последним пошел, звеня веригами:

— На пропятие... Николушка, на пропятие!.. Погубил ты, Николушка, погубил братию...

Афонька вышел и пошел с арестованными. Повел в дачи. По дороге блаженный вырвался и бросился в лес, выкрикивая:

— Спаси, сохрани, помилуй...

Щелкнули затворы, Калябин прервал:

— Ну его к черту! Отставить. Бесноватый балда!

И весело закричал вслед:

— Васька, Васька, ага-га-га, Васька!

По лесу разнеслось, — а-га-га-га!..

И еще сильнее захотелось крикнуть ему, волю свою почувствовать, силу буйности.

Феничка говорила Петровскому:

.. — Какой ужас!.. Это кошмар!

— Да, я понимаю теперь... Только Калябину здесь раздолье!

— Ах, зачем он приехал сюда. С ним ужас кошмарнее!

— Старое вспомнил, свое, монастырское.

Боялся напомнить прошлое, пережитое Феничкой и почувствовал всю тяжесть ее вечеров, питерских, когда прибегала к нему спастись от призраков монастырских, от монаха рыжего. Увидел затаенную ревность и вражду Калябина к Николке и торжество победителя. И понял, что выкрики Афоньки приятелю — месть за Феничку. Вспомнил письма Зины к нему об ужасе, — промелькнуло — как она могла выдержать здесь, — сильная!

Обедали вместе. Калябин торжествовал. Без конца говорил о монахах, рассказывал о своей монастырской жизни, взглядывал на Феничку. Широкая улыбка бродила по изуродованному лицу:

— Васька-то, Васька! Пророчествует! В лес убежал, стерва, наши хотели стрелять. Ну его к черту, пустил, все равно сам прибежит, не выдержит, захочется поглядеть на приятеля.

В монастыре ^тволновались. Старики вышли из келий. Молодые монахи и послушники обступили Бориса:

— Взяли его, надо идти к комиссару, спасти!

— Ждите, пойду! .

— Всем надо идти, сейчас же.

— Одного выслушают внимательней, всех из монастыря не выпустят.

Старцы беспомощно перешептывались:

— Жизнь наша, — ни дня, ни часа не ведаем.

— Примут венцы мучеников и страстотерпцев...

Досифей только шамкал, тряся горбом:

— И черного увели, — пошмотрите-ка — шобрались его, шобрались...

Лесом, по тряскому моху, по кочкам болотным окружил монастырь Васька, вбежал с задних ворот и с криками опустил на порожках крыльца игуменского, ударяя наручными кольцами ржавых вериг.

Старики с умилением подошли к блаженному и слушали выкрики об игумене, о дьяволице, о нечестивых судьях и о судном дне.

Медленно всплывало Николкино прошлое и потухало тщеславие, — на один миг отошел монастырь, игумен, мощи — осталась жизнь, — нагая в правде своей и истине.

Нерешительно раздалось:

— Погубил нас, погубил...

Васька осипшим голосом бормотал, ворочая головой:

— Феничку изгони веничком, веничком!..

И еще нерешительней, непрестанно от волнения поправляя сползавшие на нос очки на веревочке, просфорник Епифрас прошептал:

— А зачем было запруду спускать, кому было нужно?!

Шепотом, понеслось, шелестом мантий.

— Кто виноват?! Аккиндин егозил, нашептывал — черного погубить, антихриста.

Епифрас закончил:

— А ведь он-то, братие, заботился, сохранял, пропитание трудом добывал с иноками... Не уразумели премудрости инока Поликарпа — послушались...

— Ксанфий помутил, Ксанфий...

И когда Борис пошел к святым воротам, старики замолчали, следя за ним, пропустят его или нет.

— Евтихий пошел.

Наступило ожидание — длительное до бесконечности. Разошлись по келиям, на крылечках, у калиток остались.

В соборе у гроба Акакия монотонно звучали псалмы и гудел черный купол.

Без молитвы в дверь постучал.

— Войдите.

Скуфейка в руке, спокойный лоб, ровные волосы и глаза, горящие и горячие, ясные, голос, окрепший волею:

— Я пришел к вам от иноков; освободите учителя нашего Поликарпа, мы трудились как христиане первых времен. Пусть скажут и засвидетельствуют рабочие из новой гостиницы.

Тот же голос мечтательный и слегка певучий:

— Я не уйду, пока не узнаю судьбы учителя.

Афонька, посмеиваясь, смотрел на монаха:

— Ишь ты ведь как, по-ученому... При мне таких не было!

Непорочного — по голосу, по глазам узнала. Синие глаза широко раскрылись, встретила взгляд испуганный и пораженный. Тревожно сжалась душа. Быстро перевела взгляд на Калябина. Насупился Афонька, взглянув на Феничку, ожгло ревностью:

— Захотелось компанию с ним разделить?!

— Засмеялся, отставил хромую ногу, взъерошил рыжие кудлы.

Испуганным шепотом, наклонившись к Петровскому:

— Никодим, это он, я за тем и приехала... я знала!

И в ответ, вспомнив свое, на слова Фенички, давая только почувствовать весело, не замечая монаха вошедшего:

— Я и забыл вам сказать, помните, колосья ржи продавали с Зиною... Она здесь!

— Я должен ответ принести!

Не дал говорить Афоньке, быстро встал и подошел к Евтихию:

— Что вы от нас хотите?

— За что вы его судите?..

— Мы не судим его! Против него показаний нет.

— Освободите!

— Идите и скажите пославшим вас, что до окончательного разбора дела он должен оставаться под арестом. Ему ничего не грозит.

Петровский говорил и медленно наступал на монаха, тот так же медленно отступал, пятясь задом, и у самой двери Никодим резко и настойчиво повторил:

— Идите.

Феничка тревожно смотрела на Афоньку, Петровского и Бориса.

— А я бы, товарищ Петровский, и этого прихватил. Больно уж сладко поет.

— Не забывайте, товарищ Калябин, зачем мы приехали.

— Что ж, по-вашему, мы должны миловать их?!

— Нет, но мы не должны навлекать на себя лишних разговоров.

— Бояться кого что ли?!

— Сегодня крестьяне приходили жечь монастырь, это у них свои счеты, а завтра, когда мы будем мощи вскрывать, они будут против нас. Вы знаете, что мы принуждены быть осторожными — религиозные предрассудки не изжиты, и мы своими действиями должны вызвать сочувствие массы, а не осуждение. Лишние жертвы создадут завтра же нам врагов и припишут это нам за счет религии.

— Отпустить, значит, по-вашему, всех?

— Виновных оставить, а свидетелей отпустить в монастырь. Дальше они все равно никуда не уйдут. Назначьте патруль.

Афонька нахмурился.

Петровский вышел, следователь заснул.

— Фекла Тимофеевна?!

— Что вам, Калябин?

— В лес что ли пойти? Пойдемте!

Улыбнулась, одела куртку кожаную, кепку и пошла с Калябиным. Чувствовала, что сегодня Афонька отдается воспоминаниям монастырским и шла спокойно, но чтобы эти воспоминания не перешли в большее, решила говорить, отвлечь его мысли словами.

Размашисто сосны шумели бурые, серые облака неслись клочьями, дождь перестал и вспыхивала синева.

XI

Шли мимо дач по дороге к станции.

Лес дышал сумраком по-осеннему, не скользила под ногами бурая, отсыревшая хвоя, взвизгивал ветер, скрипя стволами, вязкий песок раздавливался тяжело.

— На озеро б глянуть, Фекла Тимофеевна! Разворотили его, а жаль озера — красота.

Замолкал, искоса поглядывал на нее. Ступала легко, уверенно, твердо, дышала всей грудью. Мысли по-осеннему

рвались: бодрые сменялись тяжестью прошлого и неслись в монастырь к Борису. Не узнала в нем прежнего. Лицо, шершавое от загара, от осенних ветров, окаймленное бородкою круглой, было литым, глаза светились твердостью и каждое слово, — решенное волей, голос грубее стал и певучесть его шла изнутри.

Феничка по лесу шла, как идут к намеченной цели, каждый мускул наливался радостью и желанием жить. Кровь билась, и горячо, сила жила в ней — вперед, вперед. Напряженная вся, остро ощущала в себе каждую мысль, одну за одной нанизывала на суровую нить: один раз, всего один раз говорить один на один с Борисом, охватить его зрелостью, дохнуть крепким вином отстоявшегося бытия и радости, и не желание хмельное пробудить, а рвануть из нутра жажду настойчивую и упорную.

Отвечала Афоньке, шутила и не подпускала к себе.

Последний месяц не зверствовал, следил за собой и каждый поступок — на вид, чтоб Феничка знала, видела. И ни разу не напоминал о своей любви.

В монастыре прорвалось давнее. Гордо поглядывал на монахов и на Николку, Феничку встретил как свою, близкую — показать, что добился ее, не побоялся и монастырь бросить, прошел по всем путям странствий и нашел Вифлеем свой.

Не противился Петровскому, не понравился только монах молодой, — Феничка смотрела на него непонятым взглядом, впивающим жадно в себя каждое слово его, движение.

Шел рядом, хотелось знать, о чем думает, затаенно мелькнуло: в лес бы ее увести, подальше.

— А помните, как на мельнице были с Марьей Карповной?! В первый раз я тогда увидел вас.

— Я вас давно позабыла, Калябин, я живу сегодняшним днем. Теперь о завтрашнем некогда думать.

— Это правильно, только вы не живете... боитесь все.

— Ничего не боюсь, видите, с вами пошла.

— А я что ли зверь?

Рассмеялась в глаза:

— Хуже! Необузданный.

— Так я ведь по-вашему теперь делаю.

— Не верю, Калябин.

Повернула назад, оборвала разговор, начала новое:

— Что вы будете делать с монахами?

— Судить! Что ж с ними? Это Никодим Александрович церемонится.

— Вот видите!

Вернулись в ранние сумерки. Начали кипятить чай. Вошел Никодим.

Зина ждала — напряженно, мучительно. Мохнатые ресницы сжимались плотно, решала судьбу, — если хоть что-нибудь осталось в нем — отдать себя и не спрашивать зачем, на один миг исчезнуть и потонуть в глубине своей, а потом уже разобраться во всем, что случится, но не чувствовать себя лишнею и ненужной, замурованной в четырех стенах монастырского номера. Не слышать колокольного звона, не видеть глухой стены темного леса и осмыслить свой труд, полезность его для себя, — может быть, он иным покажется и станет живым, радостным.

Рванулась на стук, подбежала к двери:

— Никодим, милый!

Слово «милый» не наивное, не восторженное, а из всего существа — дыханием.

— Вы теперь счастливы?! Правда?

— А вы, Зина?

— Я?! Шесть лет свое счастье жду!

Отдаться, всей, до конца — нераздельно мыслями и душой: живой перед ней из писем в дни его одиночества у инженера Дракина, заполнявший страницы жизнью своей, душу ему отдача — кольцо, а теперь — ничего не таить в себе, — до последней капли себя.

— И что же?

— Оно в ваших руках, дайте его мне... Я не умела писать вам, но до последнего дня вы жили со мной, вот в этой комнате. Мучилась и ждала, а потом смирилась — может быть сама виновата, что иначе не умела любить, а теперь повторю, или верните мне душу — кольцо мое или дайте мне счастья. Я не спрашиваю долго ли будет оно, но мне без него жить страшно.

Взяла его руки и напряженно ждала — пожмет, потянет к себе — самой целовать, думая только о том, что сейчас счастливей ее никого нет.

Плыла в сумраке горячо, жадно брала шершавые губы, небритую щеку, молча, без звуков, и тонула, растворяясь в неведомом. Каждый поцелуй, каждое слово драгоценная ноша и дар счастья нежданного.

— Я коммунист, Зина!

В полумраке говорила ему:

— Ты выстрадал веру свою! И будь до конца верующим. Я верю тебе и в тебя.

— А если когда-нибудь я брошу тебя, разойдусь. Почему-нибудь мы чужими окажемся.

— И все-таки я смогу оправдать свою жизнь безграничным счастьем. Любовь меня жизни научит, я перестану ее бояться и прятаться, иными глазами на мир взгляну и разве после этого я смогу неблагодарною быть тому, кто откроет мне все сокровища?!

Глаза мерцали ожиданием неизведанного, мохнатые ресницы влюбленно ловили взгляды и крупные завитки волос разбросались взволнованно темною каймою вокруг лица большими темными кольцами.

— Я твоя буду, твоя...

Руки тянулись отдаться, — всей, до конца, счастливейшею.

— И ты поедешь со мною?

— Милый, куда хочешь, пока нужна для твоей жизни!

— А ты знаешь, кто со мною приехал?! Феничка!

— Я знаю, — она к Борису. Он ею бредил больной... я ухаживала за ним в лазарете. Он до самопожертвования доходил.

— Как?

— Вместе с монахами молодыми санитаром работал. Удивительный.

— А кто этот черный монах?

— Учитель его. Академик. Он держал все хозяйство в своих руках.

Рассказала о жизни своей, о Поликарпе Лазареве, о вражде между молодыми и старцами.

— Вот видишь, Зина, как хорошо, что мы встретились, мне легко будет теперь на суде разбираться!

— Милый, если бы ты знал, как легко мне теперь. И так просто все стало!

В номер вернулся веселый, бодрый.

Афонька неуклюже доставал из чемодана еду.

— Ну, отец Афанасий, а чего не хватает к монастырскому чаю?

— Коньяку, Фекла Тимофеевна, — монашеского елею...

— Вот и не знаете!

— А чего ж?

— Год, просфорок и молока.

Подождите, я разживусь!

— Я пошутила.

— Чего пошутили!.. Я разживусь.

Заковылял хромою ногою из гостиницы.

Остались вдвоем Петровский с Фенею.

— Зина здесь, она говорит, что ты к Борису приехала.

— Ты видел его! Я хочу говорить с ним.

— Любишь его?

— Не знаю. Но он живет во мне всю жизнь. Ты мне близкий, ты друг! Помоги!

— Что нужно?

— Я боюсь за него. Калябин здесь разошелся.

— Да чувствует себя спецом.

— Он сегодня гулял со мною в лесу. Всю жизнь он преследует меня. И у меня странное чувство страха, — я женщина, — я не верю в предчувствия, но точно смерть надо мною нависла. Я боюсь за Бориса.

— Хорошо. Я его арестую. Он будет рядом с твоим номером. Сейчас...

Вызвал наряд, нашел келью Поликарпа и взял Смолянинова.

Афонька пошел к скотному, вспомнил об арестованных, повернул к дачам, решил монахов освободить.

— У них и земляники сушеной разживусь.

Оставил под стражей Ксанфия, Аккиндина, Мисаила и трех других. Костя за Поликарпом пошел, Николка выждал Калябина.

Все время сидел и думал про Феничку и Калябина, потом заулыбался зло и радостно:

— Ладно же, я тебе удружу, Афонечка. Теперь твоя сила — дорвался, а все-таки я тебе отравлю жизнь Феничкой...

Деньги сердце щемили, а жгла его ненависть на приятеля.

Отстал от выпущенных монахов, ласковым голосом по-монашески начал:

— За что неповинных мучаете?

Калябин весело огрызнулся:

— Знаю я вас, кому рассказываешь.

— Другим ты был, приятелем.

— У меня таких приятелей было хоть пруд пруди. Говори, чего тянешь?

— Жаль мне тебя, Афанасий.

— Завидуешь!.. Не тебе пришлось... Видел?! Хороша стала!

— А сколько она по рукам гуляла, — не спрашивал?

Кулаки сжал Афонька, кепку к затылку прилепнул:

— Ты смотри у меня, а то ведь я расправлюсь с тобою, живо отправлю к праотцам.

Остановились у скотного. Николка не давал говорить Калябину, вглядываясь в него в темноте.

— Спроси-ка свою Феничку про студента беглого.

— Про какого?

— Про Евтихия нашего, про красавца, отчего он, мол, бежал от тебя, — до хорошего довела — в монастырь побежал от нее спастись... Фе-нички!

Афонька качнулся к Предтечину, охнул и заорал на него:

— Бреешь ты, стерва! Завидуешь, — не твоя, не тебе досталась!

Николка нырнул за угол скотного и побежал в темноте.

Следом неслось:

— Все равно не уйдешь! Поставлю к стенке.

Дергалось лицо, руки тряслись и душила злоба. Вспомнил приходившего в номер монаха Евтихия, взгляды Фенички и почувствовал какую-то правду в словах Николки. Сжал кулаки, промелькнула мысль: расправлюсь и знать не будет. Постучал в калитку на скотный.

Выбежала Ариша, спросила испуганно:

— Кто тут?

— Отворяйте что ль! Комиссар.

Впустила. Пошел по знакомой дощатой дорожке:

— Молоко надо мне.

— Подоили мы молоко, в новую гостиницу отнесли.

— Ладно! Пожмите еще, а я подожду.

Вошел в келию. Ариша испуганно искала фонарь, выбежала за доенкой.

Посмотрел на нее, — рыжеватые волосы из-под платка выбились, блеснула розовая шея:

— Ишь ты, каких молодых приладили!..

Искала огарок вставить в фонарь, румянцем обиды залило щеки:

— При Савве косых да рябых не гнушались мантийные — за молоком бегали! Чего удивляешься? Я ведь тут сызмальства, все ходы выходы знаю ваши. Игуменская что ль, — Николкина! Ишь стерва!

Выбежала во двор, побежала к Арефии, упростила ее подоить:

— Матушка, милая, сами знаете, — главный пришел...
Боюсь я...

Вернулась в келию.

— Молоко где ж?

— Сейчас принесут, подоют.

У дверной притолоки сжалась, прислушиваясь.

Кровь стучала под рыжими кудлами злобою, ершил нос перебитый.

На потолке скрипнуло. Калябин прислушался. Повторилось снова. Ариша захолодела, холодный пот пробежал по спине мурашками.

Злая улыбка перекосила лицо:

— Что у тебя там, — крысы что ль?

— Кошка должно быть, кошка...

— А ну-ка, я погляжу в штанах она или в подряснике?!

Грузно встал с лавки, осклабился весело.

Ариша беспомощно протянула руки и прошептала:

— Кошка там, кошка моя...

Афонька вышел в сени и закричал:

— Ну-ка, отец, вылезай!

Никто не ответил. Афонька взобрался по лестнице, приоткрыл чердачный лаз и вынул из кобуры наган:

— Слышишь, тебе гроворят, — вылезай, а то стрелять буду.

Подождал и выстрелил, — с чердака, из темноты ответный раздался. Афонька зверем сорвался, выбежал на крыльцо и гулко по лесу понесся свисток. От монастыря прибежал патруль.

— На чердаке спрятан, живого взять. И монастырскую блядь тоже.

В темноте наугад отстреливался. Свели раненого, не успел покончить с собой. Шинель нараспашку, в френче и без погон.

— Эге, соколик! По монастырям прятаться!

От Ксанфия разнеслось о приезде комиссии. Вечером, в темноте к Арише пришел. Никуда не выходила со скотного, боялась насмешек приехавших с заводов в новую гостиницу. Молоко относил старая скотница, мать Арефия.

Отворила калитку, глаза встретила.

— Ариша, к тебе я, пусти спрятаться.

Вспомнилось, как любила его — не выдержала, отворила келию.

Долго ей говорил о спасении родины, о том, что с юга

идут избавители и покончат с царством антихриста и что он тоже подвиг несет великий.

— У сестры не могу, узнают меня и ее подведу... А к тебе судьба привела.

Плакала от жалости и любви и открыла чердак Белопольскому. Приносила ему молоко и хлеб. Целовал ей плачущие глаза. Обманываясь, поверила счастьем своему и радости скорбной. Под клятвую рассказала Арефии. Хранили его и дрожали, увидев приехавших.

В бараке за старой гостиницей допрашивали офицера.

— Я из плена приехал к сестре. Она в новой гостинице прислугою служит.

Оброс бородой, Афонька не мог опознать. Приказал обыскать, раздев догола. Под пяткою в сапоге документы.

— А мы за тобою в городе все норы облазили! Полковник где? — говори!

Гордо ответил, презрительно:

— Я работал один.

— Бреешь, один поезда под откос не пустишь. Кто заговорщики?

Молчал, спокойно и насмешливо поглядывал на Калябина, сжимал от боли зубы, — правую рукой перехватил предплечье левой руки.

— А ну-ка, мы спросим сестрицу твою?!

Поднялся, хромяя, пошел из барака, вспомнил про рыжеволосую монашку и вернулся к столу:

— Монашку сюда! Хороших вы тут котов развели!.. Как зовут?

Бледная, испуганная, с растрепанными волосами, заплаканная, отвечала шепотом:

— Ариша.

— Фамилия?

Калябина.

— Я тоже Калябин. Где родилась?

— В слободе Троицкой за монастырем девичьим.

— И я там родился. Мать твою звали Матреной?!

Закрывает руками лицо, заплакала:

— Афонечка, братец ты мой потерянный...

Красноармейцы смотрели растерянно. Белопольский, скрипя зубами, удивленно раскрыл глаза, а Калябин встал и с досадою бросил сестре:

— Нашла с кем связаться! Меня опозорила.

Гнев сменился раздумьем. Вспомнилась мать. Угрюмо склонил голову.

— Двое со мной. С винтовками.

Сумерки загустели, из лесу змеей выползали на дорогу и к монастырю туманом.

Красноармейцы постукивали прикладами.

Никодим привел Смолянинова, в номере запер:

— Молча сидите, к вам придет Гракина.

Афоньку не стали ждать, пили чай без него, Феничка торопилась к себе, Петровский отдал ей ключ.

Слышал глухие выстрелы, подумал, что патруль пугает монахов.

— Калябин их распустил...

Услыхал знакомое постукивание прикладов, увидел в окно мотнувшуюся фигуру Афоньки.

— Сам патрули разводит...

Сумбурный день давил на голову и неожиданное счастье легло горестью. Вышел на крыльцо. В открытую дверь падал свет от висячей лампы и большая тень ползла по колонне.

Хотел разобраться во всем, что случилось за день. Неприятно было, что пришлось спрятать монаха-студента в номере рядом с Феничкой, — оправдание ради своей любви, — Феничка близкая, друг и свой человек преданный. Вечер впереди бесконечным казался, — тянуло к Зине — отдохнуть, успокоиться, душу озарить радостью, зачерпнуть бодрости.

Прислонившись о косяк двери, докуривал папиросу. Снова послышалось от новой гостиницы постукивание прикладов.

Афонька бормотал:

— Гнездышко завели сволочи! По монастырям прятаться!

В просвете дверном Зина увидела Петровского, тихими слезами глаза заплаканные блеснули радостью, крикнула из темноты:

— Никодим, Никодим!

Стрелю сбегал с порожков.

— Товарищ Калябин, почему вы арестовали девушку эту?

— Накрыл белогвардейца на скотном дворе, а это сестрица его. Гнездышко свили себе, сволочи. Мы целый месяц ловили его.

— Кого?

— Белопольского. Сами же раскрывали банду. Сколько под откос поездов пущено?!

По-осеннему тьмою заволокло мысли и всплыла фамилия Белопольский и неожиданно блеснуло — так это сестра его, Зина — сестра!

Вместе с Калябиным пошел в барак, позади Зины.

— Переписку нашел — укладывалась. Вовремя прихватил.

И опять мелькнуло в сознании:

— Укладывала, — собиралась со мной... письма мои!..

Где-то смутно еще вспомнился Питер, рыжий молотобоец-монах, Феничка, ссылка, колос ржи и черноглазая девушка в грязном номере, где рассказал ей муку свою и отдал тогда часть души, а потом бесконечные письма о своей жизни и молчание Белопольской. Не верилось, не знал, что подумать. Мысли ключьями рвались, кололи ледяными острьями, как молнии.

— Товарищ Калябин, на одну минуту, на несколько слов.

Конвой остановился с Зиной, Петровский отвел Афоньку в сторону.

В темноте, полушепотом, Зина уловила только последние слова Никодима:

— ...мы ее вместе допросим у нее в номере!

— Я вам верю, товарищ! Идемте...

Где-то колыхнулось у Афоньки в душе, — у самого сестра спуталась, ее бы тоже без всяких надо, — кровное связало на миг Калябина, по-человечески душа вспыхнула.

— Зина, это твой брат?

— Он мне чужой, ты знаешь, я тебе говорила..

— А письма?

Афонька подал Петровскому пачку.

— Это твои, Никодим. От брата две записки были — берегу их, — прочти.

Никодим подал Калябину.

— Читайте, товарищ.

Не знал, как обратиться к Зине, подал записки ей.

— Я товарищу Петровскому верю! Ему за вас отвечать. Ну, я пойду братца допрашивать ихнего.

Зина беспомощно смотрела в глаза Петровскому.

— Почему ты ничего не сказала мне?! Я тебе верю, но Калябин, товарищ.

— Мы с ним чужие...

— Ну хорошо, только не проси за него и не спрашивай, — мы врагов своих не щадим.

Жуткое пронеслось молчание и борьба в каждом, острая и мгновенная.

Никодим крепко сжал Зинины руки:

— Видишь, я выстрадал свою веру и не отступаю от нее даже ради любви. Научись верить в мое и по-моему, тогда ты сумеешь взглянуть по-иному на мир и людей.

— Верить!.. Не умею еще, а любить — да, этого уж не вырвешь у меня. Может быть, любя и поверю, потому что хочу верить.

— Да, ты женщина, для тебя чувство прежде всего, вы им жизнь измеряете! Только любите!

Пошел в барак допрашивать Белопольского.

Красногвардейцы пили из котелков чай.

— Где товарищ Калябин?

— Белогвардейца повел!..

— Допрашивал?

— Ни слова не сказал, молчит проклятый!

Афонька вывел офицера за гостиницу в лес. Ариша, плача, хватала за руки брата:

— Афонька, братец ты мой, пожалей его, меня пожалей!

— Не лезь не в своё дело! Осрамила меня.

— Афонечка!..

Отмахнулся от ней, оторвалась, упала на мох, закрыла руками лицо и приникла к земле, лишь бы не слышать ничего и не видеть.

Свистел между соснами ветер, воюющий по-осеннему, скрипели, шатаясь, стволы, охая точно леший в глухом кружале и шумела, взвизгивая, черная хвоя.

Кровь разбудила буйное у Афоньки.

Оседая на хроющую ногу, возвращался, пошатываясь:

— Эй, сестра!

Наткнулся на согнувшуюся фигуру у земли черную:

— Будет реветь, знаю что делаю!.. Замолчи.

Поднялась и медленно, — ветер ее колыхал в стороны, — пошла к скотному.

Долго, уткнув голову в руки, плакала над столом о жизни своей потерянной, и брат не обрадовал.

— Как ты сюда-то попала?! Кто тебя заманул?.. Николка что ль?!

Еще сильнее стиснула голову и навзрыд заплакала.

— Игуменскую была? Говори!

— Мучил меня... Деваться некуда было... Из монастыря меня выгнали.

— Послушницею была?

— Там купчиха жизнь мою отравила... Денисова.

— Какая Денисова?

— Келью построила себе, меня послушницей... Деньги у ней от купца нашего, Галкина.

На всю келью выкрикнул:

— Дунька? Она?!

И замолчал. Злоба еще тяжелей осела. Думал, — Дунька, ее мучила, знала стерва, меня помнила, за меня и ее. Про игумена вспомнил, — бурлило внутри, жгло всего:

— А тут Николка тебя? Говори!

— Он...

И опять пронеслось в голове, — и он ее за меня, — сироту погубили, сволочи.

— Жила с ним?

— Жила...

— Бросил?!

Слезы выжгли слова. Платок с головы сполз и рассыпались рыжеватые волосы, — Феничкины ему напомнили, очерился злой улыбкою, мелькнуло опять: с Петровским жила, — теперь мой, не выпущу. Кровь подымалась мутная, тяжелели руки.

— Сволочь!

Стукнул кулаком по столу:

— Ладно ж ты!

Пошел в монастырь к игумену.

Дверь не закрыта, — Костя не вернулся в покои. По памяти шел. Вспомнил рундук — цел еще, Савва поставил. Дверь из спальни в приемную полуоткрыта, и тусклый моргающий свет. Тишина.

— Николка!

Пронеслось эхом...

— Николка!!

Задребезжала вьюшка в трубе.

В спальню заковылял через приемную; наткнувшись, завалил кресло, гулко хряснула ножка.

Отшатнулся от двери.

На отдушине, закусив язык посиневший, в одном подряснике Николка висел. На столе огарок мигал и блестели двугривенные.

Вернулся в покои и неотступно давила мысль, — на скотный пошел, Аришу там встретит, и эта мысль овладела

им до конца. Водил блуждающими глазами; не зная зачем, достал двугривенные, — хранил их на память; вспомнил богатство свое, — Афонька меня обокрал, может быть, я тоже остался бы в городе, — и рядом с рыжими кудлами встала Феничка, еще сегодня думал о ней, когда на допросе встретился; запомнился голос Афоньки — довольный и торжествующий, — смеется надо мной... Сел за стол, не моргая, уставился на двугривенные — от режущей боли слепли глаза, наливаясь кровью. Яркими точками вдавились зрачки и, подняв на мгновение голову, увидел и на стене, и в черном окне — двугривенные, потом они начали золотыми казаться. Шептал, — всю мою жизнь... всю жизнь... И медленно где-то под черепной коробкой, в какой-то извилине мозговой жгло: а теперь кончено, ограбила, кончена жизнь. Казалось, что Ариша его ограбила.

Злоба безысходная осталась. Выбежал из покоев, вспомнил про арестованных и почти бегом заковылял из монастыря. Постучал в барак, взял двух человек с фонарями и, бормоча, пошел к дачам:

— Я покажу вам, я покажу!..

Захмелевший и обессиленный шел к гостинице. Ночь была черная. От фонаря падал свет, и ползла, исчезая, кудлатая тень, хромающая.

В одном окне увидел свет и мелькнуло лицо Фенички.

Обрадованно закричал:

— Фекла Тимофеевна!

Снова мелькнула Феничка, и сейчас же в окне потух свет.

— Прячется! Все равно разбужу.

Загасила свечу, выбежала в коридор, замкнула номер замком и бросила ключ за шею, из кармана вынула от своего номера. Заколебался свет фонаря, навстречу пошла Калябину, улыбнулась ему:

— А мы ждали вас чай пить, товарищ Калябин.

— Некогда! Белогвардейца поймал. Чайку бы я и сейчас выпил с вами.

Быстро мысль пронеслась у Фенички, — примус будет шуметь, не будет слышно.

— Я согласна. Никодим спит. Идемте в мой номер.

Гудел примус. Запыленный, грязный номер; смотрели со стен развешенные картинки пустынного Симеона, над дверью под стеклом темнел общий вид пустыни — стены и собор белыми пятнами.

Деревянный стол покачивался под грузным локтем Афоньки, и при каждом движении скрипела старая деревянная кровать с войлоком. Пахло пыльною паутиной и невыветривающимся запахом ладана и свечей. Вместе со столом покачивался и фонарь, колебля тяжелую тень Афоньки. Поставил на стол его между Феничкой и собой, от него поблескивала кожаная куртка Калябина, темными буроватыми пятнами и крестообразно ее пересекали тонкие тени проволоки, перевивавшей фонарные стекла.

Без кожаной куртки, без кепки, волосы отливали золотом, медленно, тяжело подымалась грудь, упругая, как у девушки.

Афонька не сводил глаз с Фенички.

Монастырские чашки с синими ободками дымилась паром.

Успокаивался, затихла злоба и появлялась на скулатом лице улыбка:

— Опять привелось в монастыре с вами быть, Фекла Тимофеевна!

— И чай пить. Смотрите и чашки те же...

— Мы-то вот стали другие.

— А хотели вы быть монахом?

— Если б вы были Феничкой, а не Феклой Тимофеевной.

Вспомнил что-то, вздохнул.

— Ну?!

— На лодочке бы вас покатал!

И вспомнив, улыбнулся спокойно:

— А Николка-то ваш — повесился.

Дрогнула чашка в руке, сейчас же овладела собой:

— Когда?

— Вечером. Это он меня испугался.

Шуткою хотела отвести кошмар надвигавшийся, улыбнулась.

— Я вас тоже боюсь, Калябин.

Афоньке хотелось кончить начатое:

— А с теми расправился, с мельниками...

— С какими мельниками?

— Ну, с монахами. Рыжий, маленький, с животом, плакал все время, а лавочник Аккиндин всю дорогу грозил мне гееной огненной, только Мисаил молодец — напоследок выругался. Мне даже жалко стало его.

Спокойно, пристально смотрела на него с холодной улыбкой и тенью побежала мысль по лицу, застывая в глазах.

— Опять вы хотите, чтоб я переселилась к Петровскому? Тяжелым хрипом вырвалось у Афоньки:

— Фекла Тимофеевна, так ведь они всю мою жизнь испакостили. С молодую озорство было — ходил под купчих, — сами знаете, а потом через это вся жизнь пошла пропадом... Если б не вы — совсем бы пропал, может и на каторге был бы... А за вами вот, как за звездой вифлеемской иду. Сами ж мне говорили — теперь хоть на край света, — не мучайте, только скажите, — на руках понесу...

.. — Я, Калябин, тяжелая, не поднимете.

.. — Вы вот все шутите, а вы знаете, что монахи-то эти, Николка Предтечин, игумен святой обители... сестру замучил мою?!

— Как? Какую сестру?

— Аришу. Родную сестру. Единственную! Поизмывался над нею, да бросил. Да я весь монастырь разворочу ихний!

И пристально посмотрев на нее, тем же тоном закончил:

— Они и вам не дают покою, монахи-то эти!.. Николка же...

Сейчас же встала подкачнуть примус. Красное пятно раскаленное загудело сильнее и сильнее захлюпал в чайнике кипяток.

— Что ж, по-вашему, миловать их?!

— Не быть жестоким таким.

— А вы со мной не жестоки?! Всю жизнь я за вами иду! Вы разве меня не мучаете?

— Больше не буду мучить!

— Фекла Тимофеевна!.. И на край света со мной пойдете?

— На край света — это очень уж далеко, а вот в лесу погулять мне хочется. Только одна я боюсь, — время теперь не такое.

— Пойдемте со мною. Утром завтра, пораньше.

— У вас завтра следствие.

— Ну их к черту, дела эти, успеется;; Никодим Александрович и без меня управится с этим следователем. А скажете мне?

.. — Что?

— Теперь хоть на край света?!

.. — Рассмеялась, встала из-за стола:

— А теперь спать надо, второй час!.. Я хочу завтра быть сильной, бодрой и свежей. Без этого я и сказать ничего не смогу.

— Фекла Тимофеевна, а скажете?!

— Если расслышать сумеете.

— Я-то, — сердце все расслышит.

Нахлобучив на рыжие космы кепку свою, взял со стола фонарь и, весело улыбаясь, заковылял в коридоре темном.

Легла, долго прислушивалась — не идет ли, не шаркает ли хромая нога. Не спала, — настороженная дремота будила ее от каждого шороха. Утром поднялась раньше всех.

За утренним чаем следила за каждым движением Калябина. Сидел, жадно с блюдца отхлебывал, лошадиными зубами покусывал сахар и поглядывал на Феничку выжидательно.

Петр Петрович Новиков разбирал бумаги, Петровский курил. Феничка поднялась, на крыльцо вышла, Афонька следом, — отодвинул чашку, кепку одел.

— Товарищ Калябин, идемте допросим.

— Чего их допрашивать?! Я с ними по-своему вчера говорил?

— Расстреляны?

— Смотреть что ли буду? Под горячую руку попали мне.

Петровского передернуло. Новиков, закрыв за Афонькою дверь, обратился к Никодиму:

— Ну?! Видите!

— Все равно, Петр Петрович, мы должны продолжать следствие и собрать показания от других монахов. Мы должны показать, что дело ведем. Этим мы крестьян успокоим и отвлечем возбуждение перед вскрытием.

Вышла на крыльцо, остановилась у колонны. Поднялся туман, в разорванные облака прорывалось солнце. Не заметила, как подошел сзади. В шею дыхнул словами:

— Фекла Тимофеевна!

Обогнули монастырь справа и вышли за скотный двор.

— Идемте на озеро глянem.

Около мельницы копошились мужики. Глубокие берега обвалились, по озеру торчали обнаженные пни, на одном елка дремала, с криком носились дикие утки над обнаженными камышами, и в мутных мелях зеленели головки отцветших кувшинок и темными нитями колыхались длинные стебли лилий. Зеркало потускнело, только в затонах взблескивали на солнце смутные отраженные тени прибрежных сосен. Лес угрюмый стоял, нахмуренный, осиротелый, жалобно взвизгивали над ним бездомные чибисы.

— Красоту-то какую сгубили!

Афонька вздрогнул. Тяжелым взглядом смотрел на озеро.

— И кататься нам не пришлось!

У Фенички улыбалось лицо, а глаза острым напряжением замерли, следили за каждым движением Калябина, за выражением лица, за каждым мускулом.

Спокойный стоял, уверенный, силой дышал буйною. Ждал своего часа.

— Пойдемте по берегу, глянем!

Твердо на землю ступала, напряженные мускулы налились тою же напряженной мыслью. Хрустел под ногами густой валежник и мякла нога в сырой мох. Непрочищенный лес кустарником позарос, молодыми елями, скрипели о кожу влажные ветки иглами.

Не знал, как подступить к Феничке, непонятная робость опустила отяжелевшие руки и чем глубже в лес уходили, чем темнее и холоднее было в нем, тем спокойнее Афонька дышал:

— Теперь не уйдет!.. Сама пошла. Звезда моя вифлеемская...

Продирались через гущу у самого берега, остановилась у черной плесени глухого затона, с одной стороны стремительно широким желобом сползла вода, водоворотом кружа мутную воду. Остановилась и загляделась в него, ожидая.

Афонька подошел сзади, громадною рукой охватил за талию и почувствовал в руках своих Феничку, упругое тело — рванулся и все в нем рванулось, закружилась голова, поплыла:

— Фекла Тимофеевна!.. Феничка!

Сдавил ее крепкие бедра, повернул к себе и мутными глазами искал губы.

Глубоким вздохом вырвалось у него:

— Феничка!..

— Задушите вы меня!

— Задушу, Феничка.

— Пустите, я еще не сказала вам ничего.

Улыбнулся, выпустил. Феничка засмеялась:

— Отдышаться не могу!

Широко ноги расставил, взглянул на заводь. Не торопился, захотелось, чтобы длительно до бесконечности была эта минута, — ждал ее целую жизнь, насладиться хотел медлительностью, — моя теперь, не уйдет, никуда не пушу, мертвую разве!.. Ощущал еще плотные и сухие губы

ее и щурился, чтоб через минуту, — первый глоток ожег и разливался жаждою по всему телу, — через мгновение, когда проникнет первый глоток во все мускулы и колыхнет буйную кровь жадностью голода, смять, раздавить и насытиться.

Чувствовала напряженно, что через минуту, через одно мгновение будет поздно — не вырваться, не спастись и надо, не теряя ни одной секунды, что-то сделать, продлить в нем первый глоток, замедлить его. Прилегла к нему сзади, облокотившись левой рукой на его плечо и медленно, тихо, певучим и дрожащим от волнения голосом начала говорить, следя за мускулами его лица, прислушиваясь к нему своим телом.

Как музыку слушал, не шевелился, и, туманя голову, медленный разливался первый глоток, хотелось, чтобы он без конца струился, обжигая волнами кровь. Чувствовал горячее дыхание ее на шее за левым ухом и еще сильнее пьянел от него.

— Как хорошо тут...

Отдавалось во всем теле Афонькином, — хорошо!

— Страшно и хорошо.. В такие минуты всегда человеку жутко... Как над пропастью, над бездонным омутом... Тянет в него... а потом...

И тихо, не шевеля ни одним мускулом, опустила правую руку в карман. Точно не своя рука, отделенная от всего тела, скованная тонкою нитью решения — медленно и осторожно поднялась к затылку Калябина; слева еще медленней плыли слова, еще горячее, обдавали дыханием его шею и напряженней следили глаза за мускулами лица Афоньки.

А потом, в одно и то же мгновение, почти уже без сознания, одновременно выстрелила в затылок, оттолкнула от себя в черный омут и вскрикнула вслед:

— ...хоть на край света!

Плотно сжала глаза, откинулась к стволу дерева, цепляясь рукой за него, чтоб не упасть и услышала всплеск воды. Не шевелилась, не открывала глаза и прислушивалась.

Лес глухо молчал, над озерными мелями кричали дикие утки и плакали, взвизгивая, бездомные чибисы.

Потом открыла глаза, глубоко, сильным вздохнула выдохом:

— Какая тяжесть была!.. Всю жизнь!

Освобожденная от бесконечной муки, глубоко дышала

влажным воздухом. Первые шаги были тяжелыми. Ослабела. Не взянув, отошла от омота. Сердце колотилось тяжело, гулко. Но с каждым шагом возвращалась сила, уверенность. Мускулы наливались бодростью и хотелось раствориться в проблесках синевы. Подняла руку с револьвером, улыбнулась и бросила его в озеро.

Возвращалась через монастырь. Всю дорогу думала о Борисе и чувствовала за рубашкою ключ от номера, — не раздеваясь. спала и не вынула.

Спросила у проходившего монаха:

— Где живет этот черный монах?

Постучавшись, вошла в келью. Отворил Алексей, сказав Поликарпу:

— Комиссарша пришла к вам, говорить хочет.

Не ждал, но и не удивился. Пропустил в келию-кабинет:

— Что вам угодно?

Быстро посмотрела на стол, на шкафы, на деревянную кровать с одним войлоком и заметила у двери послушника.

— Алексей, выйди!

— Я — Феничка. Верните Бориса мне!

Смотрела горячо в черные глаза Поликарпа голубым, солнечным от любви взглядом, протянув руки свои монаху.

Поликарп взял эти протянутые руки, и они сжали сухую руку монашескую. Медленно и задумчиво произнес, вглядываясь в глаза:

— Вы... Фенич... ка!..

Выпустил руки ее.

— Верните его!

Внимательно спросил и в вопросе уже был ответ, короткий и утвердительный:

— Любите?

Потом монах улыбнулся строго.

— Он у вас, я не могу его вам вернуть. Ваш товарищ его арестовал без меня.

Вывалось, также горячо и порывисто:

— Спасти!

Поликарп сдвинул брови.

— Он вернется сейчас.

Монах подошел к двери, открыл ее, оставив руку свою на ручке, — точно себя распахнул перед Феничкой, указывая ей дорогу:

— Идите!

Феничка взглянула в глаза ему, поклонилась и пошла к Петровскому.

Вечером, когда Никодим освободил Зину, вошла к нему Феничка, услышав от Новикова об аресте девушки. Петровский ходил по комнате и беспрерывно курил.

— Никодим, что же делать теперь?

— Не знаю. Как я не вспомнил, что Белопольский может быть ее братом! Речь не о нем. С врагами мы одинаковы. Но она сестра его, — понимаешь, на ней осталось пятно и оно легло на меня. Калябин это запомнит...

— Да Калябин... опять ты работаешь с ним.

— Теперь он как рыба в воде, — в своей стихии плавает. Старые обиды припоминает монахам. Видела, как он торжествовал над игуменом. Монах из него не выдохся и еще отвратительней стал. Разгулялся Калябин, не остановишь. А теперь у него в руках обвинение против меня и я не знаю, чем сдержать его буйство.

— Я его тоже боюсь. Он приехал сюда за звездой вифлеемскою... всю жизнь эта тяжесть! Ты видел, как он на Смолянинова смотрел, я только потом опомнилась, когда ты его оттиснул за дверь... всю жизнь эта тяжесть.

— Да, Феня, всю жизнь. И мы с тобою в руках у него. В сущности он же преступник!

— Зачем же вы терпите их?!

— Ты веришь, я точно в плену у него. Тогда он предал меня...

— Из-за меня.

— А теперь... моя любовь к Зине пятном ляжет, потому что брат ее...

— Освободись от него. Иначе он и меня прикончит — раздавит, разомнет, — брр!.. Ни за что!

— Как? Он честен. Он действительно пролетарий, он искренно верит в правоту своего суда. Для него враги все, кто не такие же как он сам, в то же время в нем настолько живет его прошлое, — оно всосалось в него, стало кровью его и дыханием, что он не может понять многого, что творит преступное. В нем честно живет преступление. И я может для него уже враг. Он и со мной не задумается ни на минуту расправиться.

— Освободись от него.

— Ты видишь!..

— Но ведь это снова тяжелый гнет. Он и Бориса не пощадит.

— Второе пятно. Каждую минуту он может случайно найти его. Этого нельзя допустить. Я должен отправить Смолянинова в монастырь или перевести к арестованным.

— Ни за что!

— Иди говори с ним. Через полчаса я его в монастырь отправлю.

— Я Бориса не дам. Сейчас в этом жизнь моя, я люблю ее и не уступлю никому свою жизнь задаром. Я должна освободиться от гнета и жить. Я хочу жить.

— Иди, говори!

Молча сидел в тишине, похрустывал волнующиеся пальцы рук. Снял скуфейку и держал ее на коленях.

— Зачем она говорить будет?! Что ей от меня нужно?

Вспомнился огород, солнечные дни, золотые снопы, тихое небо в крупных звездах, холодный поток реки и свежесть утренняя, — и чем крепче делались мускулы и покрывалось загаром лицо, тем сильнее к жизни тянуло и мелькал образ Фенички, не видел ее, но чувствовал, вздрагивая по утрам от толчков бьющегося сердца.

— Отчего это со мной?.. Так часто!..

Стыдился своего пробуждения, но целый день чувствовал жизнь, и ее, Феничку. Никогда не думал о ней, но во всем и везде ощущал ее. Золотая кора сосен жгла сердце, — опускал глаза. Золотые круги солнечные слепили глаза, — склонял голову. Песчаное дно реки казалось золотым от смолистой лесной воды, пропитанной травами, мохом, папоротником и желтыми цепкими корнями сосны, — плескался в этом золоте, стекало оно струйками по мускулам и оживляло его — убегал в шалаш.

В последний день боролся с собой, когда глаза ее, волосы увидал и отступил перед комиссаром за дверь. Мучительно старался вспомнить умершую и в душе за нее молиться, но видел другую и мускулы ныли, сохло во рту. Неотступная мысль, — с-ними она, с назарееми!

Ждал ее и сопротивлялся своему ожиданию.

Быстро и тихо вошла, дверь защелкнула на крючок.

Радовался темноте, — не увидит ее глаз и волосы.

Подошла, — поднялся и молча ждал. Взяла за руки. Не видел, но чувствовал тепло ее рук, присутствие ее, дыхание и все время боялся потерять мысль, что он монах, что он навсегда отказался от жизни, и счастье для него — подвиг, молитва и отречение.

— Боря, я приехала за вами. Я хочу жить. Без тебя

у меня нет и не было жизни, я только готовилась к ней и ждала, дай ее мне.

Потом чиркнула спичкой, зажгла свечу:

— Посмотри, здесь ты и твой сын.

Вынула медальон, раскрыла его. Вспомнил его, подошел. Не снимая с себя, подала в руки. Золото таило еще в себе теплоту ее тела и дохнуло ее неуловимым запахом — пряным и горьковатым. Дрожала рука и ему передавалось это тепло, покалывая ладонь и разбегаясь искрами по всему телу.

— Посмотри!

Испуганно заглянул на карточки, увидел себя в студенческом, на другой половине лицо мальчика. Вспомнились слова Зины. Феничка наклонила голову, волосы защекали лоб ему и край уха. Отшатнулся, стучало в висках. Вдохнул тепло, исходившее от упругого колебания ее груди, — сжался в комок, сделалось душно, жутко, нечем было дышать.

— Что же ты?!

Молчал, опустив голову.

Феничка бросила медальон за блузку и отошла к окну. Увидела колеблющийся свет фонаря и хромающую фигуру Афоньки. Подбежала к Борису, взяла за плечи и тревожным взглядом, сияющим из глубины любовью, прошептала ему, потушив свечу:

— Не шевелись. Жди меня. Я должна спасти твою жизнь. Боря!..

Выбежала в коридор навстречу Калябину.

И всю ночь не двигался. Упрямо одна мысль, одним словом вылилась, — нет, и чем сильнее повторял ее, тем яснее чувствовал Феничку. Казалось, что она еще в темноте, хотелось крикнуть:

— Не мучай меня, уйди! Я не пойду за тобою. Никуда не пойду.

Усталость склонила голову, сидя заснул и открыл глаза, когда было уже светло. Не мог определить времени.

Вспомнил о происшедшем и о Поликарпе.

— Что с ним? Жив ли учитель?!

Новиков произвел дознание, допросил еще раз монахов и Поликарпа.

Вынесли постановление: всему монастырю исправить мельницу и восстановить плотину.

Петровского Феничка нашла в номере.

— Где ты была?

— С Калябиным ходила гулять.

— А он где?

— В деревню поехал, встретил знакомого.

— Что ему делать там? Безобразие, никакой дисциплины.

— Старое вспомнилось, — рассмеялась Феничка, — не может позабыть прошлого.

— Где же он, в Полпенке?!

Феничка пристально посмотрела в сторону леса, точно соображая время и расстояние. Потом острый огонек обжег ей глаза и она уверенно ответила Никодиму:

— Проводил меня почти до монастыря. Спичек не было прикурить. Остановил встречного крестьянина на телеге, подошел к нему, а потом махнул мне рукой и крикнул, — на часок загляну в Гурьево. А ты, вот, скажи мне, где мой Борис.

— Я совсем позабыл было — знаешь новость, игумен повесился. Сегодня вечером вскрыем мощи. Я здесь задохнусь, не выдержу.

У Фенички по лицу пробежала судорога, — повесился. И сейчас же Бориса вспомнила:

— Смолянинова я сама отведу.

— А Калябин?

— Он не скоро вернется.

Никодим остро вздернул плечами и вышел из номера.

Борис сидел по-прежнему неподвижно. Легко вошла в номер и, улыбаясь, протянула руки:

— Я пришла за тобой, сама тебя отведу к Поликарпу. Пойдем.

Снова отворил Алексей и молча пропустил в келию.

Борис молчал, опустив голову. Черный монах, сдвинул брови, пытливо смотрел на него.

— Я привела, верните его, он мне ничего не сказал, ни звука.

Поликарп закрыл за Феничкой дверь. Борис сел у стола, положил на локти голову. Черный монах подошел и положил свою руку на склоненную голову ученика. Борис не выдержал и заплакал беззвучно, только плечи подергивались.

— Я тебе говорил: кто хочет быть сыном царствия, тот

должен пребывать в мире и не прятаться, как улитка в раковину.

Слова прерывал молчанием, не отнимая руки.

— Слезы твои от любви. Оставь мертвецов, — в тебе жизнь, и если ты не хочешь быть живым трупом — иди к людям в мир.

Еще ниже опустилась голова плачущего.

— После бога лучшие мысли твои должны принадлежать женщине, она для нас божественный храм, в котором мы получаем полное блаженство; черпай в этом храме силу любви, от него родится все, что населяет мир, — мать и жена — неоцененное сокровище, праматерь всего рода, источник жизни и смерти, — без нее — смерть, не предавай душу свою и тело смерти, самоубийство противно всему живому и оскверняет родившую тебя и питавшую сосцами своими, с молоком ее ты всосал жизнь и любовь ее, не подвергай ее унижению. Когда она зовет — зовет жизнь; молчание твое хуже презрения, не унижай им жены и матери, этим ты унижаешь только самого себя и теряешь чувство любви, без которого ничего здесь на земле не существует и что ты сделаешь для своей матери, жены, вдовы или другой женщины, — сделаешь это для бога, а бог есть любовь, и она в женщине; отвергая любящую тебя и любимую, — слезы твои от любви, — благодатные, — ты отвергаешь бога в себе, любовь и неоценимый в тебе дар — жизнь, выше которого и драгоценней нет на земле. Иди в мир! Люби жизнь и тебя возлюбившую и бремя твое легко будет!

Слезы утикли. Слушал учителя и умиротворенно разливалось тепло и успокоение.

— Встань!

Поднялся, взглянул Поликарпу в глаза, — ровный свет глубины исходил из них и наполнял твердостью.

— Приемлешь его пришествие?

— Приемлю.

— Иди в мир. И во имя грядущего царствия создай новую жизнь, чтобы было кому возрадоваться и насладиться в нем и радость его будет радостью родивших его — жены и мужа. А я должен остаться здесь, — разыскать и спасти погибшее. Моя жизнь, — она умерла вместе с раздавленной в соборе толпой, а твоя там... в мире... в тебе и с тобою.

Черная рука поднялась и указала на монастырь.

Вошел Алексей:

— Пошли уже.

— Борис, пойдем вместе.

Звонили колокола, гудела вода, ломая сосны прибрежные, монахи вышли из келий своих в палисадники и крестились.

— Что это, что?

— Знамение всевышнего! Старец указывает пути...

Никто не знал, отчего зашумела вода, отчего ложится лес и боялись двинуться.

Вбежал Алексей и крикнул:

— Запруду спустили мельничную.

Подумали, что полпенские мужики озеро погубить решили.

Ксанфий с Аккиндином выбрали Мисаила и самых надежных, никто не видал, когда и куда из монастыря они вышли. Бросились к игумену — не нашли. Заполыхали отсветы факелов, вырвавшись клубом из лесу.

Монахи не ждали, что так скоро приедут вскрывать и бросились в келии, зашептав:

— Приехали... приехали... приехали...

Вратарь Авраамий сказал:

— Впереди, — самый главный... Большой, глаза огненные и хромает.

И шепотом понеслось:

— Огненный хромает... Главный с ними, главный...

Утро ждали — что скажут. И когда подошли полпенцы и загалдели...

— Спалить их...

— Монастырь пустить по ветру.

— Черное воронье распугать...

Монахи видели, как окружили мужиков солдаты с винтовками, и пришли главные. И новый страх обуял монастырь:

— Судить будут... судить...

Никто виновных не знал. Спрашивали друг друга. Васька бегал, звеня веригами, и кричал про антихриста и его воинство и еще сильнее нагонял ужас. Из келий никто не вышел и когда увидели, как повели Гервасия — пробежала дрожь:

— Знак антихриста носят... звезду красную... о пяти концах...

— На всю вселенную его власть...

О том, что мощи будут вскрывать, забылось, главное — суд.

Прилипли к окнам и ждали.

— Черного повели, черного...

Через несколько минут увидали бессловесного Костю, а затем и Ксанфия, Аккиндина, Мисаила и остальных.

Задами перебегали друг к другу, крестясь и молитвя:

— Каждого поведут, каждого...

Начали прятать в потайные места накопленное, подбежали к окнам:

— Рыжая дьяволица прошла...

— Пророчица ихняя...

— Царица сатаны главного...

И когда прибежал с криком Васька блаженный, звеня веригами и взмахивая руками, — не выдержали — выбежали из келий расспросить его о судилище.

Юродивый, захлебываясь, бормотал:

— Николушка, Феничка тут, Феничка... дьяволица твоя, — глаза огненные, говорил тебе — веничком, веничком, изгони Феничку веничком.

Просфорник Епифрас теребил блаженного за подрясник, поправляя очки и сопя носом:

— Какая, Васенька, Феничка?

— Николкина, ох, Николкина... приехала погубить с Афонькою...

Вспомнили, что Гервасия звали послушником Николаем, Епифрас и Гракину вспомнил, за просфорами бегала к нему по утрам, — объяснил братии.

— Афонька-то... это кто, Васенька?

— Игуменский рыжий, Саввы игумена Афанасий... Дьяволица-то с ним, с ним она... Главный он, главный слуга антихристов... Повели, всех повели, — наступил судный час... кайтесь... Николушка, погубит тебя дьяволица... Руками друга твоего ближнего... час погибели...

Шептались по углам испуганные:

— Знает он, все знает... игуменский был...

Монастырь пустовал — попрятались и ждали Афоньку. Вечером Поликарп вернулся из-под ареста в келию, Алексей рассказал молодым монахам. Про игумена и уведенного Бориса забыли. Ждали, что ночью придут и поведут всех по очереди. Слышали в лесу дикие крики, выстрелы — молились, стучаясь лбами об пол. Ночь пережили бессонную. Только молодые монахи с Поликарпом стояли в соборе у гроба Акакия и на заре, без

свечей, звона, с тихим пением пронесли его через монастырь на кладбище у скита. Сзади шел Васька, опустив голову, не плача, а охая.

С кладбища возвратились тихо и разошлись по келиям.

Васька отстал и сел на порожках у покоев игуменских.

Дверь в покои игуменские осталась незакрытою, Костя не вернулся к себе на рундук, остался у послушника Поликарпа в каморке.

Васька долго молча сидел, потом очнулся и прошептал:

— Акакий, Акакий...

Заметил открытую дверь, не зная зачем, вошел в покои:

— Николушка...

Пошел дальше и через минуту выбежал из покоев, упал на порожках, окровянил лицо, вскочил и диким, безумным голосом закричал:

— А-а-а-а!..

Показывал рукою на дверь, рука дергалась и тряслась.

По всему монастырю неслось:

— А-а-а-а!..

Из ближних келий выбежали монахи, увидев окровавленное лицо Васькино, остановились вдали и смотрели.

— Это он его за Феничку!

Блаженный, увидев монахов, мотнул головой и выкрикнул тем же диким и безумным голосом:

— По-ве-е-сил-ся!

Бросились в игуменские покои.

Васька кричал:

— Язык у него, язык... сатана вытянул!.. Погубила тебя, она погубила... Феничка!

Возвратился с допроса Поликарп и прошел в игуменские покои.

Расступились перед ним молча. Черные брови сдвинулись, приказал:

— Снимите.

По имени игумена не назвал.

Монахи не двигались. Поликарп повторил:

— Снимите.

Паисий подошел, а за ним и собравшиеся.

— Заверните его в одеяло.

Исполняли молча, только шелестели мантии и подрясники.

— Отнесите и закопайте за скотным двором.

Вынесли из покоев и через задний двор, через ворота конские, через те, что целую жизнь бегал из монастыря, понесли к скотному.

Только Васька один бормотал:

Николушка, погубила тебя Феничка, погубила... дьяволица рыжая... говорил тебе, веничком, веничком, изгони Феничку!

Иноксы зашептали, смятенные:

— Кому быть игуменом...

— Кто укажет обители путь.

Молодые к Поликарпу пришли. Досифей шамкал:

— Говорил я... говорил — не пошлушали...

Тряс горбом, стучал костью, сгибаясь до земли.

И сейчас же, когда Феничка привела Смолянинова к Поликарпу, разнеслось:

— Вскрывать будут...

— Вечером...

— Убоялися днем слуги антихриста.

Все время в монастыре растерянность была и метание. Смерть Акакия, первый допрос, ночные выстрелы, снова допрос и самоубийство игумена, и все время обрывалась мысль, пораженная новым ужасом. Ходили, бегали по монастырю растерянные, шептались, выкрикивали, слушали Ваську блаженного, и все как во сне, с остановившимися бессмысленными от страха глазами.

И когда пронеслось — мощи вечером вскроют, — опомнились, очнулись от ужаса и ужас перешел в ослепление фанатизма. Молодые монахи молчали и с суеверным страхом смотрели на Поликарпа и ждали, что только он волеет им силу живую, а старики, пошатываясь от бессонных ночей, с раскрытыми широко глазами, показывали на Поликарпа и говорили:

— Покарает господь... покарает богоотступника.

Ждали, что кто-то придет и сотворит чудо, и слуги дьявола, пораженные гневом огня и молнии, падут ниц; и встанет Симеон старец творить чудеса.

— Избавил преподобный Акакия... призвал в обитель свою.

И прежние враги старца стали друзьями его и во всем обвиняли монаха черного.

Васька выкрикивал:

— Покарал господь... покарал неверие... покайтесь братие... Николушка, ты погубил обитель святую...

За ним повторяли монахи:

— Нас покарал вседержитель, недостойного выбрали, недостойного...

— Братия соблазнялась о нем по игумену...

— Кого изберем воспреемником... Акакия нет — кому указать достойного.

— Дьяволица твоя, рыжая... Николушка, она погубила и братию, и тебя, — Николушка!..

Досифей ерзал острыми глазками злыми и шамкал:

— Антихриста допустили черного... Шуд гошподень над ним, — шуд преподобного... великое шотворит чудо... великое...

Явилась уверенность, что преподобный не допустит к себе воинство сатаны с печатями, с тайными знаками на лбу — пятиконечными звездами.

— В храм, к преподобному... всем до единого...

Но когда подошли к собору, увидели у дверей его двух человек с винтовками, охраняющими.

Падали сумерки, сгушался туман и свистел ветер осенний по верхам сосен.

— Слышите, слышите, — бесы возрадовались, к пустыни подступают. Слышите — воют, визжат... из тьмы... из геенны огненной!..

Во время суда и следствия со станции принесли телеграмму.

Петровский вскрыл ее, пробежал — одним взглядом, и сказал Феничке:

— Нам немедленно возвращаться нужно! Белые заняли ближайший город. Немедленно!.. Вскрыть и сейчас же ехать.

Петровский волновался, вызвал начальника отряда, приказал поставить у собора охрану и сейчас же вызвать из ближайших деревень население.

— А товарищ Калябин где? Как же без него?!

— Пусть расспросят крестьян. Пошел в Гурьево!

— Послать двух человек из отряда верхами за Калябиным.

К сумеркам из лесу выползли мужики и бабы, наполняя смутным говором монастырь, прислушиваясь к монахам. Бабы тихо плакали и крестились. Молодые солдаты посмеивались, старики хмуро их обрывали.

Петровский ходил по номеру, бесконечно курил, посматривал на часы.

— Безобразия, уходить, ничего не сказав, — ворчал он, ожидая Калябина.

Всадники, посланные в Гурьево за Калябиным, возврати-

лись и сообщили, что подле села они натолкнулись на белогвардейскую разведку, пытались задворками проникнуть в село, чтобы разузнать про Калябина и не смогли. Через Полпенку вернулись обратно; лошадей бросили в Гурьеве.

Петровский снова вызвал начальника отряда:

— Калябина я ждать не могу. Мы должны немедленно возвращаться в город. Наше присутствие необходимо там, где опасность. Надо скорее кончать с мощами.

— Ребята спрашивают про Калябина. Беспокоятся — все ли тут по-хорошему.

— Объясните, товарищ, им, что Калябин, по старой памяти хотел навестить кого-то в селе Гурьеве. Наткнулся на белогвардейцев и, вероятно, не имея возможности возвратиться сюда, остался с нашей частью или уехал в город. Посланные подтвердят. Прочтите им телеграмму из губвоенкома. Сейчас же вышлите на посты. Будем вскрывать.

Последние слова он говорил на ходу, спеша в новую монастырскую гостиницу.

Слесаря, прокатчики, цеховые дымных заводов пошли в монастырь и наполнили его своими кепками и громким веселым говором. Деревенская молодежь осмелела, старики попримолкли, только монахи шептались, крестясь и шелестя чернокрылыми мантиями.

Возвращаясь в свой номер, Петровский зашел к Зине:

— Пойдем, сейчас будем вскрывать.

— Никодим, не могу... страшно мне... не могу.

— Пойдем...

— Не выдержу я... противно мне.

— Через час уезжаем. Жди у гостиницы, подадут линейку.

Черный монах всходил первый. Гремя ключами, отодвинул тяжелый засов и пропустил Петровского. Первые шаги гулко отдались в куполе. Никодим, товарищи его и красноармейцы вошли, не снимая шапок. Зажгли хранившиеся пудовые свечи у иконостаса и собор запылал светом, заполнился говором голосов, монашеским шепотом и звуком прикладов о каменный пол.

Поликарп, как игумен, молча взошел по ступенькам к раке и стал неподвижно у изголовья.

Феничка искала Бориса, вышла из собора и, возвращаясь в него, увидела прислонившегося у чугунной двери монаха.

Одна только нить связывала его и приковывала — суеверный страх. Не моргая, смотрел вперед и ждал, затаив дыхание. А вдруг чудо, а вдруг все слова учителя ложь! Ждал этого и боялся. Вглядывался в лицо его, — неподвижное, острое, со сдвинутыми бровями; колебались свечи и по лицу пробегали тени, казалось неуловимая усмешка покрывала его и исчезала в суровых черных глазах.

И мгновенно наступила тишина, все замерло.

Монахи, стоя на коленях, боясь поднять головы, ждали великого чуда.

От напряжения Борису глаза резало.

И медленно подняли черную большую фигуру с нашитыми костями и черепами белыми.

Как вздох, в куполе охнул возглас толпы.

Борис прижался к двери, руками закрыл лицо и все еще ждал.

Чей-то голос донесся:

— Тряпок-то ему навернули!

И следом дико закричал Васька:

— Николушка, погубил ты нас, погубил... Рыжая дьяволица... она... она...

Слышал, как гремя веригами, вскрикивая и беснуясь, пробежал мимо него юродивый.

Поднялся говор, рабочие голоса и бабий плач смешались, и сзади всех, тряся горбом и постукивая костью, Досифей шамкал:

— Великое чудо шотворил преподобный, великое... Не дал шебя в руки антихришта и воинства... Под шпуд ушел, в жемлю... явит шебя преподобный великим жнамением... явит шебя преподобный... явит...

Сзади прижавшегося к двери монаха раздалось:

— Борис...

Открыл глаза, увидел издали Поликарпа, — неподвижного, с застывшею тенью у глаз, и медленно, с трудом передвигая ноги, пошел вниз.

Чуда не было.

Тот же голос сказал совсем близко:

— Пойдем.

Сошел вниз и не было сил двинуться, остановился у палисадника крайней кельи у святых ворот. Чувствовал тепло чьих-то рук и, зажмурив глаза, не двигался. Потерял ощущение времени, не знал, где находится и что с ним. Смутно доносился говор, потом чьи-то крики, в ушах гудел стонем набат и закрытые глаза чувствовали красные

пятна. Раздались выстрелы. На один момент донеслось остро, — выкрикнул кто-то:

— Юродивый с колокольни бросился.

Сдавило голову и показалось, что слышит лязг чугунных вериг, видит летящую фигуру черного демона или громадной ночной птицы.

Потом еще раз услышал:

— Голуби в огонь падают!..

И, наконец, совсем ясно:

— Ионикий горит...

Открыл глаза и встретил — большие, сияющие, озаренные пламенем золотых волос.

Обернулся и увидел стоящей неподвижную большую черную фигуру монаха:

— Бог есть любовь, храм его — возлюбившая, молись в нем, не унижай матери и жены, — господу твоего, — иди с ним в грядущее царствие, ибо настали великие дни его пришествия на земле — насладись радостью и блаженством в храме бога твоего... познай истину и бремя жизни твоей легко будет... иди!

Почувствовал опять теплоту рук, дыхание и эта теплота медленно заливала всего, звуча словами учителя.

У гостиницы, волнуясь, пофыркивали лошади. Сырой туман пропитался гарью и дымом, и снова монастырь погружался в темноту и мрак. Колокольня сгорела свечой и тлели еще веревки колоколов.

Петровский подошел к Феничке:

— Где Калябин?

— Ах, Никодим, как хорошо, когда ничего не гнетет душу!.. Когда освободишь свою жизнь от вечного гнета... Только теперь я начну жить!..

Пристально посмотрел и сказал ей вполголоса:

— Смотри, Феня!

— Теперь... хоть на край света!

Обогнали отряд...

Колеса хрустели и вязли в сыром песке, вздрагивая на корневницах. Поскрипывали темные сосны и по верхам гудел, завывая по-осеннему, ветер, донося странную и непонятную песню освободившихся в огне монастырских колоколов, волнующую и радостью, и печалью, — своими последними поющими звуками.

I — III — 1923 г.

II — I — 1926 г.

Чехословакия.

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА

Настоящий текст романа Иосифа Каллиникова «Мощи» напечатан по единственному изданию на русском языке — трем томам, вышедшим в московском издательстве «Круг» (1925 — 1927), и четвертому тому, напечатанному в Берлине (изд. «Петрополис», 1930, под заглавием «Пещь огненная»).

Зная историю публикации романа, нетрудно представить себе, насколько многочисленными были и цензурные, а вслед за ними и авторские сокращения последующих томов. Особенно претерпел изменения III том, когда в российской печати поднялась волна резко неприязненной критики и обвинений автора в порнографии. Иосиф Каллиников писал поэту и переводчику Евгению Соколу 24 июня 1926 года: «III том выйдет сокращенным, по объему он в рукописи равен первым двум и в силу самых разнообразных причин его нужно сократить».

Безусловно, говоря о романе «Мощи», нельзя оставить без внимания и те условия, в которых роман писался. Эмигрант поневоле, которому удалось устроиться на службу, вынужденный думать прежде всего о том, как выжить и уберечь семью — большую жену и крохотную дочку, за четыре года создает большое по объему произведение, ставшее популярным во многих странах мира. «Я вполне с тобой согласен, что в «Мощах» много мелких ляпсусов и провалов, — писал Каллиников Евг. Соколу 25 февраля 1927 года, — но ты, милый друг, знаешь, как трудно они писались, — работать после 8 час. рабочего дня в типографии еще часа 3 — 4 было очень трудно и отделять данную вещь нужно было еще не менее года, а то и больше».² В другом письме Каллиников признается: «Ведь это, собственно, почти черновик, мало обработанный».

Неудовлетворенность текстом публикации заставляет автора вновь и вновь обращаться к роману, заново переживая его неудачу в России. Об этом свидетельствуют дневниковые записи последующих лет. 10 декабря 1929 года Каллиников записывает: «Теперь я не удивлюсь, если меня будут ругать за последний том «Мощей». Прав был Горький, говоря, что так нельзя писать, так не пишут.

Может быть, это от того, что была неизжитая сила...

Недоконченность, недоговоренность — все летит кубарем и что к чему — сам не знаешь потом.

Теперь даже стыдно читать».⁴

¹ ОГЛМТ (Государственный литературный музей И. С. Тургенева в Орле), ф. 51, 11352/6.

² ОГЛМТ, ф. 51, 11352/1.

³ Евг. Соколу, 24 июня 1926 г. ОГЛМТ, ф. 51, 11352/6.

⁴ ОГЛМТ, ф. 51, 8126.

Ко времени выхода последнего тома на русском языке (1930 г.) роман «Мощи» был издан в чешском, польском, голландском, немецком переводах, более приближенных к подлиннику. Лучшим во всех отношениях — текстологическом и полиграфическом — Каллиников считал немецкое издание. Успех романа в Германии был огромен, не случайно после распродажи первого издания в 1928 году, в 1929-ом роман издали снова. Успеху немало способствовал и выбор переводчика — им стал поэт, известный в Германии переводами из Пушкина, Вольфганг Грегер. Об этом Каллиников сообщал Евг. Соколу 3 мая 1929 года: «Немецкий переводчик у меня первоклассный, его рекомендовал мне проф. Арт (ур) Лютер, проф (эссор) — историк русск (ой) лит (ературы) в Лейпциге (наш земляк орловец, его отец и дед были учителями Орловск (ого) кадетск (ого) корпуса, дядя его директором). Лютер учился в Орле, в университет (ете) в Москве и был приват-доцентом. Его друг — мой переводчик, почти немец — москвич, **Wolfgang E. Graeger** (поэт)».¹

Велико было отчаяние автора, когда он узнал, что весь тираж немецких изданий был сожжен 11 мая 1933 года на берлинской Оперной площади. Утрачены были и книги (их осталось считанное количество, экземпляр 1928 года хранится и в Государственном литературном музее И. С. Тургенева в Орле), и, прежде всего, ставилась под сомнение дальнейшая судьба писателя, возможность печататься в ряде стран. Наталья Иосифовна Каллиникова писала об отце 10 июня 1986 г. в Орел: «Переживи он Вторую Мировую войну, он, конечно бы, сразу уехал на родину, как это сделал Булгаков² и многие иные из Чехословакии, из Парижа и т. п. Но я думаю, он едва ли пережил бы Гитлера, даже если бы и не умер преждевременно от инфаркта. Наверняка он погиб бы в одном из концлагерей».

Приближенным к авторской рукописи можно считать и английский перевод романа «Мощи», вышедший в Лондоне в 1930 году одновременно в трех изданиях — для Англии, Америки и колоний (под названием «Женщины и монахи», перевод Патрика Кирвана): в него вошли многие страницы, выброшенные русской цензурой. О впечатлении, которое произвел роман на английского и американского читателя, можно судить по многочисленным рецензиям в зарубежной печати. Дублинская газета «*Irish Times*» 4 июля 1930 года писала о том, как видится Россия глазами русского писателя: «Переворот 1917 года не был должным образом осуществлением идеала. Это было время, когда повсюду, в городах и деревнях, где народ был деморализован и фактически всякий порядок и чувство меры были утрачены, царили анархия и хаос. Все, кто не состоял в партии, спешили вступить в нее. Царские офицеры срывали свои погоны и становились инструкторами Красной Армии. Напуганные ужасными результатами катастрофы, интеллигенты бежали с капиталистами и помещиками на юг под защиту белых, но широкие массы страны не думали ни о чем, кроме собственных тягот, ничего уже не ожидая и почти не испытывая иллюзий».³

22 февраля 1930 года Каллиников запишет: «Мощи» — первый неосознанный бунт».⁴

¹ ОГЛМТ, ф. 51, 11352/3.

² В. Ф. Булгаков (1886 — 1966), секретарь Л. Н. Толстого в последний год его жизни (1910), автор книг о нем.

³ ОГЛМТ, ф. 51, 10216/10.

⁴ ОГЛМТ, ф. 51, 8136.

Иосиф Каллиников неизменно верил в Россию. Не считая себя приверженцем какой-либо партии, он сочувствовал революции и большевикам. И хотя многое о событиях русской жизни переосмыслилось потом, писатель готов был в меру сил «работать в России и для России».¹ И тем страшнее было отлучение от нее.

«Может быть, со временем и российскому читателю интересно будет увидеть иностранца глазами русского, старающегося идти в ногу с современной Россией, хотя и очень хромающего благодаря тому, что 9 лет скитался по чужим землям, отдаляясь от российской действительности, — с горечью писал Каллиников в 1929 году. — Может быть, придется играть роль заграничного русского писателя. А в СССР пока что меня — *не пускают*».²

Хочется верить, что прошло время забвения, и Иосиф Каллиников вернется к русскому, российскому читателю, для которого писал. Настоящее же издание его романа «Моши» — первый шаг к возвращению на родину одного из интереснейших и самобытнейших писателей XX века.

О. ВОЛОГИНА.

¹ И. Каллиников к Г. И. Радченко, 24 августа 1922 г. ОГЛМТ, ф. 51, 8148/18.

² И. Каллиников к Евг. Соколу, 3 мая 1929 г. ОГЛМТ, ф. 51, 11352/3.

Содержание

Повесть седьмая. Житейское море.....	5
Повесть восьмая. Инок смиренномудрый.....	95
Повесть девятая. Пещь огненная.....	211
К истории создания романа.....	375

Литературно-художественное издание

Иосиф Федорович КАЛЛИНИКОВ
Мощи, роман, тт. III, IV.

Редактор **Н. И. Поснов**
Художник **А. А. Зуенко**
Технический редактор **Л. Е. Семенова**
Корректоры **Т. И. Лужецкая, Е. Н. Поснова**

Сдано в набор 10.02.93. Подписано в печать 10.07.93. Формат 84 x 108¹/₃₂. Гарнитура литературная. Печать офсетная Усл. п. л. 29,4. Уч.-изд. л. 24,5 Тираж 40 000. Заказ 1237. Цена договорная.

Издательское товарищество «Дебрянск»

Брянское областное общество книголюбов.
241000, Брянск, бульвар Гагарина, 10.

Брянская областная типография.
241038, Брянск, пр. Ст. Димитрова, 40.

**ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«ДЕБРЯНСК»,**

выпустившее в течение года около 20 книг самых различных жанров и тематики — от любовных и исторических романов до краеведческих и научно-технических произведений, — приглашает к деловому сотрудничеству типографии, поставщиков бумаги и других издательских материалов, оптовых книгораспространителей.

Приезжайте и звоните:

241000. г. Брянск, бульвар Гагарина, 10.
Областная организация любителей книги.

Телефоны: 4-25-40, 6-31-71.

**ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«ДЕБРЯНСК»**

**В издательском товариществе «Дебрянск»
выходит в свет**

ИХАРА САЙКАКУ

ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ

(Повести о любви)

Эта книга, написанная в XVII веке в Японии, долгое время считалась запрещенной и у себя на родине. В центре повествования — история обитательницы «веселых» кварталов, внутренний мир гетеры, ее мысли и чувства, ее судьба.

Перед читателями предстает тайная жизнь буддийских храмов, настоятелей и бонз — сластолюбцев и пьяниц: молодые гуляки, наложницы, служанки, банщицы, монахини.

В повестях Ихару Сайкаку, включенных в книгу, много юмора, легкой иронии и мало назидательности. Они представляют образец высокохудожественной эротической литературы.

Книга иллюстрирована, издается в твердом переплете.

**Издательско-книготорговая фирма
«Ф А Р Т»**

В ассортименте более 400 наименований книг повышенного спроса лучших издательств России и ближнего зарубежья.

Постоянно имеются в продаже произведения:

детективного, фантастического, сентиментального характеров;
историко-приключенческого жанра;
зарубежная классическая литература;
русская классическая и современная литература;
экономическая и техническая литература;
издания универсального содержания (энциклопедические, научные, справочные).

Фирма «Фарт» ★ Фирма «Фарт» ★ Фирма «Фарт»

ПО

предлагает книги
домоводству, рукоделию,
кулинарии, медицине,
здоровоохранению,
экономике, философии,
религии, естественным наукам.

Фирма «Фарт» ★ Фирма «Фарт» ★ Фирма «Фарт»

осуществляет книгообмен, покупает и принимает на реализацию на договорной основе крупные партии книг на самых выгодных условиях.

Ваши предложения о продаже, обмене, покупке, издательской деятельности ждут по телефону:
4-96-96, г. Брянск, пр. Ленина, 67.

Склад мелкооптовой и розничной торговли: Брянск, ул. Советская, 16, Дом спорта «Динамо», тел. 6-48-91.

**ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«Д Е Б Р Я Н С К»**

Г о т о в и т с я к п е ч а т и
С Е Л Ъ М А Л А Г Е Р Л Е Ф

ПЕРСТЕНЬ ЛЕВЕНШЕЛЬДОВ

Лауреат Нобелевской премии Сельма Лагерлеф в России более известна как автор «Удивительного путешествия Нильса с дикими гусями». Трилогия о Левеншельдах («Перстень Левеншельдов», «Шарлотта Левеншельд», «Анна Сверд») — мистическо-романтическое произведение, в нашей стране публиковалось только однажды. Роман посвящен истории одной семьи на протяжении пяти поколений, связанных таинственным перстнем, похищенным из гроба основателя рода, боевого сподвижника Карла XII, генерала Бенгта Левеншельда.

Сюжет романа динамичен и увлекателен.

Трилогия выходит в двух книгах, в твердых переплетах.

Заявки принимаются Брянской областной организацией любителей книги.

4-25-40, 6-42-72, 57-65-51.

**Издательское товарищество
«Дебрянск»**

**КНИГА ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ .
«ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»**

В книге собраны многочисленные советы и рекомендации по уходу за квартирой, мебелью, тканями, различными украшениями, по ремонту предметов домашнего обихода, по вязанию и вышивке, по садоводству и огородничеству.

В книге уделено немалое место кулинарии, домашнему консервированию, народным медицинским средствам, косметике и т.д.

По вопросам приобретения следует обратиться в областную организацию Всероссийского общества любителей книги.

г. Брянск, б-р Гагарина, 10
Тел. 4-25-40

**«ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»
КНИГА ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ**

**имеет в постоянной продаже книги лучших
издательств России
в твердых переплетах
по самым низким ценам**

**Книги различных жанров художественной
литературы, а также энциклопедического
характера.**

**Организация активно сотрудничает с веду-
щими издательскими фирмами Москвы и
С.-Петербурга. Имеет собственное издатель-
ское товарищество.**

Тел.: 4-25-40, 6-42-72, 57-65-51

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
г. Брянск, б-р Гагарина, 10**





X-50

